

## ЛЕССИНГ, ЕГО ВРЕМЯ, ЕГО ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ<sup>1</sup>

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Историческое значение немецкой литературы в последней половине прошедшего века. — Место, которое принадлежит Лессингу в истории развития немецкого народа.

Объясняя жизнь, служа посредницею между чистою отвлеченною наукою и массою публики, доставляя человеку облагораживающее эстетическое наслаждение, пробуждая ум к деятельности, литература всегда имеет большее или меньшее влияние на развитие народов, всегда играет более или менее важную роль в историческом движении.

Но как ни очевидно ее участие в истории, надобно согласиться, что очень редки в жизни человечества те случаи, когда литература, в строгом смысле слова, как мы здесь его употребляем, — то есть поэзия и ученые сочинения, писанные так, что читаются всею массою публики, а не одними специалистами, — редки те случаи, когда литература бывала в историческом движении главною, преобладающею силою. Почти всегда литературные влияния оттеснялись, в развитии народной жизни, на второй план другими, более пылкими чувствами или материальными практическими побуждениями: соперничеством племен и держав, религиею, политическими, юридическими и экономическими отношениями и т. д. Точно такова же была почти всегда и судьба науки. Но чрезвычайная важность науки в жизни и истории нисколько не теряется через это скромное положение: творя тихо и медленно, она творит все: создаваемое ею знание ложится в основание всех понятий и потом всей деятельности человечества, дает направление всем его стремлениям, силу всем его способностям. Наука — чернорабочий, не играющий блистательной роли в обществе; но трудами этого чернорабочего живет

все: и государство и семейство, и политика и промышленность; только оплодотворенные знанием стремления человека получают характер, совместный с общим и частным благом, силы человека производят полезное действие. Литература не имеет этого права считаться первою виновницею всякого прогресса. Она не общая мать всех других деятельностей человека: она сама такая же специальная, частная деятельность, как и все остальное в человеческой жизни, кроме знания. Когда преобладание литературы в историческом движении не очевидно, то и на самом деле она не играет в нем главной роли. Ведь она не создает машин и инструментов, юридических понятий и нравственных отношений, государственной власти и промышленной деятельности, как создает их знание. Пусть политика и промышленность шумно движутся на первом плане в истории, история все-таки свидетельствует, что знание — основная сила, которой подчинены и политика, и промышленность, и все остальное в человеческой жизни. А до литературы нет историку дела, если она насильно не вынуждает у него признания своего исторического могущества; чем не овладеет она сама, в том никто не уступит ей доли.

И, надобно признаться, доля литературы в историческом процессе, никогда не бывая совершенно маловажна, обыкновенно бывала и вовсе не так значительна, чтобы заслуживать особенного внимания. Действительно, литература почти всегда имела для развития человеческой жизни только второстепенное значение. Так, например, в древнем мире мы не замечаем ни одной эпохи, в которой историческое движение совершалось бы под преобладающим влиянием литературы. Несмотря на все пристрастие греков к поэзии, ход их жизни обуславливался не литературными влияниями, а религиозными, племенными и военными стремлениями, впоследствии, кроме того, политическими и экономическими вопросами. Литература была, подобно искусству, лучшим украшением, но только украшением, а не основною пружиною, не главною двигательницею их жизни. Римская жизнь развивалась военною и политическою борьбою и определением юридических отношений; литература была для римлян только благородным отдыхом от политической деятельности. В блестящий век Италии, когда она имела Данте, Ариосто и Тассо, также не литература была основным началом жизни, а борьба политических партий и экономические отношения: эти интересы, а не влияние Данте, решали судьбу его родины и при нем и после него. В Англии, гордящейся величайшим поэтом христианского мира и таким числом первостепенных писателей, какого не найдется, быть может, в литературах всей остальной Европы, вместе взятых, — в Англии от литературы никогда не зависела судьба нации, определявшаяся религиозными, политическими и экономическими отношениями, парламентскими

трениями и газетною полемикою: собственно так называемая литература всегда имела только второстепенное влияние на историческое развитие этой страны. Таково же было положение литературы почти всегда, почти у всех исторических народов.

Исключений из этого обыкновенного порядка случаев, когда литература являлась действительно главною двигательною исторического развития, очень немного. Немецкая литература последней половины прошедшего и первых годов нынешнего века есть одно из самых важных между этими редкими явлениями. От начала деятельности Лессинга до смерти Шиллера (до завоевания западной Германии Наполеоном, законодательства Штейна в Пруссии и до распространения философии — явлений, которые овладевают последующим развитием немецкого народа), в течение пятидесяти лет, развитие одной из величайших между европейскими нациями, будущность стран от Балтийского до Средиземного моря, от Рейна до Одера определялась литературным движением. Участие всех остальных общественных сил и событий в национальном развитии должно назвать незначительным сравнительно с влиянием литературы. Ничто не помогало в то время ее благотворному действию на судьбу немецкой нации; напротив, почти все другие отношения и условия, от которых зависит жизнь, не благоприятствовали развитию народа. Литература одна вела его вперед, борясь с бесчисленными препятствиями.

Каковы же были результаты этого пятидесятилетия?

В пятьдесят лет литература совершила для прочного блага немецкого народа более, нежели когда-нибудь было совершено всеми другими общественными силами для какого-нибудь народа во сто, в двести лет. Немецкая литература застала свой народ ничтожным, презренным от всех и презирающим себя, не имеющим даже никакого сознания о своем существовании, грубым до средневекового варварства в одних слоях, развращенным до нравов времен Регентства<sup>2</sup> в других слоях, ничего не желающим, ничего не надеющимся, безжизненным. Она дала ему сознание о национальном единстве, пробудила в нем чувство законности и честности, вложила в него энергические стремления, благородную уверенность в своих силах. В половине XVIII века немцы, во всех отношениях, были двумя веками позади англичан и французов. В начале XIX века они во многих отношениях стояли уже выше всех народов. В половине XVIII века немецкий народ казался дряхлым, отжившим свой век, не имеющим будущности. В начале XIX века немцы явились народом, полным могучих сил, — народом, которому предстоит великая и счастливая будущность, — народом, готовым дать начала обновления для всех других европейских народов, если бы тот или другой из них нуждался в посторонней помощи

для своего обновления. Все это совершила литература, наперекор бесчисленным препятствиям, без всякой посторонней помощи, и Шиллер имел полное право прославить немецкую поэзию за то, что ею возвеличен немецкий народ и никто не делит славы этой с немецкими писателями.

«Не было у нашей литературы ни Августов, ни Медичи, не ободрял и не поддерживал ее никто. С отрадною гордостью может сказать немец, что самому себе обязан он всем, в чем ныне честь его».

Kein Augustisch' Alter blühte,  
Keines Medicäers Güte  
Lächelte der deutschen Kunst;  
.....  
Rühmend darf's der Deutsche sagen,  
Höher darf das Herz ihm schlagen:  
Selbst erschuf er sich den Werth! \*

Потому-то немецкая литература в период времени от половины прошлого до начала нынешнего века есть явление величайшей исторической важности, какой не имеют многие другие эпохи литературной деятельности у других народов, блиставшие писателями, которые по поэтическому гению были не ниже или даже и выше корифеев немецкой литературы. Суворов, конечно, был гениальнее Кутузова и Барклая-де-Толли; но дело, совершенное Барклаем и Кутузовым, бесконечно превышает своим историческим значением все дивные подвиги Суворова. Так, Мильтон и Данте, по поэтическому гению, быть может, выше Гёте и Шиллера; но в истории человечества Гёте и Шиллер занимают гораздо более значительное место. То — люди, высокие в своей специальности; это — двигатели исторического развития, имевшие прямое влияние на судьбу человечества, стоявшие в ряду великих правителей наций, в одном ряду с Ричелье, Штейном, Робертом Пилем \*\*.

Если бы не вышел из моды старый и в сущности вовсе не бесполезный обычай объяснять в предисловиях к сочинениям, трактующим об ученых предметах, какую пользу приносит вообще знание, какую пользу в частности приносит знание того предмета, о котором трактуется в этом сочинении, и какую пользу в особенности принесет знание этого предмета тем читателям, для которых назначается это сочинение, — если бы не вышел из моды этот старый добрый обычай, мы должны были бы сказать что-нибудь о той особенной пользе, какую можем извлечь мы, русские, из знакомства с судьбами немецкой литературы времен Лессинга, Шиллера и Гёте.

---

\* Из стихотворения Шиллера «Немецкая муза». — *Ред.*

\*\* *Гервинус*, см. особенно предисловие к 1-му и 4-му томам издания 1853 года.

Если бы не вышел также из моды другой старый добрый обычай — проводить параллели между сходными явлениями в истории различных народов, мы могли бы также отыскать некоторые занимательные аналогии между положением немецкой литературы того времени и положением некоторых других литератур в другие времена.

Наконец, если бы не вышли из моды «Разговоры в царстве мертвых»<sup>3</sup>, мы могли бы выставить Лессинга, разговаривающего, например, с Пушкиным и Гоголем в Елисейских полях: Лессинг расспрашивал бы Пушкина и Гоголя о русской литературе и, в свою очередь, сообщал бы им различные замечания о литературе вообще.

Но «Разговоры в царстве мертвых», исторические параллели вроде Плутарха, предисловия о пользе наук — все это решительно вышло из моды, и мы, не желая прослыть людьми, отставшими от века, отказываемся и от рассуждений о пользе изучения судьбы немецкой литературы для русской литературы, и от идеи вывести Лессинга, разговаривающего с Пушкиным и Гоголем, и повторим только, что важнейшею стороною немецкой литературы от Лессинга до Шиллера надобно считать влияние ее на историческую жизнь немецкого народа. Потому особенно интересно рассматривать ее не в отдельности от других сторон жизни, как чисто художественную деятельность, а в связи с общею историею народа, как силу, властвовавшую над умами, нравами и жизненными стремлениями и приготавливавшую события, — словом, смотреть на нее не как на исключительное достояние искусства, а как на один из великих фазисов общей истории народа.

Лессинг был главным в первом поколении тех деятелей, которых историческая необходимость вызвала для оживления его родины. Он был отцом новой немецкой литературы. Он властвовал над нею с диктаторским могуществом. Все значительнейшие из последующих немецких писателей, даже Шиллер, даже сам Гёте в лучшую эпоху своей деятельности, были учениками его; оставались учениками его даже тогда, когда восставали против него или по одностороннему увлечению, как писатели «периода бурных стремлений» (*Sturm und Drang-Periode*), или по тайной зависти, как Гердер и Гёте. Ныне, когда литература в Германии утратила свою преобладающую силу над развитием общественной жизни и безусловное восхищение литературными знаменитостями прежнего времени уступило место другим симпатиям, величие Лессинга возрастает по мере того, как уменьшается авторитет писателей, сменивших его, и по мере того, как очевиднее убеждаются наши современники в односторонности понятий, которыми еще недавно были удовлетворяемы, все более и более научаются они ценить Лессинга. Он ближе к нашему веку, нежели сам Гёте, взгляд его проницательнее и глубже,

понятия его шире и гуманнее. Только еще недавно стали постигать почти беспримерную гениальность его ума, удивительную верность его идей обо всем, чего ни касался он. Слава Лессинга все возрастает и, вероятно, долго еще будет возрастать. Но и теперь стало уже ясно для всех, что только очень немногие из людей XVIII века, столь богатого гениальными людьми и сильными историческими деятелями, могут быть поставлены на ряду с ним по гениальности и огромному историческому значению. Между своими соотечественниками он решительно не находит соперников в своем веке; сам Фридрих II не имел такого сильного влияния на развитие немецкого народа, как Лессинг\*.

Мы уже сказали, что немецкую литературу последней половины прошедшего и начала нынешнего века надобно рассматривать преимущественно со стороны ее влияния на жизнь немецкого народа. Деятельность Лессинга, которая будет предметом наших статей, включает в себе начала всего того, чем сильна и благотворна для своего народа была эта литература; всему основание было положено Лессингом: подвиг его преемников был только осуществлением его мысли, и наибольшую часть того, что считал он нужным совершить, успел совершить он сам, оставив своим преемникам только меньшую и легчайшую повинину труда; в великой борьбе, целью которой было возрождение немецкого народа, не только план битвы принадлежит ему, но и победа была одержана им, — Гёте и Шиллер только довершали то, что уже было сделано Лессингом, — их слушали, потому что Лессинг заставил слушать; им сочувствовали, потому что Лессинг заставил сочувствовать идеям, которые выражали они, — и все, что было здорового в их идеях, было им внушено Лессингом. В нем или через него и от него вся новая немецкая литература до смерти Шиллера и до конца плодотворной эпохи в деятельности Гёте.

Мы хотим рассказать, что и как сделал Лессинг для исторического развития Германии, — и нам надобно начать с того, чтобы взглянуть, в каком положении застал он Германию.

Читатель не найдет странным, что изложение деятельности писателя начинается обозрением состояния его родины не в одном литературном или умственном отношении, но и в государственном: писатель этот имел могущественнейшее влияние не на одну литературу, а на всю общественную жизнь Германии; результатом его деятельности было не возрождение одной литературы, а возрождение нации. Посмотрим же, в каком положении застал он свой народ.

---

\* Шлоссер, Гервинус, Гиллебранд и проч.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Причины, замедлившие соединение немецких племен в одну национальную державу и содействовавшие распадению Германии на множество самостоятельных государств. — Следствия этого распада. — Положение немецкого народа в половине XVIII века по отношению к общим национальным интересам. — Характеристика государственной и частной жизни в различных немецких владениях.

Русские, англичане, французы часто осуждают немцев за то, что они до сих пор не составили из себя одной великой державы, каковы Россия, Англия, Франция. Многие заходят в этом осуждении так далеко, что объявляют немцев народом неспособным к высшей государственной жизни. Эти люди забывают, что судьба народа зависит не от одних его способностей, но также и от обстоятельств. Здесь не место рассматривать, до какой степени извиняются обстоятельствами предки нынешних немцев за то, что в XV—XVII веках не успели образовать одной державы, как успели достичь государственного единства французы и англичане. Но при внимательном разборе оказывается, что препятствия, с которыми немцы должны были бороться в этом деле, были гораздо значительнее, нежели те затруднения, которыми задерживались другие народы. В Англии, например, вся страна была занята одним и тем же племенем, во Франции были только два племени, из которых северное с самого начала было гораздо могущественнее южного, так что без особенного труда получило решительный перевес над ним, — в Германии было несколько племен, одинаково сильных или защищенных географическими условиями от преобладания друг над другом, — фризы, саксы, тюрингцы, аллеманы, баварцы не так скоро могли слиться между собою в одно целое, как франки Шампани с франками Анжу и Берри. По своему географическому положению немцы имели соседями иноплеменников и на западе, и на юге, и на востоке, между тем как французы имели чужих соседей только с одной восточной стороны (на юге горы отделяли их от других народов твердою границею), англичане только на северной границе встречались с малочисленными шотландцами, — и если Англия окончательно слилась с Шотландией только в начале XVIII века, то можно ли удивляться, что слияние пяти или шести равносильных немецких племен замедлилось? Во Франции стремление народа к единству не было развлекаемо делом покорения соседних племен характеру французской национальности, в Англии борьба за обладание Франциею началась уже по соединении всех английских областей в одно государство. В той и другой стране, до утверждения государственного единства, все усилия и народа и верховной власти были устремлены к созданию и упрочению этого единства. В Германии, напротив того, на юге и востоке немецкое племя было занято упорною борьбою с иноплеменни-

ками и расширением границ своей национальности. Представитель верховной власти, император, в качестве главы всего католического мира, занят был не столько утверждением строгого государственного единства в Германии, сколько завоеванием Италии и борьбой с папою, а народ — расширением пределов своих на восток. Таким образом, при значительнейших внутренних препятствиях к основанию государственного единства, существовали в Германии исторические отношения, не позволявшие силам народа и усилиям правительства сосредоточиваться на одном стремлении к созданию одного национального государства, между тем как в Англии и Франции не существовало этих отношений, неблагоприятных стремлению к государственному единству.

Этими особенными обстоятельствами и отношениями уже достаточно объясняется, почему история Германии, по вопросу о государственном единстве одноплеменного народа, представляет противоположность, например, французской истории; и нет надобности предполагать в немцах менее способности к составлению одного национального государства, нежели в каком-нибудь другом из европейских народов, ранее немецкого народа достигших этой цели потому только, что им на пути встречалось менее препятствий, нежели немцам.

Нельзя осуждать немцев за то, что они еще не слились в одну державу: не народ немецкий виноват в том, а географические и исторические отношения. Но действительно, под влиянием этих неблагоприятных обстоятельств, история Германии, по отношению к государственному единству, представляет, с XIII или XIV века, совершенную противоположность тому, что мы видим во Франции. Начало развития в обеих странах было одно: империя Карла Великого постепенно распалась на мелкие государства, которые и по объему, и даже по характеру управления скорее можно сравнить с частными владениями, нежели с национальными державами. Королевская власть во Франции, императорская в Германии была очень слабою связью между раздробленными частями одного народа. Но во Франции эта центральная власть постепенно усиливается и, наконец, дает народу политическое единство; в Германии она все больше и больше ослабевает, так что в XVIII веке существует только по имени, а отдельные князья, сначала бывшие подданными императора, становятся независимыми государями, которые только на бумаге называются членами одной конфедерации, на самом же деле не хотят ни думать о национальных интересах, ни подчиняться имперскому сейму. Каждое великое событие, театром которого была Германия, подвигало судьбу нации к этому результату. Чтобы не заходить в слишком отдаленные времена, припомним ход событий с реформации. Она разделила Германию на две враждебные половины, и разделение это не было следствием ка-

кого-нибудь разногласия между стремлениями народа в южной и северной Германии, а только следствием того, что католик-император, папа и баварские иезуиты успели удержать в религиозном повиновении области, ближайšie к центру их могущества, и насильственно подавить реформацию в южной Германии, чего не успели сделать в землях, более отдаленных от Рима, Вены и Мюнхена. Из двух враждебных партий протестантская напрягала все силы для ослабления неприязненной центральной власти, католическая находила себе главную опору не в императоре, а в герцогах баварских. Власть императора упала, власть отдельных князей возвысилась. Имперский сейм стал уже не органом союза, хотя и слабого, но все-таки общего национального союза, как то было прежде, а конгрессом двух враждебных коалиций, последнее слово которых всегда — угроза войною. Католики и сам император ищут покровительства Испании, протестанты — Англии, Дании, Швеции; поочередно те и другие — покровительства Франции; те и другие одинаково находятся под влиянием иноземцев, которые становятся покровителями немецким державам против немецких же держав. Мало-помалу, с ослаблением религиозного энтузиазма, ослабела и та связь, которая соединяла протестантов с протестантами, католиков с католиками: прежние крепкие коалиции исчезают; после Тридцатилетней войны нет прочного союза ни между протестантами, ни между католиками; вместо духа партий водворяется дух полного эгоизма. Благодаря чужеземному вмешательству, отдельные князья становятся, по Вестфальскому миру<sup>4</sup>, совершенно самостоятельными, из непокорных вассалов делаются независимыми от императора государями. На сейме каждый руководится только своими частными выгодами; сейм бессилен, а если имеет еще некоторую тень влияния, то влияние это уже открытым и законным образом находится в руках чужеземцев: Франция, Швеция, Дания имеют голос в совещаниях. Сам германский император заботился исключительно о выгодах своих наследственных владений, чуждых общим интересам немецкого народа: он действовал как государь Венгрии, разных славянских и итальянских земель, лежавших вне границ Германии. Таково же было положение сильнейших князей, курфирстов саксонских, бывших королями польскими; духовные князья-архиепископы майнцский, кельнский и трирский не имели даже и династического интереса: они руководились исключительно личными выгодами. Не будем уже говорить о раздвоенности интересов по вопросам внутренней политики: как бы ни была беспощадна борьба партий, разделяющих народ во времена мира, но при внешней опасности со стороны чужеземцев все области страны, все партии народа имеют один общий интерес и соединяются для защиты. После Вестфальского мира не было и этого в Германии: с половины XVII века не было ни одной войны, в кото-

рой Германская империя являлась бы как одно целое: каждый раз, как только вспыхивала в Западной Европе война, одни из германских владетелей сражались за одну, другие за другую из враждующих сторон, хотя обыкновенно Германии не было собственно никакой нужды вмешиваться в войну. Да и могло ли быть иначе? Кроме влияния иноземцев, немецкие области вовлекались в чуждые им распри и потому, что сильнейшие из немецких князей владели государствами или провинциями вне Германии: саксонские курфирсты были также польскими королями, курфирсты бранденбургские владели Пруссией; таким образом, Бранденбург запутывался во все распри, касавшиеся Прусской области, и в XVII веке был государством наполовину чуждым Германии, а Саксония еще больше страдала от соединения с Польшею. Помераниею владела Швеция, Ганновером — Англия, и обе эти державы пользовались силами Ганновера и Померании, конечно, не для выгоды этих областей, а только по своим собственным расчетам. Бавария после Вестфальского мира постоянно искала у Франции помощи против Австрии. В эти чуждые национальным интересам, чуждые всякому помышлению об общем отечестве интриги и отношения сильнейших германских держав вовлекались, как их клиенты, десятки второстепенных и сотни третьестепенных князей и князьков, пользовавшихся правами политической независимости графов, баронов и рыцарей, архиепископов, епископов и аббатов и имперских городов.

Таково было положение Германии в начале XVIII века, таково же оставалось оно и через пятьдесят или шестьдесят лет, — даже сделалось еще безнадежнее и позорнее.

Общие выражения слишком слабы и бледны, — надобно припомнить события немецкой истории в первой половине XVIII века, чтобы иметь точное представление о том, как далек был немецкий народ от всякой идеи о единстве, когда влияние литературы начало противодействовать совершенному расторжению членов одной нации.

Ограничиваясь событиями XVIII века, мы не будем говорить ни о том, какие постыдные измены общему делу со стороны многих немецких владетелей Германии были причиною успехов Людовика XIV в первых его войнах; не будем говорить о том, с каким позорным равнодушием, с какою жалкою трусостью сейм позволял ему захватывать во время мира немецкие области и города. Мы начинаем свой обзор прямо с войны за наследство испанского престола\*.

В войне за наследство испанского престола Англия и Голландия начали борьбу с Франциею за свои жизненные инте-

---

\* Обзор состояния Германии и событий ее истории составлен почти исключительно по Шлоссеру.

рёсы. Не говоря уж о соперничестве в морской торговле и других важных делах, вспомним только, что Людовик XIV хотел завоевать Голландию и вооруженною рукою возвратить в Англию Стюартов, которые были его вассалами и правление которых грозило гибелью всему, что было священо для англичанина, от протестантской религии до гражданских законов. Австрия имела в войне с Франциею очень важный интерес, если не народный, то, по крайней мере, государственный; дело шло о том, австрийскому или французскому влиянию первенствовать в Западной Европе, господствовать в Испании, Италии, испанских Нидерландах. Эти вопросы были совершенно чужды интересам Германии; она не могла ничего выиграть в этой распре, каков бы ни был конец, и не имела причин вмешиваться в войну. Германский сейм сначала объявил, что будет соблюдать нейтралитет. Но, с одной стороны, подкупал германских князей Людовик XIV субсидиями, с другой — император, обещаниями повышений в титулах. Потому в Готе и Вольфенбюттеле начали вербовать войска для французского короля, что было запрещено решением сейма относительно нейтралитета. Ганноверские войска заняли непокорные области. При посредничестве бранденбургского курфирста войска, на вербованные для французов, отданы были в распоряжение императора. Сейм мало-помалу склонился на австрийскую сторону. Но курфирсты баварский и кельнский остались союзниками французов и на деньги, данные Людовиком, вербовали войска, чтобы вместе с французами двинуться на Вену. Сейм определил выставить армию для защиты границ империи, — он решился, наконец, вести войну, но только оборонительную, а не наступательную. Между тем, курфирст баварский собрал на французские деньги 20 000 войска, пошел против имперской армии, которая отступила, и двинулся на Рейн; курфирст кельнский, с французскими и собственными войсками, также вступил в германские области, жег, грабил и хвалился, что на двадцать миль от тех мест, где стояла его главная квартира, не осталось ни одного поселянина, — и, однако же, четыре года провел сейм в совещаниях, должно ли этих двух князей признать врагами германского союза. Имперское войско терпело во всем совершенный недостаток; князья выставили едва пятую часть контингента, который обещались дать. При таких условиях имперская армия, конечно, терпела повсюду неудачи и во все продолжение войны играла самую жалкую роль, между тем как австрийцы и англичане покрывались славою. Людвиг Баденский, назначенный предводителем имперской армии, не мог сделать ничего, потому что генералами ему даны были люди неспособные, беспечные, которые из мелкой зависти старались нарочно мешать успеху его планов. Имперский сейм не обращал внимания на его требования, занимаясь только разбором нескончаемых жалоб различных князей и городов на то, что контин-

генты, на них возложенные, слишком велики. Прения о каждом пустейшем деле тянулись месяцы и годы. Каковы были жалобы, можно судить по следующему примеру. Один из значительнейших городов, Франкфурт, в 1706 году утверждал, что наложенный на него денежный контингент не может быть уплачен без разорения города. Как же велик был контингент? — 800 гульденов (500 руб. сер<ебром>). Франкфурт просил, чтобы «эта сумма была уменьшена до 300 гульденов, сложением 500 гульденов, хотя, по мнению города, справедливо было бы уменьшить ее до 266 гульденов и 40 крейцеров, сложением двух третей, именно 533 гульденов и 20 крейцеров». Король прусский предложил свое заступничество столь жестоко угнетенным франкфуртцам под условием, что в их лютеранском городе будет дано реформатам позволение отправлять богослужение по обряду своей церкви. Можно судить, с какою поспешностью, в какой полноте и в каком виде столь ревностные патриоты выставляли свои войска и как аккуратно уплачивали они наложенные сеймом военные подати. Когда в 1706 году коллегия курфирстов, после четырехлетних требований со стороны императора, объявила, наконец, врагами союза курфирстов баварского и кельнского, с 1702 года опустошавших, в союзе с французами, юго-западную Германию, коллегия князей начала изъявлять претензии за то, что это сделано без ее согласия. А, между тем, на словах, члены союза кипели ненавистью к французам. Граф фон-Тюнген, при крещении своих детей, формулу «отречения от сатаны и всех дел его» изменял даже следующим прибавлением: «отрекаешься ли сатаны и французов и всех дел их».

Когда умер Людвиг Баденский, начались споры о том, католик или протестант должен начальствовать имперским войском; наконец, против воли императора, сейм назначил главнокомандующим маркграфа Эрнста Аншпах-Байрейтского, и тут оказалось, что Людвиг Баденский был великим полководцем, если мог еще хотя как-нибудь держаться с своим войском, никуда негодным. Новый полководец был тотчас же разбит французами наголову, так что потерял всю артиллерию и весь обоз. Французы хлынули на юго-западную Германию и опустошили всю страну на огромное пространство. Кое-как убедили маркграфа сложить с себя команду, и новый предводитель имперской армии, курфирст ганноверский, решился обороняться от французов, по системе Людвиг Баденского, в укрепленных позициях. Он постоянно должен был жаловаться сейму на дурное состояние войска, недостаток провианта и амуниции и на то, что в солдатах нет никакого патриотизма; князья попрежнему не исполняли обязанностей, возложенных на них сеймом. Английские и голландские газеты наполнены были насмешками над медленностью сейма, неисправностью немецких князей; голландские уполномоченные упрекали в своих нотах сейм самым жестким

языком за то, что «немецким князьям деньги дороже собственной чести». Во все продолжение войны сейм и его армия были посмешищем Европы. Сам Евгений Савойский, так блистательно поражавший французов с австрийскими войсками, не мог ничего сделать с имперскою армиею, когда она поступала в его распоряжение, должен был отступать и смотреть, как французы в его глазах брали одну крепость за другою. Сейм рассуждал, вел жаркие прения, писал длинные инструкции и дедукции, но никто не платил денег по его назначению, армия не имела ни хлеба, ни амуниции. Зато и при заключении мира с Франциею в Раштадте никто не спрашивал согласия у сейма: Австрия подписала трактат без его уполномоченных, и уже потом, в Бадене, начались новые переговоры между французскими и имперскими посланниками. Разумеется, это была чистая комедия; но имперские педанты важно и долго трактовали о том, что уже давно было решено в Раштадте без их согласия и чему они принуждены были безусловно покориться. Само собою разумеется также, что Бавария и Кельн, союзники французов, получили полное извинение в том, что воевали против империи, членами которой считались.

В то время как юго-западная Германия страдала от войны, участвовать в которой не имела никакой нужды, северо-восточная Германия еще больше страдала от другой войны, еще более чуждой ее интересам. Честолюбивые замыслы короля польского навлекли на Польшу страшное мщение Карла XII; но король польский был вместе курфирстом саксонским, и Саксония подверглась той же участи, как Польша. Бедствия начались с того, что саксонские войска были истреблены шведами в остзейских провинциях и Польше, куда, без всякого внимания к пользам Саксонии, завел их Август II. Потом Карл, преследуя Августа, пошел в Саксонию через Силезию, которая тогда принадлежала императору, — император не дерзнул выразить неудовольствие за то, что иноземцы самовольно проходят по его областям, напротив, даровал различные льготы силезским протестантам, чтобы только приобрести благосклонность шведского короля. Саксония не могла и не думала защищаться: Карл занял ее без битвы и, однако же, систематически разорял эту страну, чтобы лишить своего врага средств к продолжению войны. Потери, которые понесла Саксония только в первые пять лет Северной войны от наборов и поборов Августа, еще до занятия шведами Саксонии, оцениваются в 88 000 000 талеров — сумма, равняющаяся, при тогдашней редкости денег в Германии, по крайней мере, двумстам миллионам по нынешней ценности денег; из саксонских войск погибло до 36 648 человек — потери страшные для страны, которая имела всего каких-нибудь два миллиона жителей. Всю эту погибель навлек Август на свою родину только для того, чтобы получать субсидии от Петра Великого и тотчас

же растрачивать эти субсидии на свои роскошные увеселения. Русским хорошо известна жалкая роль двоедушного изменника, которую принял на себя Август, выдав Карлу русского посланника Паткуля на колесование, в то самое время, как уверял Петра Великого в своей дружбе; известно и то, как горько отомстил ему за измену Меншиков, заставив его, уже заключившего мир с Карлом, сражаться подле русских в битве при Калише, где были поражены шведы. Август, униженно прося за то прощения у Карла, хвалился перед ним, что тайком от Меншикова извещал шведских генералов о движениях Меншикова, а сражался только из страха и как нельзя хуже. С тем вместе Август отдал под суд, наказал денежными штрафами и заключением в крепости тех сановников, которые по его приказанию заключили мир с Карлом: «они должны были догадаться, — говорил он, — что я только хочу обмануть шведов». Между тем шведы хозяйничали в Саксонии так своевольно, что изнежились от роскошной жизни и отвыкли от прежней строгой дисциплины. Кроме квартиры и пищи, они получали от жителей добавочные деньги к жалованью. Саксонцам пришлось так тяжело, что, по выражению, употребленному в официальном представлении саксонского ландтага, «различные обыватели от слишком большого утеснения и недостатка пропитания впали в меланхолию, отчаяние и даже самоубийство, потому что немилосердно отнимали у них скотину и домашний скarb и продавали набравшимся в Саксонию жидам, а солдату в день должны они были давать два фунта мяса с овощами и две кружки пива». Пышность саксонского двора не уменьшалась в это бедственное время, и сборщики контрибуции, простиравшейся до 500 000 талеров в месяц, пользовались случаем, чтобы еще почти столько же отнимать у народа в собственную пользу. Такое несносное состояние продолжалось целый год, пока Карл вышел из разоренной земли. Между тем он вербовал в свои войска не только в Саксонии, но во всех имперских городах, в Бранденбурге, Пруссии, даже в Силезии, несмотря на запрещение императора. Когда, после поражения Карла под Полтавою, Дания и Польша возобновили неприязненные действия против шведов, вся тяжесть войны обрушилась на немецкие провинции; русские опустошили шведскую Померанию, в отищение за то Стенбок разорял Гольштинию с такою свирепостью, какой мало бывало примеров: целью его, по собственному его объявлению, было «выжечь в Гольштинии столько же городов и сел, сколько выжгли русские в Померании». Между прочим он велел сжечь город Альтону; Гамбург, лежащий по соседству, не пустил несчастных изгнанников переночевать, и они должны были, среди жестокой зимы, ночевать в поле, перед запертыми для них воротами Гамбурга; многие замерзли в эту ужасную ночь. Переходя из рук в руки, Мекленбург. Померания и Гольштиния были совершенно опусто-

шенны шведами, саксонцами, датчанами и русскими; Данциг, Гамбург, Любек и другие города платили страшные контрибуции, села были разрушены.

Через несколько лет, когда Испания, в союзе с Франциею, вздумала отнять у Австрии итальянские провинции, а в Польше произошли смуты по случаю избрания короля, Германия в 1733—1734 годах опять с двух сторон была наводнена врагами, опять подверглась разорению из-за споров, которые были совершенно чужды ее прямым интересам, и опять многие германские князья явились союзниками иноземцев против своей родины, и опять имперское войско покрыто было позором. Французы вступили в юго-западную Германию, прогнали имперские войска, ограбили прирейнские области. Потом вступили во Франконию пруссаки, посланные на помощь императору, и также грабили эту страну, между прочим, за то, что франконцы не позволяли курфирсту, страшно любившему высоких солдат, насильно брать в свою службу чужих подданных, имевших несчастье родиться высокорослыми. Баварский курфирст продал себя французам и стал на французские деньги собирать войско против империи, но, к счастью, набрал его немного, потому что большую часть полученных субсидий истратил на своих фавориток. Пфальц и Майнц также были в союзе с французами; кельнский курфирст также продал себя французам. Курфирсты ганноверский и бранденбургский перессорились так, что грозили друг другу войною и первый вызывал второго на дуэль. Три французские армии уже давно разоряли Швабию, Франконию и Лотарингию, а сейм все еще не объявлял войны; наконец объявил, — и начался спор о том, кому предводительствовать имперскою армиею, существовавшею, впрочем, только еще на бумаге. Единственным средством покончить этот спор было то, что команду принял Евгений Савойский, хотя был уже дряхл. При всей своей гениальности он мог только отступать перед французами; да и то было верхом искусства, что он успел отступить с такою жалкою армиею, не потеряв ее. На защиту немцев должны были явиться русские войска. Война кончилась тем, что империя потеряла Лотарингию.

На другом конце Германии, в войне за польский престол, всего более пострадали опять-таки немецкие провинции, и, например, Данциг должен был заплатить 2 000 000 талеров контрибуции, из которых, впрочем, половина была потом прощена ему, по невозможности уплаты.

Со времени вступления Фридриха II на прусский престол, сила и достоинство Пруссии в кругу европейских держав быстро увеличиваются. Но это возвышение немецкой державы было едва ли не самым пагубным ударом упавшему, уже почти павшему единству Немецкой империи. Пруссия стала так сильна, что решительно не захотела ни в чем подчиняться даже формальной

зависимости от сейма; но, с другой стороны, она вовсе не была ни так могущественна, ни так общительна в отношениях своих к другим немецким государствам, чтобы сделаться центром нового единства для Германии. Она только оторвалась от союза, не представляя новых залогов единства взамен окончательно разорванных прежних уз. И не только государственные связи различных частей Германии потерпели от ее возвышения: оно в самом народе поселило неприязненные чувства, основанные, с одной стороны, на зависти, с другой — на гордости. До Фридриха II ни одно из немецких племен не могло хвалиться особенно славными подвигами, не имело знамени, которое могло бы с честью быть выставлено против общего национального знамени. После блистательных побед Фридриха жители прусской державы стали гордиться и хвалиться тем, что они пруссаки, и стали с презрением смотреть на жителей других немецких областей, уже не хотели даже считать себя немцами. До того времени они мало думали об отечестве, но когда думали, то все-таки отечеством представлялась им Германия; теперь отечеством они стали считать Пруссию, равнодушно и нагло отзываясь о Германии, до которой не хотели иметь никакого дела. Вместо прежнего, хотя слабого, чувства национального единства, в значительной и сильнейшей части немецкого народа явилось положительное отчуждение от общего отечества, в других племенах — вражда к этому отчуждающемуся, соединенная с унижительным сознанием собственного бессилия.

Фридрих II с самого начала стал действовать, как глава государства, совершенно независимого от союза. Он, оставив юридический путь, которому всегда следовали немецкие князья, и в том числе его предки, при столкновениях своих с другими немецкими князьями, решил спор свой с епископом Люттихским, заняв войсками округи, о правах на которые шло дело. Точно так же принудил он курфюрста майнцского уступить Румпенгейм ландграфу гессенскому, объявив без всякой церемонии, что вышлет войско против Майнца, если курфюрст не покорится воле прусского короля. После этого очевидно было, к каким средствам прибегнет он для завладения несколькими округами Силезии и Юлих-Клеве-Бергом, на обладание которыми Пруссия имела притязания. Важность дела состоит не столько в справедливости или несправедливости притязаний, сколько в том, что Фридрих решал несогласие единственно военной силою, как бы спор веден был с державами, совершенно чуждыми и как бы германского <союза> вовсе не существовало, даже и на бумаге.

Около того самого времени, как явился на прусском престоле Фридрих II, умер император Карл VI, оставив императорскую корону своей дочери, Марии-Терезии. Завещание это оспаривали многие государи, в том числе один из немецких князей, курфюрст баварский. Карл-Альберт, решившийся войною от-

нять у Марии-Терезии императорский титул и ее германские владения (Австрию, Богемию и Тироль); но у самого Карла-Альберта не было ни денег, ни армии. Отец оставил ему 30 000 000 долгу и бесчисленную толпу голодной придворной челяди, для содержания которой число войска было уменьшено до 10 000; французские субсидии, выдававшиеся на усиление армии, поглощались придворными праздниками, фаворитками и иезуитами. Вся надежда Карла-Альберта была на новую помощь от Франции, и он, государь, принявший титул германского императора, высший титул во всем европейском мире, обращался с самыми униженными просьбами не только к французскому королю, но и к кардиналу Флери, управлявшему делами: он писал к Флери в таком тоне, какого постыдился бы даже вельможа французского двора, просящий какой-нибудь должности. Вот отрывок из одного из этих писем, с негодованием приводимый Шлоссером:

«Уверенный в милостях его величества (короля французского), исполненный надежды на дружбу вашего высокопреосвященства (кардинала Флери), я питаю убеждение, что первым делом моим должно быть — броситься в объятия его величества, в котором я вечно буду видеть единственную мою опору и единственную мою помощь, и высказать вашему высокопреосвященству мысль мою, что настоящие обстоятельства могут быть источником величайшей славы для вашего министерства, так как вы можете преувеличить могущество короля, уменьшив могущество династии, издавна с ним соперничающей, и с тем вместе вознаградить верность союзника, которого постоянная преданность французскому дому известна вам. На замечание вашего высокопреосвященства я признаюсь, что вера моя в короля не была ошибочна, потому что первые мысли его величества обратились на меня, с выражением желания его величества возвести меня, если то возможно, на императорский престол...»

И так далее, в том же униженном тоне. Флери, как и следовало, отвечал на эти презренные мольбы сухо и сомнительно, читал назидания претенденту, без церемонии говорил ему, что если французский король помогает ему, то он должен считать это за величайшую милость, не обещал ему ничего верного, заставляя его снова умолять и унижаться, наконец, послал к нему своего агента, который распоряжался в Мюнхене так, как римские проконсулы распоряжались во владениях союзных Риму царей пергамских или египетских. Карл-Альберт продолжал умолять Флери и делать на депешах, к нему отправляемых, собственноручные приписки такого рода:

«Приблизилась минута, которая должна решить судьбу вернейшего из союзников короля и увековечить славу его царствования, дав ему случай доставить императорскую корону князю, который, по признательности и преданности, поставит всегдашнюю свою обязанностью соединять интересы Империи с интересами Франции; и так как это будет вашим делом, то я возлагаю всю мою надежду на вас, которого я всегда любил и почитал, как истинного своего отца...»

Пока тянулись эти просьбы, Фридрих II без всякой церемонии объявил войну австрийской императрице, как независимый от нее государь, точно так, как Англия объявляла войну Франции или Австрия Турции.

Ободренный успехами Фридриха, кардинал Флери решился также начать войну с Австриею, склонился на мольбы Карла-Альберта и попытался сделать его императором. Заключен был трактат, по которому Карл-Альберт ставил себя в полную зависимость от Франции и обещался, когда будет возведен на императорский престол, беспрекословно предоставить Франции все те германские области, которые успеет она занять своими войсками, помогая ему. Он обязывался никогда не требовать возвращения Германскому союзу этих областей и городов.

При избрании императора на императорском сейме всем управлял французский посланник, будто в стране, уже завоеванной. Ему было уступлено первое место во всех церемониях; немецкие князья уже составляли только его свиту. Все курфирсты, повинаясь его приказаниям, объявили императором Карла-Альберта.

Но Мария-Терезия выслала против клиента французов свои славянские и венгерские войска: они опустошили всю Баварию, которую, впрочем, не щадили и союзники Карла-Альберта; остальные части юго-западной Германии были разоряемы французами; самая Богемия, переходившая из рук в руки, много потерпела. Когда Фридрих, овладев Силезиею, помирился с Австриею и англичане выслали против французов на Рейн сильное войско, состоявшее большею частью из наемных солдат тех самых германских князей, которые признавали Карла-Альберта императором, когда умер Карл-Альберт, сын его, взяв 8 000 000 на свои придворные расходы, признал императором мужа Марии-Терезии.

Результатом войны было усиление Пруссии и приобретение Фридрихом славы великого полководца; но слава эта была приобретена междоусобною войною, поражением немецких войск немецкими же войсками. Приобрели славу также славянские и венгерские войска, защищая германскую императрицу против германских государей. Саксония, Силезия, Богемия, Бавария и вся западная Германия были опустошены, потому что одному из немецких князей хотелось быть вассалом французского короля и предать Франции Германию; а другому члену Германской империи угодно было не признавать за собою никаких обязанностей относительно Германии. О беспощадности, с какою немецкие области разорялись немецкими же государями, можно судить уже из того, что Лейпциг, кроме всех контрибуций, взятых с него пруссаками во время Второй Силезской войны, должен был, по мирному трактату, заплатить Фридриху еще миллион талеров.

Семилетняя война, начатая Фридрихом через несколько вре-

мени, была славна для Фридриха и для пруссаков; быть может, она принесла пользу всей Европе, доказав силу новых начал государственного управления, представителем которых являлся Фридрих. Строгая экономия, веденная королем прусским в расходах, дала ему возможность чрезвычайно хорошо подготовиться к войне и с честью выдержать ее; нелицеприятное правосудие, неусыпная заботливость о благосостоянии народа, отменение отяготительной формалистики в судопроизводстве и администрации, — все это приобрело ему неизменную любовь подданных и возбудило в них энергическое желание защищать государя и государство. Все эти качества порядка дел, введенного в Пруссии Фридрихом, не только были чужды администрации других держав в то время, но и служили главным основанием ненависти, какую питали к Фридриху фавориты, фаворитки и ханжи, владычествовавшие почти повсюду. Фридрих, могущественный своею экономией и патриотизмом подданных, устоял против соединенных усилий почти всей Европы<sup>5</sup>, хотя владел только небольшим государством, имевшим менее семи миллионов жителей. Расточительность и дурная администрация, которою страдали Франция и германские державы, кроме Пруссии, была наказана постыдными поражениями. Общественное мнение было возбуждено против казнокрадства и беззаботности в администрации. Для Европы вообще Семилетняя война была полезным уроком. Но для единства немецкого народа она была гибельнейшим событием. Страшное разорение, которому подверглись от пруссаков Саксония и многие другие немецкие владения, а прусские области — от австрийских армий, поселило глубокую ненависть между подданными Пруссии и других немецких государств. Надменность пруссаков, гордых своими победами, дошла до крайнего презрения ко всем остальным немецким племенам.

До Семилетней войны многие члены Германского союза вступали в сообщество с иноземцами против Германии; но то были второстепенные государства, их поступки имели характер измены, незаконного восстания против имперского сейма. Сейм и глава его, император, всегда объявляли себя против иноземцев. Теперь Австрия и германский сейм просили помощи иноземцев против германского государя, призывали их на Германию и хотели делить с иноземцами немецкие области. Это было вдвойне ужасно для патриота: законная власть, союз, чтобы смирить одного из своих членов, отдавал Германию под чужое иго и тем публично выказывал не только недостаток патриотизма, но и бессилие свое.

Сейм объявил войну Пруссии. Но северные князья, которым выгоднее было продавать свои войска Англии, нежели даром отдавать их в распоряжение союзной власти, протестовали против решения сейма: Липпе, Вальдек, Гессен, Брауншвейг,

Ганновер, Гота вступили в союз с англичанами, защитниками Пруссии.

Было бы напрасно в подробности говорить о страшном разорении, которому подверглись все германские области во время Семилетней войны. Французские армии, вторгавшиеся с запада, более походили, по сознанию самих французских генералов, на огромные шайки мародеров, нежели на регулярные войска. Так, за несколько времени до Росбахской битвы, начальник штаба в армии Ришелье, генерал Мальбуа, доносил военному министру: «войска наши совершают всевозможные неистовства и больше любят грабить, нежели сражаться». Опустошение восточных прусских провинций русскими долго было памятно Европе<sup>6</sup>; австрийские кроаты не уступали свирепостью башкирам и татарам; имперские войска грабили не хуже французов, с которыми разделили и беспримерный позор росбаховского поражения. Шведское правительство, посылая войско в Германию, не давало ему ни жалованья, ни провианта, прямо объявляя командующему генералу, что он должен содержать свой отряд грабежом и контрибуциями. Фридрих действовал таким же образом. Не говоря уже о Саксонии, контрибуции с которой составляли главный источник доходов Фридриха во всю войну\* и страшное разорение которой лежит самым черным пятном на славе Фридриха, довольно сказать, что с бедного и пустынного Мекленбурга успел он вынудить более 17 000 000 талеров контрибуции. Но когда французы и австрийцы отнимали Саксонию у пруссаков, саксонцам приходилось еще тяжелее, так что они молились о возвращении пруссаков: Франкония, Вестфалия, Гессен, Бранденбург, Силезия, Богемия, Ганновер, вообще вся северная половина и, кроме того, все западные области Германии были опустошены. От пагубных нашествий уцелели только южные части австрийско-германских владений и Бавария. Все народонаселение — земледельцы и землевладельцы, работники и промышленники — все классы народа были разорены, кроме одного класса: чиновников, которые разбогатели во время неурядицы, во время усиленных наборов и поборов, поставок и контрибуций. Разбогатели и придворные, потому что везде, кроме Пруссии, большая часть собранных для войны денег переходила в их карманы или растрачивалась для их увеселения.

На Семилетней войне остановимся, потому что следующие

---

\* Приведем один пример. В 1760 году, после четырехлетнего разорения, были наложены на истощенную область следующие огромные контрибуции: Эрфурт должен был дать пруссакам 100 000 талеров, 500 лошадей, 400 рекрутов, Наумбург 200 000 талеров, Тюрингенский округ 1 375 000 талеров, Мерзебург 120 000 талеров, 377 рекрутов, 254 служителей и 420 лошадей, Цвикау 8000 талеров, Хемниц 215 000 талеров, Мариенбург 9000 талеров, Аннаберг 15 000 талеров, Лейпцигский округ 2 000 000 талеров, город Лейпциг 1 100 000 талеров.

годы принадлежат другому периоду — периоду оживления Германии. Много принесли тяжких испытаний немецкому народу и эти последующие годы, особенно эпоха наполеоновского владычества; но эти испытания были уже плодотворны, потому что пробуждена была мысль народа.

Мы видели, какой ряд событий, пагубных для немецкого народа, был следствием политического раздробления Германии. Каждый раз, как только вспыхивала война в Европе, враждебные армии устремлялись на немецкую землю, опустошали ее поля, сжигали ее села, разоряли контрибуциями ее города. Чаше, нежели какая-нибудь другая страна Западной Европы, несчастная, беззащитная Германская империя подвергалась ужасам военного грабежа, и подвергалась им единственно вследствие своей раздробленности и беззащитности, потому что причины всех войн были, собственно говоря, чужды ее интересам, — и, однако же, она в каждой войне принимала участие, чтобы быть добычею обеих враждующих партий. Франция, Англия, Австрия вели войны за свои государственные интересы. Положим, что часто и правительствам, и народам этих держав казалось делом государственной потребности и чести то, что в сущности было бесполезно или даже вредно для народного благосостояния; положим, что они ослеплялись ложными понятиями о славе расширять границы своих владений, суетными желаниями выказать свою силу, достичь ненужного преобладания над другими державами; пусть от войны за испанское наследство до Семилетней войны все кровавые распри в Западной Европе возникали только по ошибочным понятиям о высших целях государственной жизни, но все-таки австрийское, английское, французское правительства всегда знали, за что и зачем ведут они войну, стремились к достижению целей, сообразных с понятиями и желаниями подвластных им народов (исключение одно: участие Франции в Семилетней войне), все-таки для француза, англичанина, даже для подданного Австрии каждая из больших войн, начинаемых его правительством, была делом патриотическим. Одна Германия, постоянно страдающая от всех этих войн и страдающая каждый раз больше, нежели какая-нибудь другая страна, никогда не имела, даже в предрассудках, никаких оснований сочувствовать той или другой из враждующих партий или надеяться какой-нибудь, хотя бы даже мнимой выгоды, на чью бы сторону ни склонилась победа.

Войска всех держав выигрывали славные победы, — австрийские — при Евгении Савойском, Дауне и Лаудоне, английские — при Мальборо, французские — при знаменитых полководцах Людовика XIV и Маршале Саксонском; одни только имперские армии постоянно покрывались самым жалким позором: кто бы ни был неприятель, они всегда бегали перед ним или бывали разбиваемы наголову, когда не успевали убежать.

Как ни велики бедствия, какие терпела Германия от войн, эти временные бедствия незначительны в сравнении с постоянным внутренним злом, тяготевшим над немецким народом. Дурное управление, беззаконность, расточительность и насилие — вот слова, которыми еще слишком слабо характеризуется германский государственный быт в первой половине XVIII века.

После Тридцатилетней войны, которая нанесла страшные удары и благосостоянию и образованности Германии, нравы огрубели, Германия стала полуварварскою землею. Когда в конце XVII века победы Людовика XIV, его могущество, его блеск ослепили Европу и подражание французам стало общею модою, роскошь и утонченный разврат, заимствованные из Франции, самым диким образом соединились при немецких дворах с прирожденною грубостью. Из этого сочетания произошел порядок вещей, более нелепый и пагубный, нежели все то, что угнетало Германию до XVIII века.

При грубости нравов до французского влияния в привычках высших классов существовала простота, и потребности вельмож были ограничены. Теперь каждый барон маленького немецкого двора хотел блистать подобно французским аристократам; каждый князь, имевший под своею властью кусок земли, едва равнявшийся одной французской провинции, хотел соперничать великолепием с французским королем, хотел иметь свой Версаль, свой *Parc aux cerfs*<sup>7</sup>, и его фаворитки хотели не уступать роскошью фавориткам французского двора. Если прихоти Людовика XIV разорили Францию, большое и богатое государство, легко вообразить, каковы были следствия подобных претензий для маленького Касселя или Вольфенбюттеля, для Саксонии или Баварии. Предавшись всеми мыслями желанию блистать, находя единственное наслаждение в чувственных удовольствиях и пышных праздниках, немецкие владельцы перестали обращать всякое внимание на порядок управления и решительно не занимались делами. При каждом был фаворит, обязанность которого состояла в том, чтобы развлекать князя и всеми правдами и неправдами добывать деньги для придворных расходов. Он безотчетно распоряжался всем, и не было границ его самовластию, лишь бы только доставлял он двору средства для роскошных развлечений. Только немногие князья, оставшиеся чужды новому французскому образованию, сами занимались государственными делами. Они подвергались всеобщим насмешкам со стороны придворных и князей, увлеченных версальскою модою. К чести этих немногих государей, сохранивших старо-немецкие нравы, надобно сказать, что они были единственными германскими владельцами, заботившимися о собственности, чести и благе подданных. Но хотя они были лучшими из германских государей своего времени, в их личных привычках и в системе их управления было чрезвычайно много грубого, тяжелого, жесто-

кого. Мы приведем несколько примеров того, как шли дела в государствах, где двор следовал французской моде, и в государствах, где князья остались верны старым немецким обычаям. Лучшим образцом государей трубых, но честных и деятельных, был в первой половине XVIII века отец Фридриха Великого, король прусский Фридрих-Вильгельм. Самыми блистательными представителями господствующего направления, состоявшего в подражении версальскому двору, были саксонские курфирсты.

Начнем наш обзор положением дел в Саксонии, при Августе II и Августе III и любимцах их Флеминге и Брюле.

Мы говорили о страшных бедствиях, которым подверглась Саксония, будучи запутана Августом II в войну России и Польши с Карлом XII. Эти бедствия нисколько не мешали придворным забавам; напротив, по мере того, как увеличивалась нищета в Саксонии, возвышался блеск двора Августа II, увеличивались его расходы на праздники, на фаворитов, фавориток и побочных детей. Когда шведы отняли у него польский престол, всю тяжесть этих расходов на поддержание королевского великолепия и гвардии, составленной из дворян, должны были нести одни саксонцы. Были придуманы и истощены всевозможные позволенные и непозволенные средства; государственные долги быстро возрастали, хотя ландтаг налагал на бедных саксонцев все новые подати, пошлины и акцизы, хотя в мирное время продолжалось взимание военных обыкновенных и чрезвычайных податей. Король заложил Борнский округ Саксен-Готе, Гретенгайн княгине Дессауской, свой участок Мансфельда Ганноверу, Фортский округ Саксен-Веймару. Полученных за то денег едва достало на один карнавал; однако же с каждым годом праздники становились великолепнее. Так, например, при бракосочетании наследного принца с австрийскою принцессою, несколько недель сряду давались во дворце балы, оперы, маскарады. На одном маскараде король явился в таком костюме, который стоил нескольких миллионов талеров. Вслед за тем начались торжества по случаю встречи турецкого посла. Король, принимая его, был одет в бархатный фиолетовый костюм с брильянтовыми пуговицами, которые одни стоили миллион талеров, не считая столь же богатой шпаги и других не менее драгоценных принадлежностей. В биографии Августа, написанной Фассманом, описание торжества по случаю бракосочетания наследного принца наполняет не менее семидесяти восьми страниц. «Мы упоминаем о всех этих вещах, — говорит Шлоссер, — желая показать, какими рассказами во время наших отцов занималась немецкая публика и каковы были исторические книги, которыми назидался народ». Фассман приводит и причину, по которой описывает пиры Августа II так подробно: «Надобно в точности знать все эти церемонии и пиршества, потому что ими обнаруживается высокий ум и превосходный вкус короля Августа, который сам занимался

устройством праздников». Они продолжались несколько недель: итальянские и французские оперы и комедии сменялись охотами и фейерверками, конные и пешие турниры — каруселями и маскарадами, маскированные базары всех наций — балами и танцами. Надобно заметить, что в то самое время свирепствовал в Саксонии голод. Вслед за тем, в 1725 году, от 7 января до 13 февраля, праздновались карнавальные торжества, которые, по словам Фассмана, помрачили своим блеском все прежние праздники. В июне того же года начался новый ряд праздников, опять тянувшийся несколько недель; поводом было то, что одна из побочных дочерей короля выходила за графа Фризена. Каждый год подобные истории повторялись по нескольку раз. О расходах можно судить из того, что в 1719 году одна лотерея для дам стоила 60 000 талеров, а лотерея эта была только второстепенною принадлежностью одного из многих балов. Для покрытия расходов, города и округи отдавались в залог, и не только соседним владетельным князьям, но и жидам-ростовщикам; и так как суммы, взятые двором, не уплачивались, то ростовщики делались настоящими владельцами частей государства, — например, жид Леманн владел городами Лиссою и Рейссенем.

Нравы Августа II были достойны времен Регентства. Фаворитки его официально занимали на придворных праздниках более почетные места, нежели его супруга; так, например, когда, по удалении шведов, посетил Августа датский король и разоренная страна должна была давать подати на дивные торжества в честь высокого гостя, высокий гость был на балах и каруселях кавалером не супруги хозяина, королевы, а графини Козель. Этого примера довольно, чтобы судить о нравах двора Августа II. Немецкие подражатели французской распушенности нравов пошли в цинизме далее своих учителей: не только Людовик XIV, но и регент, принц Орлеанский, не позволили бы себе такого нарушения всех приличий, какое было обнаружено в случае, который мы указали. Не останавливаясь на множестве других примеров разврата, представляемых саксонским двором в XVIII веке, скажем несколько слов о тех поступках Августа II и его придворных, которые относятся к государственной жизни. Пиршества и любовницы до такой степени заставляли Августа пренебрегать всем остальным, что в то самое время, как шведы вторгались в его владения, он продавал свои войска Нидерландам, которые вели тогда войну с Людовиком XIV: ему важнее было давать балы и награждать фавориток, нежели защищаться от врага. Бесцеремонность курфюрста саксонского была так велика, что даже у простых солдат он удерживал под разными предлогами половину жалованья, которое должны были они получать от голландцев. По удалении шведов, он опять, собрав новое войско, продал его голландцам и англичанам. Исполнять свои обещания он вообще не имел привычки и даже сам открыто

признавался в том: так, например, он формально говорил, что заключает мир с Карлом XII только для того, чтобы обмануть его, и наказал своих уполномоченных за то, что они исполнили его инструкцию, которою он велел им руководиться при переговорах: они должны были знать, по его выражению, что эта инструкция дается только для обмана. Русские читатели знают беспримерное вероломство, с каким выдал он на мучительную казнь Карлу XII Паткуля, бывшего русским посланником при нем, между тем как уверял Петра Великого в неизменной своей дружбе.

Флеминг, управлявший делами при Августе II, будучи дурным правителем, имел, по крайней мере, репутацию хорошего генерала. Брюль, который правил Саксонию при Августе III, был лишен всяких достоинств, кроме тех качеств, которые нужны временщику расточительного князя. Он устраивал пиры и праздники, доставал деньги на придворные балы — этого было довольно для Августа III, и Брюль совершенно безотчетно самовластвовал в Саксонии. Король не знал и не хотел знать, что такое делалось в его государстве. Эта небрежность доходила до такой степени, что когда однажды какому-то полковнику удалось, имея случай говорить с королем наедине, открыть ему, что саксонская армия уже двадцать шестой месяц не получает жалованья, Август необыкновенно изумился и душевно огорчился от такого неожиданного обстоятельства. Но Брюль успокоил его, объяснив, что полковник личный враг его, Брюля, и оклеветал его, и полковник был предоставлен мщению оскорбленного министра, как низкий клеветник, хотя каждый житель Саксонии знал, что слова этого несчастного были совершенно справедливы. Подобные случаи могли у каждого отнять охоту мешаться не в свое дело, то есть говорить громко против грабежей и расточительности Брюля. И не только подданные, сама наследная принцесса, сама королева не смела сказать королю слова против Брюля, как ни возмущало их безумие этого временщика. В похвалу Брюля надобно сказать, что он был человек мягкого характера, не любивший кровавых наказаний: смертью не казнил он недобровольных; только Зонненштейн, Кенингштейн и Плейсенбург были в течение двадцати четырех лет его самовластия постоянно наполнены людьми, имевшими неприятность возбуждать в нем опасения. И если саксонская армия голодала, люди, преданные Брюлю, не имели причин на него жаловаться: адъютанты и чиновники, состоявшие при временщике, всегда исправно получали жалованье чистыми деньгами, между тем как офицеры королевской армии, если не хотели умереть с голоду, должны были брать вместо денежного жалованья пошлинные квитанции (Steuer-scheine), которые при размене на звонкую монету отдавались только за четвертую или даже за восьмую часть своей номинальной цены, по какой получались из казначейства офицерами.

Когда, по прекращении одной из боковых линий саксонского дома, княжество Кверфуртское перешло во владение старшей, курфиршеской линии, Брюль тотчас же, при помощи услужливых юристов, объявил недействительными продажи и контракты, совершенные прежними князьями: все поместья, все регалии, законным образом перешедшие из удельного имущества в частные руки, были конфискованы, и множество семейств, истари пользовавшихся этими имуществами бесспорным и законным образом, совершенно разорились. Вот один случай, показывающий, как все делалось тогда в Саксонии. Между прочим, Брюль отнял у города Вейсензе истари отмежеванные ему казенной земли, без которых целый город умер бы с голоду. Несчастные горожане обратились к королю, — это не помогло; тогда они заключили с Брюлем сделку, по которой взамен отнимаемых земель обязались уплатить 20 000 талеров и, действительно, уплатили, но сделались совершенными нищими, потому что сумма платежа далеко превышала их средства. Они снова обратились с просьбами к королю: он сжалился и велел из 20 000 выдать им обратно восемь тысяч. Брюль поставил в отчете, что он выдал разоренным эту сумму звонкою монетою, а горожанам дал пошленные квитанции, которые не стоили и тысячи талеров.

Подати были возвышены до такого страшного размера, что в многих имениях морген земли, которого нельзя было отдать в наем дорожке полутора талера, платил два талера подати. При таком порядке дел недоимки, конечно, возрастали с каждым годом и простирались, наконец, до громадной суммы тридцати миллионов талеров. Беспечность Брюля простиралась до того, что, когда Саксония должна была готовиться к войне с Пруссией, состав армии был уменьшен для увеличения придворных расходов.

Саксонские правители формально не заботились ни о чем, кроме увеличения налогов, кроме придворных интриг и удовольствий. В Баварии при вступлении на престол Максимилиана-Иосифа явилась было у министров мысль позаботиться несколько и о народном благосостоянии; но тут выказалось только бессилие подражателей французам сделать что-нибудь действительно полезное, и результатом слабых попыток было только новое угнетение. Кроме всех бедствий, тяготевших над Саксониею, Бавария страдала еще от зла, не касавшегося протестантских земель: в Баварии, как во всех почти тогдашних католических государствах, господствовали иезуиты. Они в союзе с вельможами, старавшимися о сохранении своих феодальных прав, упорно поддерживали — и успели поддержать — злоупотребления, беззаконность, апатию и невежество. Да и самые преобразования делались в таком духе, что могли только еще больше испортить дело, а не помочь ему. Например, чтобы уменьшить число преступлений и смягчить нравы, преобразователи усилили жесто-

кость уголовных законов, которые и прежде были бесчеловечны. Смертная казнь, пытка, колесование явились на каждой странице уголовного кодекса. Нравы стали еще грубее прежнего, и число преступлений возросло. Курфирст хотел улучшить земледелие; но он страстно любил охоту и потому усилил законы, воспрещавшие простолюдинам бить диких животных — хищные звери размножились и опустошали поля. Множество денег и забот было употреблено, чтобы развести шелковичные плантации в холодном горном климате, где шелководство невозможно; между тем, о действительно важных отраслях сельской промышленности не заботились. То же было с ремеслами и фабриками. Например, в Баварии не было порядочных слесарей — преобразователи не думали о том, а старались распространить ювелирное искусство. Точно так же заводили фабрики, не имевшие возможности существовать, и для того разоряли поселян различными стеснениями в покупке товаров. Хотели уничтожить нищенство, а, между тем, размножали нищенствующиие монашеские ордена и раздачею им щедрых подаваний создали целые армии бродяг. Иезуиты продолжали господствовать и распоряжаться всеми делами. Само собою разумеется, что все попытки улучшений, совершаемые в стране, управляемой иезуитами, должны были остаться бесплодны; но и без содействия иезуитов они, конечно, не принесли бы ничего, кроме вреда, потому что преобразователи не имели понятия ни о потребностях страны, ни о средствах привести в исполнение свои планы. Но даже и такие нелепые и неудачные попытки улучшений были редки в Германии; почти постоянно и почти во всех владениях дела шли так, как шли они в Саксонии при Флеминге и Брюле. Из бесчисленного множества примеров укажем только один — виртембергское управление при герцогах Эбергарде-Людвиге и Карле-Александрe, и, в заключение этой части очерка, приведем из «Записок» Фридриха II о бранденбургском доме те страницы, в которых этот великий монарх делает общие замечания о личных качествах и характере правления своего предка, Фридриха I, первого короля прусского.

Эбергард-Людвиг, герцог виртембергский, в 1708 году сблизился с девицею Гревениц и женился на ней, хотя его законная супруга была еще жива. Через несколько времени, вследствие угроз императора, он развелся с своею фавориткою и отдал ее за графа Вюрбена, чтобы тем безопаснее продолжать свою связь. Графиня Вюрбен самовластно управляла делами: она сделала министрами своего брата и племянника и официально председательствовала в совете министров. Все должности продавались фавориткою; двор наполнился ее креатурами; она великолепно украшала свой любимый Людвигсбург, хотя государство не имело ни денег, ни кредита. Графиня страстно любила игру и проигрывала огромные суммы; жадность к деньгам и

Жажда удовольствий равно владычествовали над нею. Имя ее было бы внесено в молитвы общественного богослужения, если бы тому не воспротивился прелат Озиандер, отвергнувший это предложение ответом, что и без того уже каждый раз, когда читают «Отче наш», упоминают о графине Вюрбен словами: «избави нас от лукавого». Наследник Эбергарда, Карл, также думал только об удовольствиях и великолепии: деньги на то, при истощении всех источников, доставлял жид Иозеф Зюсс, которому была дана власть распоряжаться по усмотрению всею администрациею, лишь бы только добывать побольше денег, и который раздавал места посредством аукционного торга. Гревеницы, фавориты прежнего герцога, были арестованы. Графиня Вюрбен должна была удалиться в Маннгейм, а ее поместья были конфискованы. Но у ней было много денег: она скоро приобрела могущественных друзей в Вене и в Берлине, подкупила и жида; таким образом, дело, наконец, уладилось без больших потерь для графини и родственников ее. Но множество других виновных и невинных лиц были замешаны в процесс и должны были откупаться, торгуясь с жидом, который был председателем судной комиссии. Этим и тому подобными средствами получил он в два года более 450 000 гульденов. Продажа должностей в три года доставила ему более миллиона гульденов. Суммы эти употреблялись на содержание великолепной охоты, на дивные празднества, на певиц и танцовщиц. Для княжеских охот диким животным предоставили полную свободу размножаться, и действительно они расплодились под защитою администрации до такой степени, что в 1737 году было затравлено герцогом Карлом 3500 оленей, до 5000 кабанов и проч. — убыль, впрочем, нечувствительная для покровительствуемого населения лесов, потому что в следующем году вред, нанесенный хищными зверями и дикими животными скоту и посевам, был оценен не менее, как в 500 000 гульденов. Войнственные увеселения охоты нимало не мешали карнавалам, маскарадам и т. д. Как щедро награждались артистки, достаточно покажет следующий пример: когда по смерти герцога Карла начались преследования его клиентов и клиенток, у одной из певиц нашлось до полутораста карманных часов. Чувствуя упадок сил, герцог хотел ехать лечиться в Данциг, но не мог оторваться от блестящих удовольствий приближающегося карнавала — и умер, посещая балы, спектакли и маскарады. По вскрытии его тела оказалось — как сказано в официальном протоколе — следующее: «сердце, голова и все другие органы найдены совершенно здоровыми, но легкие так наполнены пылью и душными испарениями карнавала и оперы, что необходимо воспоследовало «suffocatio sanguinis»<sup>8\*</sup>.

---

\* Удушье. — Ред.

## Вот отрывок из «Записок» Фридриха Великого:

«Мы обозрели события жизни Фридриха I; остается бросить общий взгляд на его личность и характер. Он был мал ростом и дурно сложен; физиономия его имела выражение надменное и вместе пошлое. Душа его была похожа на зеркало, отражающее каждый предмет, без всякого разбора. Он подчинялся каждому впечатлению, какое хотели на него произвести. Люди, успевшие приобрести над ним некоторое влияние, могли по произволу раздражать или успокаивать его ум, по тупости мягкий, но бесхарактерный, по капризу вспыльчивый. Он не знал различия между пустяками и истинным величием, был более привязан к блеску, нежели к пользе. В войнах императора (германского) и его союзников он пожертвовал тридцатью тысячами своих подданных, чтобы добиться королевского титула, которого желал только для удовлетворения своей любви к церемониям и для оправдания благовидными предложениями своего пристрастия к пышности.

«Он был роскошен и расточителен; но какой ценою покупал он удовольствие удовлетворять свою страсть! Он продавал англичанам и голландцам кровь своих подданных, как продают кочевые татары свои стада на убой подольским мясникам. Приехав в Голландию для получения наследства после короля Вильгельма, он хотел вывести свои войска из Фландрии; но ему дали большой брильянт, и пятнадцать тысяч человек были убиты на службе союзникам\*.

«Предрассудки толпы благоприятны роскоши государей; но расточительность государя не то, что расточительность частного человека. Государь — первый слуга и первый чиновник государства. Он обязан государству отчетом в употреблении налогов; он собирает их для содержания войск на защиту государства, для поддержания чести своего сана, для вознаграждения службы и заслуг, для восстановления некоторого равновесия между богатыми и бедными, для помощи несчастным всякого рода, наконец, для поддержания величия во всем, что касается государства вообще. Государь, одаренный просвещенным умом и честным сердцем, будет направлять все свои расходы к пользе общей и благу своих народов.

«Великолепие, которое любил Фридрих, было не такого рода: это скорее была расточительность суетного и расточительного государя. Двор его был одним из великолепнейших в Европе. Он отнимал последний грош у бедных, чтобы пресыщать богатых; фавориты его получали богатые пенсии, между тем как народ его погрязал в нищете; его постройки были роскошны, его праздники пышны; его конюшни и кухня поражали более азиатскою пышностью, нежели европейским вкусом.

«Его щедрые награды кажутся скорее делом случая, нежели рассудительного выбора. Прислужники и придворные его обогащались, вытерпывая первые взрывы его горячности. Он дал поместье в 40 000 талеров псарю, с которым затравил большерогого оленя. Он хотел заложить голландцам свои владения в Гальберштадтском княжестве, чтобы купить знаменитый брильянт Питт, приобретенный после во время Регентства Людовиком XV; продавал 20 000 человек солдат союзникам, чтобы хвастаться тем, что содержит 30 000 солдат.

\* По смерти Вильгельма III, владевшего, между прочим, княжеством Оранским, Фридрих изъявил притязание на эту землю как дальний родственник Вильгельма по жене; но Вильгельм, завещая княжество герцогу Нассаускому, назначил душеприказчиками голландские чины, которые хотели передать наследство лицу, означенному в завещании. Фридрих рассердился и грозил вывести свои войска из Фландрии, где они сражались за голландцев против французов. Тогда голландцы послали ему большой брильянт из наследства Вильгельма. Фридрих смягчился, согласился удовольствоваться частью земель, на которые изъявлял требования, и остался верным союзником голландцев.

«Двор его был большая река, поглощающая все ручейки. Любимцы его обогатились, разжирили от его щедрых наград, роскошь его стоила ежедневно огромных сумм, а Пруссия была отдана в жертву голоду и заразительным болезням без помощи от щедрого монарха».

К этой характеристике можно прибавить следующий анекдот, который также рассказан в «Записках» Фридриха Великого. София-Шарлотта, супруга Фридриха I, лежала при смерти. Одна из ее статс-дам плакала о своей доброй и умной государыне.

«Не плачьте, — сказала ей умирающая, — я иду узнать то, что не мог объяснить мне Лейбниц \*; а для короля, моего супруга, я przygotowляю церемонию похорон, которая доставит ему новый случай выказать свое великолепие». И действительно, — прибавляет Фридрих Великий, — муж ее утешился великолепием похорон.

О расточительности Фридриха I можно судить из того, что, когда он, вскоре после своего восшествия на престол, поехал в герцогство Пруссии, то по всей дороге от Берлина до Кенигсберга на каждые десяти милях были выставлены для перевозки его свиты по 1000 лошадей, и на каждой из таких станций был построен, для его отдыха, особенный дом, расположенный и украшенный совершенно так, как занимаемый Фридрихом апартамент берлинского дворца. Выдавая дочь за наследного принца гессенкассельского, Фридрих купил ей в приданое брильянтов и других нарядов на 4 000 000 талеров (весь годичный доход Прусского королевства простирался едва до трех миллионов). Себе он сделал корону, которая стоила нескольких миллионов талеров; брильянты его супруги стоили до 3 000 000 талеров. Страна была совершенно изнурена податями и поборами.

Совершенный контраст Фридриху I составляет его преемник Фридрих-Вильгельм I, которого надобно считать лучшим представителем немногих немецких государей, не подчинившихся французскому влиянию. Это был характер твердый и честный, но суровый; нравы Фридриха были чисты, но грубы. Деятельность его неутомима и проникнута стремлением к народному благу; но средства, какие он, при своем невежестве, выбирал для достижения этой цели, часто бывали произвольны, жестоки и вели к невыгодным для государственного благосостояния результатам. Дети, которых он угнетал, и люди, жившие по французской моде, которых он не терпел, осмеяли его память, выставили его тираном и чудовищем. Он не был таков, он был лучшим из немецких государей своего времени; но, действительно, и в личных его привычках и в способе его управления было много варварского.

---

\* София-Шарлотта была ученица Лейбница.

Фридрих-Вильгельм I манерами и всеми привычками походил на зажиточного простолюдина, у которого главная забота — копить деньги. Экономия его доходила до скряжничества; но скряжничество было похвально в сравнении с безумною расточительностью других немецких дворов. Он презирал науку, потому что она являлась ему или в виде немецкого гелертера, безжизненного педанта, или в виде развратного и легкомысленного французского болтуна. Он был искренно предан религии; но пиэтизм его доходил до нетерпимости, и фанатики заставляли его преследовать всех, кто имел несчастье заслужить их нерасположение. Более всего известен Фридрих-Вильгельм своею страстью иметь высокорослых солдат. Вербовщики его были рассылаемы по всей Германии, и ни один немец высокого роста, хотя бы жил в Баварии или Виртемберге, не мог считать себя безопасным от их преследований: даже из иностранных государств силою похищали они великанов на службу прусскому королю. А когда можно было купить высокорослого солдата, он не жалел никаких денег: у него были гренадеры, купленные за пять, за шесть, за восемь тысяч талеров. Эта прихоть стоила ему страшных сумм: рассчитывают, что в течение двадцати двух лет для своего войска на покупку иностранцев-великанов истратил он до 12 000 000 талеров. Это в несколько раз превышает весь тогдашний годичный доход Прусского королевства. Управление Фридриха-Вильгельма имело характер величайшего произвола.

Сначала он хотел, чтобы в Пруссии не существовало ни одной газеты. Когда началась война со шведами, было разрешено издавать газеты, чтобы знакомить публику с подвигами его воинов. Он презирал многученых законовевдов своего времени, которые бесконечно растягивали процессы формальностями и тонкостями римского права. Он справедливо замечал, что смешно, при тяжбе между двумя померанскими поселянами из-за клочка земли, справляться, как думали о подобных случаях различные законоведы времен Юстиниана. Когда спрошенный педант начинал ему исчислять мнения прежних ученых, он грубо прерывал его словами: «я хочу знать не то, что думали когда-то другие, а что думаешь ты». Часто он нарушал своим вмешательством правильный ход судопроизводства. В случае преступлений против нравственности, которую он старался всячески поддерживать, он определял самые тяжелые наказания, произвольно преступая и гражданские и уголовные законы. пытки и казни при нем были неизменно жестоки. Людей, которые чем-нибудь ему не понравились, он без церемонии колотил своею палкою или, просто, кулаком, так что каждый дрожал, когда должен был представляться королю. Праздность и роскошь были ненавистны ему. Прогуливаясь по улице, пешком или в экипаже, он часто останавливал прохожих, расспрашивал, какого они звания, чем занимаются, и, если ответы казались ему подозрительны, тут же колотил палкою

празднолюбцев и вертопрахов. Если наказываемый пускался бежать от справедливой палки, Фридрих-Вильгельм посылал вдогонку своего адъютанта или слугу бить по спине беглеца. Дамы особенно боялись встреч с ним, потому что строгость Фридриха-Вильгельма не разбирала ни пола, ни возраста. Полиция при Фридрихе-Вильгельме была невыносима: она вмешивалась во все. Заботясь о равномерном распределении налогов, он не щадил вредных для государства, обременительных для горожан и простонародья привилегий, которыми повсюду пользовались юнкеры — владельцы так называемых «рыцарских (дворянских) поместий», многочисленное сословие, присвоившее себе множество прав и льгот. Повсюду в Германии эти юнкеры жили на счет других сословий, не принося государству никакой пользы и надменно обращаясь со всеми не принадлежавшими к их классу. Фридрих-Вильгельм хотел обуздать их заносчивость в частной жизни, а в государственном отношении заставить разделять с горожанами и поселянами тягость налогов. Юнкеры негодовали; но Фридриха-Вильгельма нельзя было бы остановить и основательным ропотом. Когда однажды, по случаю переложения части поземельного налога с имуществ простолюдинов на поместья юнкеров, граф Дона, председатель чинов Восточно-Прусской провинции, представил ему от имени чинов, то есть юнкеров, протестацию против этой меры, написанную, по светскому обычаю, на французском языке и оканчивающуюся словами: «tout le pays sera ruiné», король дал чинам следующий лаконический ответ, в насмешку над французским красноречием юнкеров, составленный из тарабарской смеси немецких слов с латинскими и французскими: «Tout le pays sera ruiné? — Nihil credo; aber das credo, dass die Junkers ihre Autorität wird ruiniert werden. Ich stabiliere die Souverainität wie einen Rocher von Bronze». — «Все государство погибнет? Не верю; а то верно, что влияние юнкеров погибнет. Как медный утес, стоит над ними моя верховная власть». Юнкеры должны были повиноваться, а многие феодальные права, отяготительные для народа, были у них отняты. Строгое правосудие короля не щадило преступника за знатность рода. Он доказал это, когда фон Шлюбхут, потомок одной из древнейших и знатнейших фамилий, был уличен в утайке 14 000 талеров из суммы, которая была дана ему, как члену одного из правительственных мест, для раздачи переселенцам. Суд приговорил фон Шлюбхута к заключению в крепость. Осужденный обратился к королю с жалобой на чрезмерную строгость приговора и предлагал возратить казне украденные деньги. «Не хочу я твоих мошеннических денег!» (dein schelmisches Geld), — грозно сказал король и велел его повесить на виселице, поставленной у крыльца того присутственного места, где служил преступник, чтобы товарищи его тверже помнили закон. Не только подданных, как бы знатны они ни были, но и

сына своего не хотел он щадить в случае вины: известно, что наследный принц Фридрих, впоследствии названный Великим, не избежал строгого наказания и едва избежал смертной казни, прогневав родителя и государя своим непослушанием. Но правосудие и произвол имели равное влияние на его действия. До какой мелочной придирчивости и грубости доходило самовластие Фридриха-Вильгельма, видно из одного уже того, что он колотил и бранил дам, которых встречал одетыми не по его вкусу. Он издавал декреты, которыми определял моды для своих подданных: так, например, никто в Берлине не смел носить материй с пестрыми узорами. Он не терпел хлопчатобумажных тканей и вздумал запретить их: повсюду начались домовые обыски, чтобы конфисковать ситец и коленкор. Вдруг Фридриху-Вильгельму показалось, что полиция действует в этих обысках без надлежащей строгости, — и он назначил генерал-фискалом одного из своих гренадеров. Сделавшись начальником полиции, гренадер этот стал действовать совершенно по-солдатски, и Фридрих-Вильгельм был совершенно доволен ревностью, с какою производились по всему королевству домовые обыски, с целью открыть и уничтожить всякий клочок хлопчатобумажной ткани.

Впрочем, совершенно такой же грубый произвол полицейско-фискального управления существовал и в тех немецких государствах, в которых придворные подражали французским модам.

Глубоко презирая титулы, Фридрих-Вильгельм открыто продавал их: нужно было только внести определенную сумму в казну, и желающему выдавался патент. Это, конечно, не могло никому делать вреда. Но точно таким же образом Фридрих-Вильгельм продавал и административные должности. Впрочем, опять надобно прибавить, что обычай этот существовал тогда во многих немецких государствах. В некоторых система продажи развита была до такого совершенства, что продавалась не только должность, но и право быть кандидатом на эту должность, в ожидании смерти или перемещения чиновника, которым занято место.

Фридрих Великий, как человек гениальный, действовал блистательнее своего отца; но система управления при нем оставалась та же самая, и только немного смягчалась там, где он являлся сам, с его французскими манерами. Эта система, знавшая только фискальные и полицейские средства, сама по себе была крайне недостаточна для упрочения народного благосостояния. Ее полезные действия при Фридрихе-Вильгельме и Фридрихе II зависели единственно от редких достоинств, какими были одарены эти люди: честная и неутомимая деятельность отдельного человека может, до некоторой степени, давать хорошее направление самому дурному механизму; но как скоро отнимается от этого механизма твердая рука, его двигавшая, он перестает действовать или действует дурно. Прочие только то благо, которое не зависит от случайно являющихся личностей, а основывается на самостоя-

тельных учреждениях и на самостоятельной деятельности нации. Об этом не думали ни Фридрих-Вильгельм, ни его сын. Они не заботились пробудить дух своего народа или дать государству прочные учреждения, потому с ними исчезли и те блага, которыми давали они пользоваться прусскому народу: исчезли порядок и быстрота в администрации, справедливость в суде. Учреждений, которыми обеспечивались бы эти качества, Пруссия не имела, как не имели их и другие немецкие государства. Все зависело от произвола. Каков был этот произвол в большей части случаев, мы видели. Фридрих-Вильгельм и Фридрих II являются редкими, почти единственными исключениями из общего правила.

Но и при них в Пруссии, как постоянно во всех немецких государствах, единственным участвовавшим в государственной жизни классом были чиновники; зато этот класс был совершенно полновластен.

Правда, в некоторых владениях существовали ландтаги; но они были совершенно бессильны, и совещания их нельзя назвать иначе, как жалкою комедиею. После Тридцатилетней войны они потеряли всякую важность, во многих государствах совершенно были уничтожены, в других — только записывали в свои протоколы приказания, отдаваемые княжескими комиссарами. Мозер, писавший около половины XVIII века, описывает ландтаги с ирониею совершенно безнадежною:

«В различных немецких провинциях, — говорит он, — имел я случай вблизи насмотреться на деятельность наших сеймов. По словам княжеских комиссаров, у князя разрывается сердце от горести, что он должен требовать новых налогов, — он, который был бы счастлив только тогда, когда бы мог обогатить и осчастливить своих подданных. Одно утешает его, что к отягощению страны новыми налогами вынуждают его неотвратимые и ниспосылаемые провидением обстоятельства. После этой шарлатанской речи начинаются переговоры. Наследный маршал, комитеты прелатов, рыцарей и горожан и проч. начинают кушать на пирах, слушать ласки и угрозы, потом выражают свое согласие, и решается необходимость нового кровопускания для любезной родины. Тогда сейм закрывается речью, столь же ученою, как надгробное слово, и министр с своими маклерами, поварами и погребщиками возвращается в триумфе ко двору; жизнь и блаженство вливаются снова в сердце фаворитов и фавориток; псаря, при радостной вести о благополучном результате сейма, весело трубят в роги; примадонна, уже тринадцать месяцев не получавшая жалованья, снова возлетает в руладах к небу, подобно жаворонку; конюшня и псарня, которым уже грозили гибелью кредиторы, оглашаются бодрим лаем и ржаньем, и все титулованные и нетитулованные тунейдцы уже пробираются к новооткрытой золотой россыпи. Из денег, вытребованных у сейма, предполагалось заплатить просроченное жалованье войскам, уплатить просроченные государственные займы, — все это письменно, с приложением печатей, клятвенно и присяжно было обещано при требовании налогов. Боже сохрани, чтобы на деле хотя одна буква из этих обещаний была исполнена!»

Всем управлял в Германии совершенный произвол. Приведа несколько примеров, мы можем теперь сделать общую характери-

стику немецкого быта в первой половине XVIII века, не опасаясь того, что она покажется утрированной.

Французское влияние на Германию ограничивалось тем, что при дворах и в аристократическом кругу развилась непомерная страсть к блеску. При безвкусице блеск этот измерялся только грубою пышностью, которая достигала нелепых размеров и требовала тем больших расходов. Так, например, число служителей было неправдоподобно велико. При значительных дворах они считались не тысячами, а десятками тысяч. Чтобы не утомлять читателей, приведем только два или три случая. Когда, в 1702 году, во время войны за испанское наследство, Иосиф I, бывший еще наследником австрийского престола и королем римским, поехал из Вены предводительствовать армиею, свита его состояла из 232 лиц придворного ведомства. Тут были, между прочим, начальник рыболовства короля римского, три садовника, начальник птичьей охоты, три погребщика и вице-лейбповар с двадцатью помощниками, не считая капелланов с вице-капелланами, духовника с вице-духовником и двенадцати камергеров. Впрочем, на русском языке нет возможности точно передать титулы этих господ, и потому не лишим читателя приятности знать их в подлинном виде \*. В обозе были фуры для птицы, для походных печей, для различных сортов поварских принадлежностей, для садовничества и т. д. \*\*. Королева, сопровождавшая своего супруга, имела в своей свите 170 персон, с 63 каретами (Chaise) и 14 колясками (Kalesche), для которых требовалось 192 упряжных лошади (Wagenpferd), не считая 14 верховых лошадей. Жалкий комизм этих громадных свит, требовавших страшного расхода, довершается тем, что венгерские государственные чины назначили на весь поход только 100 000, а чины эрцгерцогства австрийского — 40 000 гульд. (60 000 и 25 000 руб. сер[ебром]).

Если походная свита наследника престола состояла из такого страшного числа людей, легко поверить, что число всех придворных служителей в постоянных резиденциях австрийского дома равнялось целой армии: в самом деле, иногда оно достигало до 40 000 человек. Но и владетели, гораздо менее значительные, мало уступали австрийскому дому обширностью придворного штата. Так, например, кельнский епископ в начале XVIII века

\* 1 Fischmeister, 3 Ziergärtner, 1 Geflügelmaier, 3 Kellerdiener, 2 Kellerbinder, 1 Mundbäcker, 1 Vicemundkoch, 20 Meisterköche und Unterköche, 1 Oberst Kuchelmeister, 12 Kämmerer, 1 Unter-Silberkämmerer, 1 Mundschenk, 1 Vorschneider, 1 Truchsess, 1 Beichtvater und 1 Socius, 1 Hofprediger, 2 Hofcapellane, 4 Zusätzer, 4 Träger, 3 Kesselreiber и т. д. У каждого из этих чинов и служителей были свои помощники: Gehülffen, Ordinarii und Extraordinarii Jungen и пр.

\*\* 2 Geflügelwagen, 1 Kammerheizerzeltwagen, 1 Tafeldeckerzeltwagen, 3 Mundkuchelwagen, 2 grosse Bagage-Kuchelwagen, 1 Speisefeldtafelwagen, 2 Ziergartenbagagewagen, 1 Tafeldeckerbagagewagen, 1 Kammerfourierbagagewagen, 6 Kellerwagen, 21 Rüstwagen (каждая на 6 волах) и пр.

имел 150 камергеров. Часто свиты владетельных особ бывали даже многочисленнее той, какая сопровождала римского короля. Например, когда Фридрих-Вильгельм Прусский женился на дочери Георга Ганноверского, свита, сопровождавшая невесту, была так велика, что поезд состоял из 520 лошадей. Навстречу невесте из Бранденбурга выехала свита жениха на 350 лошадях. Отец жениха, Фридрих, первый король прусский, в своих путешествиях имел свиту, требовавшую до 1000 лошадей. В конюшне курфюрста баварского находилось до 1400 лошадей.

Каждый вельможа, следуя примеру князя, также окружал себя придворным штатом и, наполняя свой дом бесчисленную прислугою, недостаток вкуса заменял страшною расточительностью и нелепою пышностью. Так, например, за столом у саксонского министра Брюля никогда не подавалось менее 30 блюд; на малых парадных обедах число блюд доходило до 50, а на больших до 120. Прислуга Брюля состояла из нескольких сот человек, в том числе 12 камердинеров, 12 пажей, 4 метрдотелей, 12 поваров и 12 их помощников и проч., так что вообще в кухонном его штате находилось более 30 человек. Ливрейных лакеев было у него сто человек. Не только башмаки сотнями и парики дюжинами выписывал он для себя из Парижа, но даже пастеты присылались ему также из Парижа с нарочными курьерами. Вообще в доме его решительно все было вышнее из-за границы. Даже во время войны, когда Саксония была истощена и разорена, он продолжал жить с королевским великолепием, — и, несмотря на свою чрезвычайную расточительность, он оставил после себя огромное состояние.

Безумная пышность была для тогдашних вельмож единственным средством отличиться от простонародья, потому что нравы их были чрезвычайно грубы. Чтобы судить об этом, достаточно одного примера.

Несмотря на то, что у Георга II Ганноверского было множество фавориток, супруга его, королева Каролина, пользовалась большим влиянием на дела. Один из придворных, фон-дем-Буш, подарив ей десять акций горнозаводского общества, приносивших 20 000 талеров ежегодного дохода, приобрел право самовластвовать в Ганновере, как ему хотелось. Чтобы иметь понятие о том, как он держал себя даже с людьми, которых удостоивал приглашения к своему столу, довольно знать, что он сам сидел на своих парадных обедах со шляпою на голове, заставлял гостей переодеваться, когда был недоволен их костюмом (между прочим, он не терпел голубого цвета и манжеток), несколько раз в продолжение обеда приказывал тому или другому пересестя с одного стула на другой и т. д. Расскажем два-три анекдота о подобных случаях. Однажды пришел обедать к нему советник горного управления Бютемейстер. Лишь только вошел гость в столовую, как министр бросился вон из комнаты, с криком: «камердинер! камер-

динер!» Явился в столовую камердинер и объяснил гостю, что г. министру не понравился костюм г. горного советника, и потому не угодно ли будет г. Бютемейстеру выбрать себе в гардеробной другое платье. Гость послушался, хотя предвидел, что одежда высокого и худощавого фон-дем-Буша будет не совсем хорошо сидеть на нем, толстом человеке, маленького роста, и через несколько минут возвратился в столовую совершенным шутком. Зато хозяин был с ним очень любезен во все продолжение обеда. С непокорными гостями бывало не так: фон-дем-Буш без церемонии ругал их. Однажды, например, телятина в окрошке показалась ему ягнятиною, — один из гостей, некто Гейлигер, заметил, что г. министр, вероятно, ошибся, потому что окрошка сделана из телятины; фон-дем-Буш закричал, чтобы привели повара. Предупрежденный о положении вопроса, повар подтвердил мнение своего господина.

— Ну, что, г. Гейлигер! так вы едите телятину? а, братец Гейлигер, что скажешь?

— Ваше превосходительство, это телятина; повар называет ее ягнятиною только из угождения вам, — отвечал непреклонный гость.

Министр разгневался и сказал: «Ты, любезный, видно, никогда у себя дома не едал такой окрошки, ты толкуешь о вещах, которых не смыслишь. Замолчи, пожалуйста, не говори глупостей».

Гейлигер, однако, защищал свое мнение; но другие гости прекратили спор, все согласившись, что окрошка, действительно, сделана из ягнятины, и упростили Гейлигера замолчать. Однако фон-дем-Буш все продолжал кричать: «ну так что же, г. Гейлигер, по-вашему, это телятина?» — Наконец Гейлигер надел шляпу и ушел из-за стола.

Еще случай в том же роде. Фон-дем-Бушу в середине обеда вздумалось, чтоб один из гостей, граф фон Ойнгаузен, пересел с одного места на другое. Ойнгаузен послушался. Но через несколько минут хозяин опять велел ему переменить место.

Тогда граф отвечал:

— Раз я послушался каприза вашего превосходительства, а в другой раз — слуга покорный. Если б не скверная ваша привычка обедать так поздно, я ушел бы в гостиницу Лондон; но там уж я не найду обеда, потому нечего делать, поем здесь. Но вперед говорю, что с этих пор вы не приглашайте меня к себе обедать — не поеду.

Министр замолчал; граф, по окончании стола, ушел, не простясь с хозяином.

При многих дворах в первой четверти XVIII века держали еще шутов. Последний шут при саксонском дворе, Кля (Kiau), умер в 1733 году. У Фридриха-Вильгельма Прусского также был шут; при манигеймском дворе существовали шуты еще в 1744 го-

ду, хотя этот двор, подобно саксонскому, хотел соперничать с версальским.

[Приведем еще один только факт, свидетельствующий о том, как]неимоверная грубость нравов саксонского двора соединялась с утонченнейшим развратом. [Графиня Оржельская, побочная дочь Августа Саксонского, была любовницею своего отца, которому, впрочем, изменяла, имея связь с побочным братом своим (сыном Августа от другой фаворитки, графом Рудельским). Однажды, когда Фридрих-Вильгельм Прусский с своим сыном, будущим Фридрихом II, посетил Августа, любезный хозяин приготовил своим гостям сюрприз такого рода: он ввел в комнату, где, при эффектном освещении, графиня Оржельская лежала на софе, совершенно нагая]. Регент французский, принц Орлеанский, прославился буйным и безграничным цинизмом в разврате; но [даже он никогда не делал подобных сюрпризов] — нравы версальского двора при нем должны быть названы скромными сравнительно с тем, что позволяли себе делать в Саксонии его подражатели. Тут было уже полное бесчинство развращенных дикарей, не имеющих понятия даже о внешнем приличии.

Можно легко поверить, что подобные люди не знали никакой разборчивости в средствах для добывания денег: они прибегали к мерам, которых устыдился бы не только регент, но даже итальянские тираны XV века, устыдился бы Александр VI и Цезарь Борджия. Не будем говорить ни о податях, ни о взятках, ни о нарушении частных контрактов и государственных договоров: всему этому можно найти примеры и в истории других народов Западной Европы, хотя нигде и никогда грабительство не достигало, кажется, такого полного и бессовестного развития. Укажем только две привычки, встречаемые постоянно в Германии XVIII века и не казавшиеся никому делом бесчестным: продажность правительств иноземцам и обычай продавать войска.

Во время смут иногда бывали и в других странах, кроме Германии, примеры того, что партии искали помощи у иноземцев: так, французские гугеноты обращались за помощью к немецким и английским протестантам, французские католики — к Филиппу II Испанскому; но все-таки эти партии призывали иноземцев и брали от них деньги затем, что сами хотели господствовать в своем отечестве: они хотели, чтобы иноземцы им помогали, а не властвовали над ними; они были увлекаемы фанатизмом, властолюбием, ненавистью, но не бессовестною подлостью, — они искали союзников, а не покупателей. Германские князья XVIII века хладнокровно, без всяких увлечений, продавали себя всякому, кто только платил им деньги [продавали себя без всяких политических или хотя династических побуждений, — просто только затем, чтобы получить деньги]. Мы уже видели тому несколько примеров, — приведем еще общее обозрение продажности Германии французам в половине XVIII века, во время от Второй

Силезской до конца Семилетней войны. Маркграфу аншпахскому французы давали пособие только до 1757 года, всего около 100 000 ливров; маркграфу байретскому давались субсидии постоянно; сумма пособий составляет 1 100 000 ливров. Герцог вюртембергский получил до войны полтора миллиона, во время войны семь с половиною миллионов; курфирст пфальцский — до войны пять с половиною, во время войны — около одиннадцати с половиною миллионов; курфирст кельнский в 1751—1761 гг. — около семи с половиною миллионов; Бавария до 1768 года — более восьми с половиною; герцог цвейбрюкенский до 1772 года — около четырех с половиною миллионов; маркграф гессен-дармштадтский в 1750 году — 100 000; курфирсту майнцскому дано в разные годы 500 000, нескольким другим князьям — всего до 3 000 000; Саксония в 1750—1761 гг. получила восемь с половиною миллионов. Австрия также получала пособия во время войны; но то были, действительно, военные субсидии, полученные от союзника. Деньги, получаемые другими немецкими государствами от французов, были просто ценою продажи этих государств французам. Плата им была, как видим, не высока: от излишнего сильного желания продавать себя продавцы уронили цену, и французы без церемонии то давали, то отнимали свои субсидии — всякая подачка всегда принималась с низжайшею благодарностью.

Мы видели и примеры того, как продавались иноземцам войска на время войны, — прибавим еще несколько таких случаев к тем, которые встречались в прежнем рассказе. В войну за австрийское наследство 6000 гессенцев были проданы одной из воюющих сторон англичанам и голландцам, другие 6000 — другой стороне, баварскому претенденту и французам. Во Вторую Силезскую войну саксонские войска были проданы австрийцам, а когда по заключении мира стали не нужны Марии-Терезии, были перепроданы голландцам. Фридрих Гессенский торговал своими солдатами с таким успехом, что только до 1750 года от одних англичан получил более 15 000 000 гульденов; а он продавал солдат не одним англичанам, а всякому желающему. Проданные солдаты обыкновенно ставились на самые убийственные места. Нанимающим было оттого мало потери: выбывшие из строя заменялись, по контракту, свежими людьми; а продавцы имели даже в том прямую выгоду, получая особенную условленную плату за каждого убитого и раненого.

Таков был порядок дел в Германии в половине XVIII века. Зная его, не нужно много говорить о том, каково было состояние средних классов и простого народа: оно угадывается само собою. Довольно будет сделать два-три краткие замечания.

Различные классы населения были до того разделены предрассудками, гордостью сверху и раболепством снизу, что представлялись какими-то египетскими кастами. В каждом классе суще-

ствовало множество подразделений, из которых каждое презирало все низшие, будучи, в свою очередь, презираемо высшими. Так, например, в дворянстве за членами владетельных фамилий следовал *Grafenstand* \*, потом *Reichsritterschaft* \*\*, потом различные сорта жалованных дворян, между которыми опять было различие, смотря по тому, от самого ли императора, или от другого владетеля даны им были титулы.

Чиновники разделялись друг от друга такими же китайскими стенами. Любовь к чинам и титулам была безмерна и после привычки к грабительству составляла сильнейшую пружину всей жизни.

Даже торговый класс не был свободен от этой заразы: гильдии и цехи считались старшинством между собою и были разделены взаимным презрением и надменностью.

Дворянин презирал чиновника, и был презираем придворными; чиновник, раболепно преклоняясь перед родовым дворянством, презирал купца; купец презирал ремесленника; наконец народ, презираемый всеми, презирал самого себя.

Для курьеза можно заметить еще, что профессор рангом своим равнялся лейб-кучеру и что ученое сословие вообще стояло так низко, что никогда не считалось достойным награды ни одним из бесчисленных орденов. Когда знаменитый Михаэлис получил орден, все тому дивились как неслыханной редкости; да и ему орден был дан не немецким, а иноземным государем.

Офицерское звание даже при Фридрихе II, этом друге французских философов, было доступно исключительно только одним родовым дворянам.

Торговля и промышленность вообще упадали, города постоянно беднели. Только один Гамбург составлял исключение из общего правила: он богател от заграничной торговли. Другие города, даже служившие центрами торговой деятельности, например, Бремен, Франкфурт-на-Майне, Аугсбург, счастливы были уже тем, что сохраняли остатки прежнего благосостояния, постепенно, впрочем, уменьшавшегося. Все другие города падали.

Участью поселян была нищета. Домик со светлыми окнами составлял редкость, которую далеко не во всяком селе можно было найти; верхнее платье из грубого сукна имели только немногие поселяне; огромное большинство жило в низеньких, мрачных избушках, довольствуясь холщевой одеждою и скудною пищею.

Остается сказать еще одно только, чтобы завершить картину состояния Германии в половине XVIII века. Невежественный фанатизм был так силен, что не только католики чуждались протестантов и протестанты католиков, но и между протестантами

---

\* Графы. — *Ред.*

\*\* Имперское дворянство. — *Ред.*

лютеране и реформаторы преследовали друг друга. В лютеранских городах не было терпимо реформатское богослужение, и наоборот. Религиозные преследования вообще были господствующею чертою того века. Редкая область была свободна от гонений за веру. Так, даже Мария-Терезия преследовала в своих владениях протестантов. Когда в начале XVIII века усилились гонения на протестантов в Палатинате, то в Бранденбурге и Ганновере, в отомщение за то, начались гонения против католиков. Архиепископ зальцбургский, около 1730 года, решился очистить свою область от еретиков. Протестанты, доведенные до крайности жестокими притеснениями, стали жаловаться — их объявили возмутителями, и Карл VI Австрийский выслал армию для примерного их наказания. Более 30 000 человек были изгнаны из зальцбургских владений. В лютеранских землях попеременно то подвергались преследованиям пиетисты, то сами преследовали своих прежних гонителей. Реформаторы и лютеране смертельно ненавидели друг друга. В Гамбурге, где господствовало лютеранское исповедание, лютеранские пасторы писали сочинения, в которых приписывали реформатам гнуснейшие пороки. Франкфурт-на-Майне, также лютеранский город, несмотря на все просьбы прусского короля, не позволял в своей области отправлять реформатское богослужение. Лютеранский Виттенбергский университет не давал ученых степеней реформатам.

Невежество было так велико, что в конце XVII века Томазиус едва не был объявлен еретиком за то, что восстал против обычая сожигать колдунов и волшебниц; еще в 1749 году сожжена была в Вюрцбурге за колдовство монахиня, а в 1750 году, в Ландсгуте, тринадцатилетняя девочка.

Таково было состояние Германии в половине XVIII века. Посмотрим теперь, в каком положении находились тогда те силы, от которых нация могла ожидать себе избавления: взглянем на состояние немецкой науки и литературы и на расположение умов.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Немецкая литература до Лессинга. — Готтшед и саксонская школа. — Бодмер и швейцарская школа. — Клопшток. — Галлер. — Гагедорн. — Рабенер. — Геллерт. — Университеты и школы. — Публика. — Начала новой жизни. — Томазиус. — Мозер.

Трудно представить себе что-нибудь печальнее и безнадежнее того порядка вещей, жертвой которого была Германия в первой половине XVIII века. Французские историки не находят довольно сильных выражений, чтобы характеризовать состояние Франции в последние годы правления Людовика XIV, во времена Регента и Людовика XV. Но все те бедствия, которые терпел французский народ в эту эпоху, правда, очень тяжелые, не-

значительны, можно сказать, в сравнении с теми ужасными страданиями, какие терпел немецкий народ, — именно терпел, потому что не было в нем даже ропота, недовольства своим положением, не было мысли о чем-нибудь лучшем. Тяжесть, угнетавшая людей, была так велика, что даже надежды и стремления были в них подавлены. Они отупели ко всему, стали равнодушны даже к своей судьбе. Германия была чем-то подобным чудовищному шильйонскому подземелью; немецкий народ, томившийся в этом удушливом мраке в течение целого столетия, походил, наконец, на Боннива, который свыкся с своим подземельем так, что потерял даже скорбь о себе и впал в холодную, бессмысленную апатию<sup>9</sup>. Подобно ему, немецкий народ мог бы сказать, вспоминая свое состояние после Тридцатилетней войны:

...Что потом сбылось со мной,  
Не помню; свет казался тьмой,  
Тьма светом; воздух исчезал;  
В оцепенении стоял  
Без памяти, без бытия,  
Меж камней холодным камнем я,  
И виделось, как в тяжком сне,  
Все бледным, темным, тусклым мне;  
Все в смутную слилось тень.  
То не было ни ночь, ни день...  
То страшный мир какой-то был,  
Без неба, солнца и света,  
Без Промысла, без благ и бед,  
Ни жизнь, ни смерть, — как сон гробов,  
Как океан без берегов,  
Подавленный тяжелой мглой,  
Недвижный, холодный и немой...

Последние отголоски умирающей народной жизни слышатся в литературе, первые надежды, первые требования народа обыкновенно высказываются устами его поэтов и литераторов. Народ, потерявший или еще не получивший силы действовать, по крайней мере, говорит, ищет света в слове, если не находит его в жизни, жадно слушает воодушевленных негодованием и надеждами своих поэтов. Даже и этого не было в Германии. Писали чрезвычайно много, читали не так много, но все-таки очень много. Стихотворцев, литераторов и ученых Германия в первой половине прошлого века имела тысячи, читателей — десятки тысяч; но из этих тысяч писателей едва пять-шесть человек говорили о чем-нибудь заслуживающем внимания, да и тех никому не было охоты слушать. Все остальные сочиняли торжественные оды, идиллии, бессмысленные басни и бессмысленные панегирики, безжизненные эпосы, писали мертвые диссертации о мертвых предметах, — и их читали, ими восхищались, и они сами собою восхищались. Перья скрипели, литературные самолюбия надувались, часто брались, но чаще взаимно воспевали свое величие. Во всем этом

не было ни смысла, ни жизни; но публика была совершенно довольна и счастлива: она воображала, что имеет литературу, не предчувствуя даже, что язык дан человеку не для стихотворного или педантического пустословия.

Быть может, даже русская публика, несмотря на свою чрезвычайную малочисленность, более способна служить опорой и почвою для сильного литературного развития, нежели немецкая в прошлом веке: у нас читают немногие; но из этих немногих половина ищет в книге смысла и своим разумным голосом заставляет иногда смиряться невежественные толки, заставляет задумываться тупую апатию, своею симпатиею поддерживает святой жар в благородных писателях. Мы восхищаемся Гоголем, не хотим знать о других писателях (быть может, и талантливых, но какое нам до того дело?), которые толкут воду и занимаются пересыпанием из пустого в порожнее. Наша литература очень слаба и бледна, наша публика — горсть людей; но эта литература, каково бы ни было ее достоинство, все-таки стремится к жизни и свету, эта публика, каково бы ни было ее число, все-таки требует от литературы мысли и жизни. В Германии пред эпохою появления Лессинга и того не было: Лисков прошел незамеченным, а Готтшед, Бодмер, Рабенер, Геллерт, Галлер, Клопшток имели толпы подражателей и легионы почитателей.

Сама по себе немецкая литература до Лессинга представляет очень мало интереса как явление тунеядное и безжизненное. Но для людей, занимающихся историею русской литературы, ее изучение должно иметь большую важность, потому что все мертвые стихотворцы-педанты и прозаики-педанты, которыми восхищались немцы в половине прошлого века, были переводимы на русский язык и, вероятно, восхищали немногочисленных наших грамотных людей в ту пору или несколько позднее и служили образцами подражания для сынов российских муз. В каталоге Смирдина мы находим, кроме множества других немецких писателей того же разряда, Вейссе, Галлера (девять сочинений), Геллерта (шестнадцать сочинений), Гесснера (девять сочинений), Готтшеда, Клопштока, Крамера (пятнадцать сочинений), Мейера, Рабенера (одиннадцать сочинений). Читатели заметят, что особенно пустым и сухим писателям наиболее было счастья в русской литературе, и Геллерт, в шестнадцати видах поучавший русскую публику, далеко оставляет за собою гениального Клопштока, давшего русской литературе только три книги, и благородного Мозера, из которого было переведено только два сочинения. Надобно сказать, что и впоследствии эта прекрасная пропорция не была нарушаема, как не нарушается она и теперь в нашей переводной литературе, гигантами которой, из всех европейских писателей, являются Поль-де-Кок и знаменитый автор «Монте Кристо» и «Трех мушкетеров». Утешительно видеть постоянство в чем бы то ни было: постоянство — прекрасное качество во всех сферах

жизни, а особенно в умственной жизни, которая, к сожалению, у иных народов в иные времена так подвержена бывает беспокойным тревоблениям. Нас успокаивают на этот счет воспоминания о прошедшем и настоящие явления: над всеми русскими и иностранными писателями возвышается у нас мирный гражданин Коцебу на величественном подножии, состоящем из 143 (сто сорок три: эта цифра не опечатка) творений, которыми позаимствовалась у него русская литература. Утешительно видеть, как искусство наше умеет находить неистощимое умственное богатство в самых заплесневелых лужах.

Никогда — даже в то время, когда вслед за Жуковским при-  
нялись у нас переводить великого Шиллера, ни после, когда энтузиасты-юноши чуть не сходили с ума от олимпийца Гёте — никогда немецкая словесность не имела такого влияния на нашу литературу, как в то время, когда она сама была пуста, мертва и ничтожна. Лишь только стала она оживляться, как уже и начала уменьшаться наша любовь к ней, и мы обратились к более сродным нашему уму источникам умственного удовольствия, отысканным, к великому нашему восхищению, у Мармонтеля и мадам Жанлис. Эпоха Лессинга совершенно охладила нашу любовь к немецкой литературе. Однако же мы не возлюбили не всех немецких писателей поголовно: нет! те, которые сохранили в своих сочинениях милые для нас черты старой, до-лессинговской литературы, продолжали пользоваться нашим благосклонным вниманием: любили мы поразмыслить над глубокомысленными творениями Юнга-Штиллинга и Эккертгаузена, любили позабавиться прелестными в простом умии своем романами Фандер-Фельде и Августа Лафонтена (сорок девять раз являлись различные его творения на русском языке для нашего удовольствия), а более всех любили мы, как выше показано, доброго и честного Коцебу, пострадавшего за правду<sup>10</sup>, которую так безрас-  
судно отвергло суетное немецкое юношество\*.

---

\* Пушкин справедливо замечает о французском влиянии на русскую литературу в конце прошлого и начале нынешнего века:

«Ничтожество общее. Французская обмельчавшая словесность envahit tout\*\*». Знаменитые писатели не имеют ни одного последователя в России; но бездарные писаки, грибы, выросшие у корней дубов: Дорат, Флориан, Мармонтель, Гимар, m-me Жанлис, овладевают русской словесностью».

Совершенно таково же было, несколько ранее, и отношение нашей словесности к немецкой литературе. Интересно видеть, как немцы понимают свою литературу до Лессинга, как французы (конечно, только те, которые не из числа бессмысленных болтунов) понимают своих Мармонтелей и тому подобных мудрецов, чтобы сообразить, каким образом прилично смотреть и на нашу литературу прошедшего века. Последовать этому совету будет не бесполезно, между прочим, для г. Галахова, который, вероятно, не писал бы возражений на статью г. Лайбова, помещенную в «Современнике», если бы хотя несколько сообразил смысл своих слов<sup>11</sup>.

\*\* Захватила всё. — *Ред.*

Все это мы говорим к тому, чтобы показать причину краткости обзора немецкой литературы до Лессинга, который должны представить в этой главе. Некоторые из читателей, знающих огромное влияние ее на русскую литературу, могли бы полагать, что интересно знать подробно деятельность писателей, которых у нас переводили и которым подражали с такою любовью, достойною лучшего предмета. Нет, это навело бы только бесполезную скуку. Людям, которые разрабатывают историю нашей словесности прошедшего века, необходимо основательно изучать всех этих Крамеров, Бодмеров, Геснеров с братиею, потому что многие русские сочинения прошлого века, притворяющиеся оригинальными произведениями русского ума, в сущности не более, как переделки сочинений того или другого из забытых ныне немецких писателей. Как все касающееся родной истории интересно для нас, то и исследование немецкой до-лессинговской литературы, с целью объяснить развитие русской литературы, имеет свою важность. Но сами по себе писатели, славившиеся тогда в Германии, не заслуживают особенного внимания. Если тот или другой из них и памятен еще самим немцам, то почти всегда потому только, что Лессинг обессмертил его имя, так или иначе упомянув о нем. Сами по себе сохранились в благодарной памяти своих соотечественников очень немногие, да и то почти исключительно из тех, которые не пользовались громкою известностью в свое время. У немцев Лискова, как у нас Кантемира, оценили только уже много лет спустя после его смерти: они в свое время не имели влияния. Подробно говорить о других значило бы понапрасну терять время, и мы ограничимся только немногими указаниями на значительнейшие имена до Лессинга. Несколько страниц слишком достаточно будет для характеристики того состояния, в каком нашел немецкую литературу ее великий преобразователь.

Каково было состояние немецкой литературы в начале XVIII века, можно судить по одному тому, что Шлоссер, в предисловии в своей «Истории XVIII века», обозревая, вместе с политической, и литературную жизнь европейских народов в это время и говоря о французской, английской, итальянской литературе, ни одним словом не упоминает о немецкой, как будто бы она вовсе и не существовала.

В самом деле она существовала на столько же, на сколько существовала русская литература в ту эпоху, когда вся состояла из напыщенных од и эпопей, да из дубоватых анакреонтических стихотворений. Немногим лучше была она и через сорок лет. Правда, на место прежних знаменитостей явились новые громкие имена; правда, оптимист может заметить, что новые знаменитости были несколько лучше прежних, что Готтшед, при всей своей бездарности и недобросовестности, лучше какого-нибудь напыщенного Лозанштейна или Гюнтера, потому что писал, по крайней мере, вразумительным языком; оптимист, видящий повсюду про-

гресс, может видеть его и в периоде немецкой литературы от 1700 до 1750 года. Но прогресс этот совершался до излишества сообразно правилу Октавиана: «спеши медлительно», и в половине XVIII века положение немецкой литературы было до крайности жалко или презрительно. Она еще оставалась рабским подражанием всему, что было мертвого и пустого в литературах французской и английской, она оставалась совершенно чужда народной жизни, в ней владычествовали такие люди, как Готтшед и Бодмер, в ней прославлялись, как величайшие поэты вселенной, как немецкие Гомеры, Мильтоны и Горации, такие поэты, как Рабнер, Геллерт и им подобные.

Французская псевдо-классическая литература достаточно ославлена у нас; довольно сказать: «немцы благоговели перед Буало», и всякие объяснения о степени плодотворности французского влияния на немецкую литературу становятся излишними. Но надобно сказать несколько слов о том, каковы были английские писатели, разделявшие с Буало владычество над умами германских писателей. Эти писатели были Аддисон, Стиль, Поп и Томсон. Все они стояли друг друга по безжизненности и фальшивости направления, хотя и отличались один от другого большею или меньшею степенью таланта, и, говоря беспристрастно, надобно признаться, что Буало был ничем не хуже их. Чтобы это суждение не показалось излишне суровым, приведем слова Шлосера о Попе и Аддисоне; читатели поверят нам на слово, что мнение наше о достоинствах Стиля и Томсона могло бы быть подтверждено такими же цитатами.

«Поэзия Попа более всего щеголяет приятностью и гладкою формою. Его стих превосходен, слог прекрасен, язык правилен; но у него нет ни поэтического творчества, ни оригинальности, ни силы. Человек с такою холодною, слабою и тщеславною натурою, как Поп, который с необыкновенным усердием старался лгнуть к каждому лорду и суетливо хлопотал о том, чтобы образовать вокруг себя нечто вроде двора и нечто вроде аристократической комфортабельности, этот человек, жадный к славе и деньгам, был как бы создан природою за тем, чтобы быть проповедником фальшивого и софистического направления в образовании. Он был католик, а с тем вместе ученик и друг кошуна Болингброка, утверждал, что всегда оставался верен догматам своей церкви, и с тем вместе провозглашал эгоизм. Он умел изворачиваться так ловко, что обе враждовавшие тогда партии, приверженцы старины и друзья прогресса, считали его своим союзником. Тот самый труд, который доставил Попу славу и независимое состояние, знаменитый перевод «Илиады», служит свидетельством искусственности его направления. Поэт, который понимал бы дух Гомера, почел бы недостойным делом переводить «Илиаду», не зная по-гречески, и прикрашивать ее мишурными блестками. Сравнивая перевод с подлинником, мы можем только изумляться изнеженности и испорченности вкуса, риторичности и ненатуральности переводчика, прославленного Джонсоном, оракулом светских салонов. Три другие произведения Попа, на которых вместе с переводом «Илиады» основалась его слава, еще яснее показывают и содержанием и формою, до мельчайших подробностей жизненных и литературных, что поэзия Попа была только порождением духа, господствовавшего при версальском дворе, и служила только проповедницею искусственной, сладо-

страстной, пустой салонной жизни. Это обнаруживает относительно литературы «Опыт о критике», относительно жизни — поэма «Похищенный локон», относительно религиозных и нравственных правил — «Опыт о человеке». «Опыт о критике» излагает теорию той поэтической школы, к которой принадлежали Драйден и Поп. Подобно Буало, Поп не имеет ни малейшего понятия о творческом вдохновении, которое создает художественную форму вместе с идеею: зато у него излагаются очень хитрые правила для сочинения стихотворных произведений в любом роде. Чтобы показать характер этих наставлений, припомним только знаменитое правило о необходимости украшать природу, чтобы придать ей модный покров, как придается он фракку или жилету. Потому-то Вида, автор известной реторики, без церемонии ставится Попом наряду с Гомером и Виргилием. «Похищение локона» — шутившая поэма в духе совершенной распущенности нравов, бывшей тогда модною, написана в подражание одной из поэм Буало. Содержание поэмы составляют модные обычаи светского круга, уважением к которому проникнут автор. «Опыт о человеке», по сознанию самого Попа, есть переложение в стихи философии Болингброка, ставившей целью человеческой — удовольствие. Собственного образа мыслей Поп не имел, как доказывают его письма.

«Аддисон и его друзья хотели подчинить английскую литературу холодной правильности, господствовавшей у французов, которым форма казалась важнее содержания. По их мнению, не вдохновение делает великим писателем, а рассчитанность, остроумничанье и искусственность. Превозносимые достоинства этих стилистов основываются на том, что они хотели только занимать, а не вести вперед публику, хотели слегка щекотать, а не глубоко потрясать умы, — основаны на пошлости и реторике. Реторика и софизмы были главными качествами нравственных лицемеров, во главе которых стоял Аддисон. Он, по злому капризу судьбы, был государственным секретарем, хотя не был в состоянии ни говорить в парламенте, ни писать деловых бумаг, потому что от чрезвычайной заботливости о красоте слога и риторических фигурах не мог справиться с депешою, если принимался сочинять ее — факт, как нельзя лучше характеризующий подобных ему писателей: реторы от создания мира всегда были тщеславны и никуда не годны для практической жизни. Зато сочинял он множество назидательных трактатов. На вопрос, каким образом эти сухие прозаики, в которых не было ни искры поэзии, могли предписывать своему и последующему времени законы вкуса и достичь славы, которую еще продолжают пользоваться, хотя едва ли кто ныне читает или в состоянии прочесть их выглаженные и прикрашенные, вялые и сухие работы? — на этот вопрос отвечать легко. Двор и знать ввели моду считать реторику за поэзию, а морализованье — за литературу. Вильгельм III, Анна и их министры прославили и возвысили Аддисона. У этих людей не было ни вкуса, ни понятия о чем-либо, кроме деловых занятий или интриг; потому плоская и многоглаголивая прикрашенность необходимо должна была нравиться им лучше истинной поэзии или сильной прозы. Поп содействовал прославлению Аддисона, потому что с проникательностью, свойственною людям его разбора, предчувствовал, что Аддисон никогда не помрачит его самого. Каков был модный вкус, которому Аддисон обязан был своим возвышением и распространению которого потом содействовал он, ясно видно из истории этого писателя. Он начал с латинских стихотворений, которые поднес Буало. Буало вообще находил, что нелепо писать стихи на мертвом языке, но отвечал комплиментами на почтительное приношение англичанина. Похвала эта составила славу Аддисона. После того воспевал он Рисвикский мир и Гохштедтскую битву и описывал Италию в поэме, которую можно было написать, не выезжая из Англии. Потом трагедия его «Катон» произвела такой шум, заслужила такое всеобщее одобрение, что можно было спросить себя: не изменяла ли себе в этом случае нация, имевшая Шекспира и стольких других вдохновенных драматургов, а теперь восхищавшаяся сухою правильностью и пустою реторикою? Но тут все зависело не от характера нации, а от моды аристократических салонов. «Катон» сочинен по правилам Буало, с соблюдением трех единств, с примесью любовных сцен, и герой пьесы в

ишафроке читает Федона. В знаменитом журнале Аддисона «Зритель» господствуют риторическая проза, выглаженное, искусственное стихотворство; все было написано по правилам ретирики и пиитики, но ни в чем не было ни искры гения, ни следа одушевления, ни нравственного здоровья, ни силы. В «Зрителе» проповедуется прикрашенность соблюдающей внешние приличия испорченности нравов, которая владычествовала тогда в высшем английском обществе, проповедуется система жизни, подобная развратному лицемерию французского двора при Людовике XIV и кардинале Флери. Аддисон с педантической точностью рисовал нравы и характеры; но о нем можно сказать то же самое, что говорили об учителе его, Буало: от его сочинений пахнет маслом ночной лампы, при свете которой неумоимо обделывал он свой слог. Он восхищал высшее общество тем, что давал ему в украшенном виде изображение его собственных нравов, представляемых как образец для подражания другим классам. Мораль Аддисона основана на ханжестве, а истина переделывается так, что никого не может оскорбить или испугать. Мораль у Аддисона главное дело во всех рассказах и аллегориях; но, чтобы никого не оттолкнула она, нравственные требования смягчаются до того, что все, льстящее модным обычаям, представляется добродетелью».

Трудно не соглашаться с этими суждениями, как и вообще редки те случаи, в которых здравомыслящий человек не найдет справедливым понятия Шлоссера, которого по внутреннему достоинству его творений надобно признать первым историком нашего века.

Если таковы были писатели, служившие оракулами для немецких литераторов первой половины XVIII века, легко себе вообразить, много ли жизни, много ли поэтического достоинства, много ли справедливых литературных понятий можно найти у знаменитостей немецкой литературы того времени. Для нашей цели — объяснения, в каком состоянии нашел ее Лессинг, — довольно будет сказать по нескольку слов о людях, пользовавшихся особенно славой или влиянием во второй четверти XVIII века.

Около 1730-х годов сильнейшим лицом в немецкой литературе был Готтшед; через несколько лет выступили против него и его последователей (саксонской школы) Бодмер и его друзья (швейцарская школа). Борьба этих двух школ ведена была обеими враждующими партиями с величайшим ожесточением и страшным шумом, без малейшего соблюдения каких бы то ни было приличий. Спор этот составляет важнейший факт в немецкой литературе 1740-х годов. Посмотрим же, каковы были противники и о каких предметах шел спор\*.

Готтшед был последователь Буало и поклонник французского псевдо-классического направления.

Значительного положения в немецкой литературе достиг он ловкою рассчитанностью своего образа действий. Поселясь в

---

\* Мнения, которые кажутся автору справедливыми, почти все высказаны у Шлоссера. Факты, здесь приводимые, так общеизвестны, что не нуждаются в подтверждении цитатами, которые, впрочем, желающий найдет у Гервинуса, Гиллебранда, Шефера и других историков немецкой литературы XVIII века. Во многих местах мы, конечно, просто переводим того или другого из этих писателей.

Лейпциге, он сначала льстил людям, которые имели в руках средства помочь ему, потом, когда, благодаря им, приобрел громкий голос в литературных делах, стал превозносить каждого, кто, в свою очередь, соглашался быть его льстецом. Этим путем ему удалось получить владычество в учено-литературном обществе, которое существовало в Лейпциге. Единственной целью его деятельности был личный интерес, и только для увеличения своей славы и власти он старался пробудить участие к немецкой литературе в публике. Вкус публики был так груб, невежество ее так велико, что сочинения Готтшеда, человека хитрого, но лишенного литературных талантов, и клиентов его, людей большею частью совершенно бездарных, удовлетворяли общему требованию. Готтшед бессовестно прославлял своих последователей, они, в свою очередь, прославляли его, и публика, оглушенная этим криком, еще не способная иметь самостоятельного мнения, верила всем этим своекорыстным похвалам и считала наглого шарлатана с его креатурами за великих писателей. Готтшед написал грамматику, пиитику, реторику, издавал критический журнал и считался законодателем языка и вкуса. Правда, суждения его о писателях были пристрастны и недобросовестны, понятия его о литературе мелочны и пошлы, но они приходились по вкусу тогдашней публики. Посредством лейпцигского «Немецкого общества» Готтшед вошел в сношения с бесчисленными другими литературными обществами, которые существовали в каждом городе и городке. Он льстил тщеславию, которое обыкновенно бывает главным качеством литературных корпораций; он льстил всем лицам, занимавшим важные официальные положения в университетах, еще более льстил тем придворным и аристократам, которые имели претензию быть меценатами. Титулованным поэтам, как бы ни были они бездарны, Готтшед подобострастнейшим образом курил фимиам: так, например, он превозносил до небес жалкий перевод Горация, изданный без имени переводчика, узнав, что переводчик — граф фон-Зольмс; а барона Шенайха, сочинителя нелепейшей поэмы «Терезиада», ставил он выше Клопштока, пазывал величайшим из эпических поэтов вселенной и торжественно венчал лавровым венком. Личность Готтшеда вполне обрисовывается перед нами одним анекдотом, который рассказан в автобиографии Гёте (*Wahrheit und Dichtung* \*).

Приехав в Лейпциг, молодой человек с некоторыми другими юношами отправился на поклонение светилу немецкой словесности:

«Слуга ввел нас в большую комнату и сказал, что г. Готтшед сейчас выйдет. При этом показалось нам, что он жестом показал на соседнюю комнату, в знак того, что мы должны идти туда. Не знаю, ошиблись ли мы, поняв его движение в этом смы-

---

\* Правда и поэзия. — *Ред.*

сле, но, отворив дверь, мы очутились зрителями странной сцены: в тот самый миг из противоположной двери явился Готтшед, плечистый мужчина гигантского роста, в зеленом дамасовом шлафроке, подбитом красною тафтою, и с беспредельною лысиною на громадной голове. Последней беде готовилась быстрая помощь: из третьей двери выскочил слуга, держа в руке парик, и, с испугом на лице, кинулся к барину. Готтшед, совершенно хладнокровно, не обнаруживая ни малейшей досады, левою рукою взял у лакея парик и, очень искусно сажая его на голову, правую рукою дал лакею такую пощечину, что бедняга, будто играя роль в водевиле, кубарем вылетел за дверь, после чего достопочтенный хозяин очень важно попросил нас садиться и, не переводя духа, проговорил довольно длинное и очень милое приветствие».

Восхитительно это невозмутимое спокойствие, с которым знаменитый хозяин, одною рукою поправляя парик, другой дает крепкую пощечину слуге и вслед за тем с совершенным апломбом начинает говорить заранее обдуманнные любезности гостям. Очевидно, что почтенный Готтшед был недоступен волнениям сердца — он неизменно действовал по правилу, которое раз навсегда поставил себе: «проступки должны быть наказываемы, а всем, кого нет надобности наказывать, должно говорить любезности». Точно так же рассчитанно и холодно действовал он и в литературе: беспощадно бранил всякого, кто сделал ему какую-нибудь неприятность, бесстыдно превозносил каждого, от кого слышал лесть себе или мог ожидать каких-нибудь услуг. Литературные достоинства или недостатки произведения тут нимало не принимались в соображение, — притом же Готтшед и не имел способности замечать их; весь вопрос состоял исключительно в личных отношениях автора к Готтшеду. Бессовестность такого самовластителя в литературе вызвала, наконец, некоторых из обиженных им писателей на борьбу против него. Предводителем этой партии, враждебной лейпцигскому диктатору, явился швейцарец Бодмер, уже имевший в Цюрихе и окрестных городах толпу клиентов.

В противоположность Готтшеду, Бодмер был человек честный, но, подобно Готтшеду, он был лишен и вкуса и таланта, а, между тем, хотел быть судьей в поэзии и считал себя великим поэтом. Поклонников у него находилось очень много, даже между людьми, имевшими образование или поэтическую славу. Они говорили, что эпическая поэма Бодмера «Ной» выше мильтонова «Потерянного рая» и самой «Илиады». До старости Бодмер сохранил ребяческую впечатлительность и опрометчивость вместе с безмерным и чрезвычайно раздражительным самолюбием. Оракулом в литературных мнениях служил ему Аддисон, «Зрителю» которого которого самодовольно подражал журнал Бодмера «Беседы живописцев», далеко уступавшие «Зрителю», хотя и англий-

ский журнал, как мы видели, имел не слишком много положительного достоинства.

Готтшед и Бодмер сначала были в хороших отношениях между собою: один помещал свои стихотворения в журнале другого, тот хвалил его произведения и т. д. В самом деле, в образе понятий не было между этими людьми значительной разницы: один веровал в Буало, другой в Аддисона, ученика Буало. Но оба были люди тщеславные, оба проникнуты суетным желанием не встречать противоречия. Скоро Готтшед стал считать партию Бодмера вредною для себя: она мешала его единовластию в литературе. Швейцарцы осмелились даже издавать руководства к пиитике, как будто бы не издано было такое руководство Готтшедом! Значит, они посягали на его права: кто смел предписывать законы поэзии, когда они даны уже им, великим Готтшедом? Он начал бранить Бодмера и его друга Брейтингера, эти, разумеется, отвечали ему в таком же тоне, пасквили посыпались градом с обеих сторон, и загорелась непримиримая война.

Спор шел о предметах мелочных и ничтожных, лишен был всякого живого содержания, как и должно было ожидать: какие важные недостатки мог открыть в понятиях или произведениях последователей Аддисона ученик Буало, или в понятиях и произведениях приверженцев Буало ученик Аддисона? Спорили о словах, о достоинстве того или другого выражения и т. д.; но этот пустой спор был криклив и задорен, потому что дело велось собственно из-за оскорблений личного самолюбия; считаться ли Бодмеру немецким Гомером и Виргилием, или бездарным писакою? считаться ли Готтшеду немецким Корнелем и Расином, или его драмы достойны осмеяния? Кому из двух противников быть немецким Горацием, законодателем в области поэзии? Кто из них Аристарх и кто Зоил? Точно таковы же были отношения и всех других саксонцев, стоявших под знаменами Готтшеда, и швейцарцев, стоявших под знаменами Бодмера: каждый из них кричал, защищая славу, которою пользовался в своей партии, и браня противников за то, что они не признавали его великим писателем.

Полемика была пуста, но не была бесплодна; громкий шум привлек внимание общества: оно стало поневоле думать о литературе, когда из литературных лагерей стали неумолкаемо раздаваться неистовые крики. Научить эти крики не могли пока еще ровно ничему; но хорошо было уже и то, что прежняя усыпительная монотонность нелепых панегириков заменилась бойким задирающим спором, пробуждающим любопытство. Не бесполезна была эта неистовая полемика и потому, что заставила публику несколько недоверчивее прежнего смотреть на авторитеты, несколько самостоятельнее прежнего судить о достоинстве писателей и сочинений: до того времени публика тупо верила всему, что ей говорили; теперь по необходимости надобно было

каждому решать, кто из споривших справедливее. Борьба была упорна: но через несколько лет победа стала склоняться на сторону швейцарцев. В самом деле, хотя они вообще не отличались ни вкусом, ни дарованиями, но в партии Готтшеда было еще больше безвкусицы и бездарности; хотя швейцарцы держались понятий педантических и безжизненных, но в школе Готтшеда педантизм был еще безжизненнее; хотя они были чистые формалисты, но у готтшедианцев формализм был еще более сух и мелочен. Так, например, в спорах о языке швейцарцы защищали употребление оригинальных выражений, Готтшед был пуристом и осуждал каждый новый термин, каждое выражение, не освященное долговременным употреблением, и доходил в этом случае до очевиднейшей тупости; он нападал на такие слова, как меланхолия, симпатия, сцена, фантазия; нелепыми нововведениями казались ему и такие слова, как например, *das Entlocken*, *das Grosse*, *unbewusst*, *unentwickelt*, *die Mitternacht*, *das Lächeln*, — слова, столь же невинные и понятные на немецком языке, как на русском понятны и невинны соответствующие им слова: похищение, величие, бессознательно, неразвитый, полночь, улыбка. В споре о теории словесности швейцарцы защищали права, если не творческой фантазии (о которой ни та, ни другая партия не имела понятия, подобно своим иноземным оракулам), то, по крайней мере, права лирического чувства, а Готтшед учил писать стихотворения при помощи одних только рассчитанных по пальцам правил и осуждал пиитику Брейтингера за то, что по ней не научишься писать эпоей, драм, од, — между тем (говорил он), моя пиитика учит «безошибочным образом изготовлять стихотворные произведения во всевозможных родах». Из этих слов можно уже с достоверностью заключать, что пиитика Брейтингера была несколько лучше готтшедовой, хотя она написана также в духе сухого формализма.

Когда люди, подобные Готтшеду и Бодмеру, спорили о владычестве над литературою, конечно, не могло быть истинно замечательных дарований между знаменитостями этой литературы, и сама литература не могла иметь живого содержания; иначе хитрая или тупоумная посредственность и не имела бы средств овладеть до такой степени законодательством в области изящного. Мы уже сказали, что нет надобности перечислять всех писателей, которые считались тогда славными и которые были забыты, как только оживилась литература. Довольно будет назвать три-четыре имени, пользовавшиеся или особенным уважением, или особенною любовью публики. К таким писателям принадлежат Галлер, Рабенер и Геллерт.

Дидактические поэмы Буало и особенно Попа имели решительное влияние на Галлера, который был великим ученым, но сам сознавался, что лишен поэтического таланта, — и не только таланта не было у него, но и вкуса, потому что Вейссе, очень по-

средственного драматурга, который подражал то французам, то англичанам, ставил он выше Шекспира, а приторный Геснер нравился ему больше Феокрита. Собственные произведения Галлера, особенно знаменитые его поэмы «Альпы» и «О происхождении зла», могут иметь ученое достоинство, но чужды поэтического одушевления. Стремясь к возвышенности, он достигает только суровой сухости; стремясь к теплоте и трогательности картин, дает он только холодные и скучные описания. В «Альпах» списываются красоты горной природы и изображаются в идиллическом виде нравы горных жителей, которые, не зная о жадности и любостыжании, сохранили у себя блаженство золотого века. Поэма «О происхождении зла» объясняет, что человеку дана свободная воля, что богу угодно было предоставить людям выбор между добром и злом; потом изображается состояние первых людей до грехопадения, падение диаволов и прегрешение первых людей — это подробный рассказ библейского предания с примесью различных философских замечаний. Поэма «О происхождении зла» имела большой успех и породила сотни подражаний. Многочисленные последователи Галлера без всякой заботы о требованиях поэзии целиком перелагали на стихотворный язык философские трактаты, сохраняя даже ученую систематическую форму в своих виршах, — они просто перефразировали Лейбница и Вольфа, прикрашивая их заимствованиями из Попа и Томсона, — сочиняли стихотворные рассуждения о намерениях божиих при создании вселенной, о законах разума, о прививании коровьей оспы, об искусственном орошении полей, о пользе математических наук для поэта, о том, что произрастанием травы доказывается существование божие, и т. д.

Кроме дидактических и описательных поэм, Галлер писал сатиры; но эти сатиры лучше всего остального показывают, как чужда была всякого живого содержания немецкая литература того времени. Они направлены не против пороков или смешных слабостей немецкого общества, а против парижских философов. Сам Галлер объявляет, что не имеет охоты заниматься современными нравами своей родины, потому что это бесполезно, да и не нужно.

Несмотря на чрезвычайное уважение к эпической поэзии, которая считалась верховным родом искусства, Галлера читали довольно мало, а его последователей еще меньше, но каждый чувствовал на себе обязанность превозносить эти поэмы. Галлера называли немецким Вергилием. Титулы, которыми украшались Рабенер и Геллерт, были скромнее: Рабенер считался не более, как немецким Ювеналом, а Геллерт — немецким Лафонтеном, но за скромность этих титулов Геллерт и Рабенер вознаграждались тем, что их сочинения были любимейшим чтением немецкой публики. Для нас, которые часто слышим преувеличенные суждения о глубине и серьезности содержания тех писа-

телей, которые считаются представителями сатирического направления в русской литературе, не бесполезно будет знать, как немцы ныне судят о Рабенере, которого можно сравнить с нашими писателями по обширности круга, которым занята его ирония, и по смелости, с какою обличает он недостатки своей народной жизни. Это сравнение может привести нас к сомнению в том, действительно ли есть серьезное содержание даже в тех произведениях нашей литературы, которые особенно известны беспощадным (будто бы) сарказмом, с которым разоблачают перед нами важнейшие (будто бы) наши недостатки. Без сомнения, у нас есть писатели, гораздо более даровитые, нежели Рабенер, и произведения, имеющие гораздо более художественного достоинства, нежели его сатиры. Но мы здесь говорим о границах содержания, доступного иронии. Мы находим, что у нас есть произведения, беспощадно карающие важнейшие общественные пороки, — так говорили и немцы доброго старого времени о сатирах Рабенера. Интересно знать, как думают ныне о Рабенере в Германии, уже имея понятие о том, какова бывает истинная сатира. Потому приведем суждение Гервинуса об этом писателе:

«Рамлер, в предисловии к переводу Бате (говорит Гервинус), хвалит Рабенера, называя его улыбающимся сатириком, писателем мужественно прекрасным, упреки которого поучительны, воображение которого неистощимо, в сочинениях которого представлен целый ряд картин и характеров. У кого достало бы охоты перечитать сатиры Рабенера, тот увидел бы, что надобно сказать о нем совершенно противное. Что касается неистощимости воображения, надобно признаться, что эти сатиры совершенно чужды всякой поэзии: творческой фантазии нет в них ни капли. Его произведения — чистая проза. Смелости и резкости он совершенно лишен; он робок и скучен. Для нынешних читателей довольно взглянуть на заглавия его сатир, чтобы убедиться в том: «О поздравлениях с праздником», «Похвала постельным собачкам», «О несчастных мужьях» — вот каковы поучительные задачи рабенеровой сатиры. Сатирические послания его превозносились как нечто удивительное — в каком же кругу вращается тут остроумие сатирика? Невежда-помещик ищет себе дешевого учителя, — горничная рекомендует на это место человека, который ей нравится; вдова пастора прискивает себе жениха; проситель подкупает судью и т. д. Правда, эти недостатки существовали в обществе; правда, сатира, карая пороки, может для разнообразия касаться и мелочных слабостей. Но сатирик обнаруживает незнакомство свое с жизнью, когда, думая об исправлении великого общественного здания, занимается подчисткою подобных незначительных шероховатостей в мелких уголках. Рабенер, Цахариэ и Геллерт не истребили мелочных недостатков, над которыми изощряли свое остроумие; но все эти мелочи упали сами собою, когда молодое поколение в 1770-тых годах потрясло своими ударами все здание, к которому принадлежали эти ничтожные подробности. Рабенер мог бы оставить без внимания пустики, которыми занимался, если б обратил свою сатиру против великих недостатков, порожденных жизнью его народа в его время и препятствовавших прогрессу; а он бился против маловажных и существующих везде и повсюду привычек. Предметы, которыми занимается его насмешка, слишком мелки. Он сам признается, что в Германии об учителе деревенской школы нельзя говорить той правды, которую в Англии говорят о первых сановниках королевства. Сам Геллерт — человек не слишком смелый — понимает, что сатира слишком стеснена, если говорить только

о пороках частной жизни: описывая вельмож, она, по его словам, бывает красноречивее, нежели издеваясь над мелкими людьми. Рабенер не дерзает приближаться к своему насмешкою к великолепным палатам: он прямо отказывается говорить о предметах, в которых замешаны «превосходительные люди». Разумеется, можно находить и оправдание для Рабенера: ведь и его сатиры возбуждали неудовольствие».

Суждение Гервинуса не должно считать слишком суровым, — подобно ему думают о робкой сатире Рабенера все. В подтверждение этих слов приведем суждения Шлоссера:

«Можно ли от Рабенера, человека, занимавшего должность сборщика податей при саксонском министре Брюле, стало быть, составившего себе карьеру самым печальным образом в самые печальные времена, — можно ли ожидать от такого человека смелых мыслей? А без смелости возможна ли сатира? Сатире не должно быть дела до тех пороков, которые гнездятся в ничтожных людях — нравы толпы исправляются не поэзией, а другими путями — она должна разоблачать пышные личины, ослепляющие простаков, она должна резко изобличать пустоту и лицемерие, соединенное с ложным блеском. Сатира Рабенера щадит (очень благоразумно) истинных врагов человечества и родины, щадит людей, которые бесстыдно презирают общественное мнение, она занимается только бабьими сплетнями. Она не понимает, что мелких купцов и мелких чиновников не исправишь насмешками; они бьются из-за куса насущного хлеба, их недостатки происходят не от злой воли, а от нужды».

Еще слабее и ничтожнее Рабенера был по своему направлению Геллерт, пользовавшийся, однакож, огромною популярностью. Он от природы был труслив и суетен, — обстоятельства развили в нем эти качества. Как жалка и бесцветна была его натура, можно судить по следующему рассказу, который помещен в английском «Годичном указателе» событий и новостей (The Annual Register) за 1762 год. Рассказ этот слишком хорошо характеризует вообще всех знаменитых немецких писателей той эпохи, которой принадлежит Геллерт, потому помещаем его вполне. Он лицом к лицу ставит перед нами этих жалких педантов, вечно занятых только одною мыслью о том, хороши ли их собственные сочинения, — заботою о том, чтобы стихи были гладки, язык чист и правилен и все правила пиитики и реторики были строго соблюдены, — этих жалких людей, ждавших себе чести, а литературе пользы от милости меценатов, людей, не знавших жизни, не имевших понятия о том, что писатель должен быть органом желаний своего народа, его руководителем и защитником.

«Подлинный разговор между королем прусским и талантливым Геллертом, профессором изящной словесности при Лейпцигском университете, заимствованный из письма из города Лейпцига, от 27 января 1761 года:

18 минувшего октября, в третьем часу вечера, когда профессор Геллерт, чувствуя себя несколько нездоровым, сидел в шлафроке, за своим письменным столом, кто-то постучался в дверь его квартиры.

— Милости просим, войдите, сударь! — сказал Геллерт.

— Честь имею рекомендоваться, — сказал вошедший: — имя мое Квин-

тус Ицилиус; мне очень приятно познакомиться с человеком, столь славным в литературном мире. Впрочем, я пришел к вам не от себя, а по приказанию его величества, короля прусского, который желает вас видеть и приказал мне проводить вас к нему.

Геллерт извинялся своим нездоровьем, но согласился следовать за майором Квинтусом, который ввел его в кабинет его величества, где и произошел между королем и этими двумя писателями следующий разговор:

Король. Вы профессор Геллерт?

Геллерт. Точно так, ваше величество!

Король. Английский посланник говорил мне о вас как о человеке высоких достоинств. Откуда вы родом?

Геллерт. Из Генихена, что близ Фрейберга.

Король. Какая причина, что у нас нет хороших немецких писателей?

Майор Квинтус. Пред лицом вашего величества стоит превосходный немецкий писатель, сочинения которого французы почли достойными перевода и которого называют они германским Лафонтеном.

Король. Это, г. Геллерт, конечно, служит сильным доказательством ваших достоинств. Скажите, читали вы Лафонтена?

Геллерт. Читал, государь, но не подражал ему. Я стараюсь быть оригинальным в своем роде.

Король. И прекрасно делаете. Но скажите, какая причина тому, что у нас в Германии немного писателей таких хороших, как вы?

Геллерт. Ваше величество, кажется, предубеждены против немцев.

Король. Нимало.

Геллерт. Или, по крайней мере, против немецких писателей.

Король. Это быть может; в самом деле, я невысокого мнения о них. Отчего происходит, что у нас нет хороших историков?

Геллерт. У нас есть, государь, несколько хороших историков, — между прочим, Крамер, продолжатель Боссюэта, и ученый Масков.

Король. Немец продолжал «Всемирную историю» Боссюэта! Возможно ли?

Геллерт. Не только продолжал, но и совершил это трудное дело с величайшим успехом. Один из знаменитейших профессоров в областях вашего величества провозгласил это продолжение равняющимся боссюэтовской истории по красноречию и превосходящим ее по точности.

Король. Отчего же происходит, что у нас нет хорошего перевода Тацита на немецкий язык?

Геллерт. Этот автор чрезвычайно труден для перевода, и французские переводы, какие ныне существуют, совершенно лишены всякого достоинства.

Король. С этим я согласен.

Геллерт. Много есть различных причин, препятствовавших доселе немцам сделаться знаменитыми в различных отраслях литературы. Когда науки и искусства процветали между греками, римляне занимались только губительным искусством войны. Не можем ли мы считать настоящего времени воинским веком Германии? Не могу ли также я прибавить, что наши соотечественники не были одушевляемы такими покровителями наук, как Август и Людовик XIV?

Король. Да ведь у нас в Саксонии было целых два Августа\*.

Геллерт. Правда, государь, и потому в нашей стране явились хорошие начатки.

Король. Каким образом можете вы ожидать Августа в Германии, столь раздробленной?

Геллерт. Я сказал не в том смысле, государь: я желаю только, чтобы каждый государь ободрял в своих областях людей с истинным талантом.

\* То есть Август III, тогда царствовавший, и Август II, бывший его предшественником.

Король. Вы никогда не выезжали из Саксонии?

Геллерт. Однажды я был в Берлине.

Король. Вам нужно бы путешествовать.

Геллерт. Государь, я не имею никакой склонности к путешествиям; а если бы и имел, мои обстоятельства не позволили бы мне путешествовать.

Король. Скажите, какой болезнью вы страдаете? Я предполагаю, болезнью ученых?

Геллерт. Назову ее так, когда вашему величеству угодно почтить меня этим именем, которого, без величайшего тщеславия, не мог бы я дать сам себе.

Король. Я, подобно вам, страдал этою болезнью и, кажется, могу излечить вас: делайте только моцион, ездите гулять верхом каждый день и раз в неделю принимайте ревеню.

Геллерт. Это лекарство, государь, могло бы для меня быть хуже самой болезни: если моя лошадь была бы здоровее и бодрее меня, я не смел бы сесть на нее; а если она хуже меня, немного пользы было бы мне от прогулки верхом на ней.

Король. Ну, так ездите гулять в экипаже.

Геллерт. Я не так богат, чтоб иметь на то средства.

Король. А, вот этим-то обстоятельством обыкновенно и болны немецкие литераторы. Правда, худые ныне времена.

Геллерт. Худые, ваше величество! Но если бы благость вашего величества дала мир Германии...

Король. Да разве от меня это зависит? Разве вы не слышали, что против меня соединились три державы?

Геллерт. Знания мои, государь, преимущественно заключаются в древней истории; новую изучал я гораздо менее.

Король. Из эпических поэтов кого вы предпочитаете — Гомера или Виргилия?

Геллерт. Без сомнения, Гомер, как оригинальный гений, заслуживает предпочтения.

Король. Но Виргилий, однако же, писатель более изящный.

Геллерт. Мы живем во времена, слишком отдаленные от гомеровых, и не можем составить себе определенного суждения о языке и нравах того древнего периода: потому я полагаюсь на суждение Квинтиллиана, который отдает преимущество Гомеру.

Король. Но мы, однако же, не должны с рабским подобострастием подчиняться суждениям древних.

Геллерт. Я и не подчиняюсь им слепо. Я только принимаю их мнения, когда древность одевает предмет таким туманом, который не дает мне различить его черты и, следовательно, отнимает возможность собственного суждения.

Король. Вы, как я слышал, написали басни, замечательные по изяществу и остроумию. Можете вы прочесть мне одну из них?

Геллерт. Не умею вам сказать, государь, могу ли: память моя далеко не хороша.

Король. Постарайтесь; я пока пройду по комнате и дам вам время собраться с мыслями... *(Через несколько минут.)* Можете теперь исполнить мое желание?

Геллерт. Могу, государь!

«Афинский живописец, занимавшийся своим искусством более из желания славы, нежели из любви к прибытку, спросил у знатока живописи мнения о своей картине, представлявшей бога Марса. Знаток не скрыл от него, что находит картину неудовлетворительною. Живописец защищал свое произведение. Критик отвечал на его возражения, но не мог убедить его. В это время подходит невежда, бросает взгляд на картину и, не подумав ни минуты, с восторгом восклицает: «Боже! какое мастерское произведение! Марс живой дышит на этом полотне! Какие прекрасные ноги! Какой вкус, какое величие в этом шлеме, в этом щите, во всем вооружении ужасного бога!» Живописец

покраснел, взглянул на знатока с видом смущения, признания в своих ошибках и сказал: «Теперь я убедился, что ваше суждение основательно». Невежда удался, и живописец истребил свою картину».

Король. Какой же смысл в этой басне?

Геллерт. Нравоучение таково: «Когда сочинения писателя не удовлетворяют вкусу хорошего судьи, это дает сильное основание думать о них неблагоприятно; но когда они бывают превозносимы глупцом, не колеблясь должно бросить их в огонь».

Король. Прекрасно, г. Геллерт! Стихотворение ваше превосходно, и в изобретении басни есть какое-то изящество. Я понимаю красоту и достоинство этого произведения. Но когда Готтшед читал мне перевод «Ифигении», у меня перед глазами был французский оригинал, и я не понял ни слова из того, что он читал. Если я останусь здесь дольше, вы почаще приходите ко мне и читайте мне ваши басни.

Геллерт. Не знаю, государь, должен ли я отважиться на чтение: я привык говорить нараспев, как говорят у нас в горах.

Король. Ну да, по силезскому акценту. Нет, все-таки вы должны читать ваши басни: иначе они много потеряют. Навестите же меня еще, и поскорее.

Когда г. Геллерт ушел, король сказал:

— Это совершенно не такой человек, как Готтшед. А на следующий день, за столом, он сказал, что «из всех ученых немцев Геллерт самый умный и рассудительный».

Весь тон рассказа свидетельствует, что он написан без всякой иронической цели. Хроника, в которой он помещен, хочет показать, что король Фридрих II умел ценить таланты; а между тем, какую горькою насмешкою над Геллертом кажется этот анекдот! Как пошло и глупо каждое его слово, как тупы его понятия о литературе! — Отчего она в незавидном положении? спрашивает Фридрих, — «оттого, что у нас нет Августов и меценатов», очень добродушно отвечает Геллерт, не зная, что именно меценатство с одной стороны, подобострастие с другой губят литературу. Отчего вы бледны? спрашивает король. — Оттого, что все сижу в своем кабинете за книгою, отвечает Геллерт, как истинный Вагнер, не имея даже предчувствия о том, что поэту быть в кругу людей полезнее, нежели читать Буало, Готтшеда и Бодмера. И как робеет этот бедняк! Он запинается, он теряется; ему нужно дать время образумиться, чтобы он мог припомнить какую-нибудь из своих басен. И какую же басню выбирает он для чтения перед Фридрихом — полководцем, законодателем, человеком жизни и деятельности? Басню, заключающую наставление для жалких Вагнеров, подобных самому баснописцу! Видно, что никак не может он выйти из узкого круга пустых вопросов о гладкости слога и литературных красотах, о критике и антикритике, видно, что жизнь и мир для него ограничиваются сочинением стишков и получением заслуженных похвал от Готтшеда или Бодмера, да милостивого покровительства от Брюля за благонамеренность стремлений и красоту слога!

В таком жалком состоянии находилась немецкая литература около половины XVIII века. Она совершенно оправдывала со-

бою известную аксиому, что литература есть выражение общества. Германия находилась в нравственной зависимости от чужеземцев, литература ее была рабским подражанием английской и французской литературам; нравственное единство народа, вследствие продолжительного политического раздробления, было утрачено — немецкая литература также утратила свое единство: Лейпциг был центром саксонской школы, Цюрих — швейцарской, в Берлине была своя школа, в Гамбурге своя, в Кенигсберге своя; направление, которому будет следовать писатель, определялось не столько влечением его таланта, сколько принадлежностью его к той или другой области: саксонец делался последователем Готтшеда, южный германец учеником Бодмера, северный германец подражателем Галлера. В жизни немецкого народа господствовали апатия, пустота, — та же самая пустота господствовала и в литературе; подобострастный формализм сковывал жизнь общества, — он же сковывал и литературные таланты; общество было робко, беспрекословно отдавалось в добычу каждому, кто хотел грабить его, — также и литература подчинялась каждому шарлатану с громким голосом, который хотел господствовать в ней.

Неудивительно после этого, что высшие классы общества пренебрегали родною литературою и читали исключительно французские книги: в немецких нашли бы они только повторение того, что гораздо лучше было высказано французскими писателями времен Людовика XIV.

Виновницею жалкого состояния литературы всегда бывает публика: если публика многочисленна и проникнута живыми стремлениями, нет в мире силы, которая могла бы остановить развитие литературы, нет затруднений, которые не были бы побеждены требованиями общества. Степень умственного развития в массе немецкой публики совершенно соответствовала общему состоянию литературы. Педантизм, робость, подобострастие и предрассудки всякого рода владычествовали в обществе. Мы говорили, что оно разделилось на касты, чуждавшиеся одна другой; главною двигательницею жизни в каждой касте было мелочное тщеславие, преклонение перед высшими, презрение к низшим. Религиозное одушевление исчезло после Тридцатилетней войны, но осталась вражда различных христианских вероисповеданий: католики, лютеране, кальвинисты ненавидели друг друга; религиозные и нравственные понятия были суровы и грубы; вообще умственная жизнь была стеснена предрассудками и предубеждениями.

Наука, которая должна была бы противодействовать этим неблагоприятным для народного развития отношениям и вести нацию вперед, при распространившейся привычке к педантизму и формализму, получила такой вид, что сама служила одним из главнейших препятствий прогрессу умственной и общественной

жизни. Университеты и школы, вообще говоря, не просвещали, а только еще более затуманивали умы. Все науки преподавались с кафедр и разрабатывались в кабинетах, в самой сухой и мертвой форме. Ученый обыкновенно был педантом и формалистом, слепо верившим тому, чему научился от своего бывшего наставника; он без всякой критики компилировал факты, не отыскивая в них смысла, заботясь только о систематичности и внешней ученой форме. Мертвый догматизм властвовал во всех отраслях науки, от философии до изучения древних языков, от законоведения до теории словесности. Параграфы, аксиомы, теоремы, леммы, королларии, подразделения заставляли забывать о живом содержании в нравственных и юридических науках, которые излагались с такою же сухостью, как алгебра или геометрия. В истории больше всего занимались хронологическими и генеалогическими таблицами и мелочными подробностями, не обращая внимания на смысл фактов и связь событий; в законоведении господствовал взгляд совершенно отвлеченный и односторонний, так что применение его к жизни было страшным бедствием для всего народонаселения: юристы были истинными мучителями для Германии; в богословии сохранились понятия, свойственные средним векам, и самый протестантизм стал неподвижен и безжизнен если не больше, то не меньше католицизма. Книги вообще писались так сухо и тяжело, что только записные ученые решались читать их. Еще в 1765 году Зульцер говорил:

«Книги остаются исключительно в руках одних профессоров, студентов и журналистов, и мне кажется, что писать для настоящего поколения — дело, едва ли стоящее труда. Если в Германии существует читающая публика вне круга людей, по ремеслу своему обязанных обращаться с книгами, то я должен признаться в своем невежестве — я не знаю о существовании такой публики. Я вижу за книгами только студентов, кандидатов, там и сям одинокого профессора, изредка проповедника. Общество, в котором эти читатели составляют незаметную — действительно, совершенно незаметную — частицу, не имеет и понятия, что такое литература, философия, что такое разумно нравственные убеждения и вкус».

Картина, составляющаяся из фактов, нами исчисленных, очень мрачна; но никто из знакомых с политическим и умственным состоянием Германии в половине прошлого века не скажет, чтобы можно было представлять себе это состояние в ином свете.

«Гнуснейшее варварство» (*die hässlichste Barbarei*) — вот выражение, которым характеризует положение своего отечества около 1750 года Гервинус; а Гервинус принадлежит к числу людей очень умеренных, даже слишком умеренных в своем образе мыслей: он патриот, иногда даже слишком пристрастный к родной стране.

Но пришло время, когда ни один из европейских народов не мог оставаться в закоснелости своих недостатков и предубеждений, когда каждая нация почувствовала потребность новой, лучшей жизни, — и Германия пробудилась из своей нелепой и тяжелой летаргии.

Свежим воздухом веяло на нее из Франции, из Англии, — лучи нового света стремились на нее из этих стран, опередивших ее в XVII веке. Крепок был сон, долго медлила Германия пробудиться от него; густ был мрак, тяготевший над нею, но свет так восторжествовал над мраком, и открылись, наконец, глаза, отягощенные мертвою дремотою.

Мы видели, что подражание французам в жизни, подражание французам и англичанам в литературе не имело для Германии никаких следствий, кроме дурных, — это потому, что подражание всегда бывает внешним формализмом, убивающим дух, а подражателями бывают только люди ограниченные, лишенные мысли, лишенные собственного содержания. Но кроме внешнего формалистического влияния одного народа на другой есть другое влияние, живое и плодотворное, состоящее в том, что успехи народа, стоящего на высшей степени развития, служат предметом размышления для живых людей другого народа, отставшего на пути развития. Эти люди, занятые мыслью о средствах помочь своему народу, находят в жизни других наций примеры, которыми облегчаются их собственные соображения, находят факты, которыми пользуются они как доказательствами для убеждения массы в необходимости и возможности улучшений, требуемых положением нации. Все народы, двигаясь вперед при помощи успехов, совершенных более счастливыми их собратьями, всегда сначала подчинялись формалистическому влиянию, потому что форма понятнее содержания для неразвитого человека; но потом, когда умственные сношения становились теснее, благодаря формалистическому сближению, начиналась возможность вдумываться и в содержание цивилизованной жизни, формы которой были уже известны. Тогда иноземное влияние переставало быть противоположно народной жизни, — напротив, при помощи уроков и истин, выработанных жизнью собратий, народная жизнь быстро развивалась, — развивалась сообразно собственным потребностям и условиям, то есть вполне самостоятельно, так что исчезал всякий след умственной зависимости от других народов именно в то время, когда сближение с ними начинало приносить обильнейшие плоды.

Так было и с немецким народом. Англия и Франция во всех отношениях стояли выше Германии в конце XVII века. Влияние их на Германию было неизбежно. Оно отразилось во всех сферах жизни, сначала чисто формалистическим образом, — и на первый раз следствия сближения казались неблагоприятными

для Германии: мы видели, как сначала были развращены французским влиянием высшие классы, как обесмыслена была литература подражанием французской и английской. Но это было только неизбежное временное зло, предшествующее прочному благу и несущее в себе семена его. Да и само по себе это было злом только по сравнению с идеалом народной жизни в будущем, а вовсе не по сравнению с предшествующим ее состоянием. Какова бы ни была подражательная немецкая литература, все ж это была литература, принадлежащая периоду цивилизации, какой прежде не имела Германия. Каковы бы ни были пороки и злоупотребления, введенные в государственную жизнь подражанием французскому двору, бедствия, от них происходившие, были ничтожны в сравнении с тем злом, которое происходило от учреждений и обычаев, развитых самою германскою жизнью: корнем зла был произвол с одной стороны, подострастие и апатия с другой; а эти отношения не были занесены из Франции: они выросли на немецкой почве.

Рано появились в Германии мыслящие люди, которые, не останавливаясь на временном зле, какое может приносить сближение малообразованного народа с более образованным, всеми силами старались о сближении немцев с французами, — не для одного заимствования внешних форм, но для развития немецкой образованности. Замечательнейшим из таких людей был истинно великий деятель немецкого просвещения, Христиан Томазиус (в конце XVII и начале XVIII века), — Томазиус, о котором Шлецер говорил, что он принес человечеству более пользы, нежели все греческие философы и поэты. Здесь не место подробно говорить о всей неутомимой деятельности этого благодетеля своей родины, не место излагать историю его борьбы против юридических предрассудков и беззаконий (Христиан Томазиус был профессором законоведения сначала в Лейпцигском университете, потом, когда защитники грубого невежества и педантизма заставили его удалиться из Лейпцига, он получил кафедру в Галле, где уже пользовался сильным влиянием), не место здесь говорить о борьбе его против варварского законодательства, против пыток и жестоких наказаний, не место рассказывать, как он успел доказать, что нелепо верить в ведьм и жечь бедных старух: мы здесь должны обратить внимание только на одну сторону его деятельности, касавшуюся общего образования немецкого народа.

В то время, как Томазиус получил кафедру в Лейпциге, все науки преподавались на латинском языке; немецкий язык был презираем учеными. Томазиус жестоко нападал на жалкую школьную латынь и советовал немцам то время, которое пропадает у них в сочинении латинских гекзаметров, употребить на изучение французского языка и литературы и по примеру французов полюбить свой родной язык. Он доказывал, что от при-

вычки писать все учебные и ученые книги, не только по специальным наукам или богословию, но даже по физике, естественной истории, географии, и от обыкновения, по которому во всех школах все предметы преподавались на латинском языке, масса публики лишается всяких средств к образованию. Да и самые науки, уединясь от жизни, сделавшись исключительным достоянием записных ученых, приняли совершенно педантическую форму, забыли о всяком соотношении с жизнью и требованиями здравого рассудка. В 1688 году смелый противник школьной латыни изумил всех, объявив, что будет на немецком языке читать лекции о том, как по примеру французов можно сблизить науку с жизнью. Это привело в ужас всю тьмочисленную толпу почтенных педантов: тысячи голосов поднялись против дерзкого латынеотступника; но Томазиус одержал победу, хотя не скоро: лет через двадцать или двадцать пять в Лейпцигском университете уже многие профессора читали лекции по-немецки. Крики противников не устроили Томазиуса: он только увидел необходимость сделать судьбою в вопросе о доступности науки для публики всю публику, а не одних педантов, которые единодушно восстали на него: в том же году (1688) Томазиус начал издавать учено-критический журнал на немецком языке — дело неслыханное до того времени. Из самого заглавия, хитросплетенного на латинский лад, мы можем судить о достоинстве немецкого слога в этом журнале: он назывался сначала «Забавные и серьезные, разумные и простодушные мысли о всякого рода полезных книгах и вопросах», а потом: «Вольные, веселые и серьезные, но рассудительные и законосообразные мысли, или ежемесячные разговоры обо всем, преимущественно же о новых книгах» \*. Но дело не в том, каковы показались бы наивные статьи этого журнала нынешнему читателю: дело в том, что это был первый журнал, издававшийся на родном языке, доступный каждому немцу, а не одним школьным латинистам. Надобно прибавить, что по характеру своему он разнился от бесчисленных тогдашних латинских журналов, как небо от земли: в латинских журналах господствовал мрак педантизма, проповедывались все дубовые предрассудки, укоренившиеся в одичавших за пустыми прениями головах, — в журнале Томазиуса слышался голос здравомыслящего человека, думающего не о том, чтобы затуманить читателям глаза мелочным гелертерством, а о том, чтобы прояснить их понятия, сделать их также людьми здравомыслящими.

Философия и тогда, как в средние века, продолжала в Германии быть основною наукою всех наук. Томазиус хотел изда-

\* Scherz- und ernsthafte, vernünftige und einfältige Gedanken über allerhand nützliche Bücher und Fragen. Позднее: Freimüthige, lustige und ernsthafte, jedoch Vernunft- und Gesetzmässige Gedanken oder Monatsgespräche über allerhand, vornehmlich über neue Bücher.

гать ее на немецком языке; но это намерение показалось ученому люду столь дерзким и опасным, что немецкое руководство Томазиуса к философии не было разрешено к печатанию, как оскорбительное для достоинства науки. Только через много лет, в Галле, где Томазиус успел приобрести себе несколько приверженцев, удалось ему издать эту книгу.

Каковы были в то время люди, которых Томазиус хотел из латинских схоластиков сделать немецкими писателями, показывает уж то одно обстоятельство, что этот знаменитый юрист должен был читать лекции о немецком слоге, заставляя своих слушателей подавать ему маленькие упражнения в немецком языке, поправлять слог этих упражнений, даже заставляя молодых людей читать перед собою вслух по-немецки, — словом, делать то самое, что делают ныне учителя грамматики в приходских училищах.

Он постоянно указывал своим слушателям и читателям на французов, объясняя, до какой степени этот народ выше немцев по своему умственному развитию и гуманности своих обычаев. Самая мысль о необходимости писать для немцев по-немецки, а не по-латыни, была утверждена в Томазиусе примером французов. Он настоятельно требовал, чтобы его слушатели учились французскому языку, читали французские книги: вы тогда научитесь презирать мертвое педанство, — говорил он, — нравы наши смягчатся, сближение с французской образованностью разовьет ваш ум.

Немцы не были еще в то время приготовлены вполне воспользоваться этою частью его наставлений: французское влияние на массу долго еще ограничивалось чисто формальным подражанием. Но и тогда уже являлись отдельные личности, развитию которых французская литература приносила существенную пользу; число таких личностей с течением времени увеличивалось, они оказывали полезное влияние на окружающую их среду. Наконец на прусском престоле явился ученик новой французской литературы и справедливо был назван великим, не за одну свою гениальность, но и за те блага, которыми наслаждались под его правлением его подданные, за свою заботливость о народном благе, за свои возвышенные понятия об обязанностях правителя<sup>12</sup>.

Но другая цель, к которой стремился Томазиус, была им достигнута вполне: он успел убедить своих современников в необходимости заменить педантскую латынь понятным для народа родным языком. По примеру его «Ежемесячных разговоров» возникло множество немецких журналов; скоро историки, юристы, потом и философы, стали предпочитать немецкий язык латинскому в своих сочинениях; число профессоров, читавших лекции по-немецки, быстро увеличивалось; в гимназиях преподавание на немецком языке распространилось еще быстрее.

Сближение с образованнейшими странами, Францией, Англией, Голландией, не было еще так тесно, чтобы оказывать прямое благотворное влияние на всю массу общества. Но являлись уже между специальными учеными люди, стоявшие в уровень с требованиями века. Правда, число их было очень незначительно, они оставались еще редкими исключениями из общего правила, — но все-таки явление их доказывало возможность немцу быть человеком, стоящим наравне с образованными людьми народов, опередивших в развитии его нацию. Являлись даже великие ученые, двигавшие науку вперед, между тем как прежде педанты тратили свое время на бесплодные схоластические прения. Первым из этих людей был Лейбниц. Современником Лессинга был Винкельман, несколько старше его был Гейне, обновивший изучение древних языков, сделавший классическую филологию наукою о древнем мире, из науки, руководившей единственно к педантической болтовне на искаженном латинском языке. Шпальдинг, Землер, Михаэлис, трудами которых началась новая эпоха в протестантской теологии, были современники Лессинга. Реймарус был несколько старше его. Шлецер, знаменитый в истории немецкого просвещения не менее, нежели в русской историографии, был несколько моложе Лессинга. Его имя у нас достаточно знакомо, и мы скажем только, что журнал, который этот благородный и бесстрашный человек стал, по возвращении из России, издавать в Германии, был грозою всех беззаконников, терзавших Германию. Но мы должны остановиться на другом писателе, современном Лессингу, Мозере, имя которого у нас мало известно, хотя в старину было у нас переведено его знаменитое сочинение «Владыка и служитель». Подобно Шлецеру, он имел сильное влияние на пробуждение немецкой публики из ее вековой апатии, и его имя не должно быть опускаемо, когда говорится о возрождении Германии.

По своему слогу и вообще по всему характеру изложения Мозер принадлежит к писателям прежней эпохи: он оставался чужд близких литературных сношений с Лессингом и его сподвижниками, и, говоря о деятельности Лессинга, мы не будем иметь случая упоминать о нем. Потому скажем о нем несколько слов здесь. Мозер писал устарелым и дурным слогом, потому указываем на старинный русский перевод знаменитейшей из его книг «Владыка и служитель», чтобы познакомить с характером его сочинений читателей, не имевших случая познакомиться с ними в подлиннике. Перевод этот, изданный в 1766 году, посвящен императрице Екатерине II. Русский слог почтенного переводчика до некоторой степени соответствует немецкому слогу автора. Содержание сочинения писателя новой школы уже и в то время находили не совершенно удовлетворительным: средства, которыми Мозер хочет помочь описываемым злоупотреб-

лениям — советы и нравственные сентенции — считали они недостаточными, или, лучше сказать, совершенно бессильными; немецкие историки литературы находят, что и критическая часть книги написана очень робко, намеки на порядок дел в том или другом немецком владении слишком общи и темны. Но в свое время она, подобно другим сочинениям Мозера, принесла пользу развитию той части пубрики, для которой слишком высоки были сочинения, написанные лучшим языком. Мозер не удовлетворял людей образованных, но для людей, не более как только знавших грамоте, он был хорошим писателем.

В собственно так называемой литературе около половины XVIII века также начали являться писатели — поэты и критики — нового направления, с дельными понятиями о литературе, с живым содержанием, — сюда относятся особенно Вейссе, Рамлер, Николаи, Клейст. Все они были или сподвижниками, или учениками Лессинга, и мы часто будем встречать их имена в его биографии и тогда ближе познакомимся с их направлением и силами.

Все эти явления показывают, что преобразование и оживление немецкой литературы было неизбежно. Сближение немцев с образованнейшими нациями было уже так тесно, что следствия знакомства не могли ограничиваться одним пустым формальным подражанием: умственная жизнь должна была подвергнуться решительным переменам; но как и когда произойдет эта реформа, в каких границах и с какою силою совершится она? Это было решено появлением Лессинга.

Ход великих мировых событий неизбежен и неотвратим, как течение великой реки: никакая скала, никакая пропасть не удержит ее, не говоря уже о плотинах произвольно устроиваемых: плотиною ничья сила не пересыплет Рейна или Волги, и всесильная река одним напором выбросит на берег все свай и весь мусор, которым дерзкая рука безумца хотела преградить ее течение; единственным результатом безрассудной попытки будет только то, что берег, который спокойно напоялся бы рекою и зеленел роскошным лугом, будет на время истерзан и обезображен гневом оскорбленной волны, — а река пойдет-таки своим путем, зальет все пропасти, прорвет хребты гор и достигнет океана, к которому стремится. Совершение великих мировых событий не зависит ни от чьей воли, ни от какой личности. Они совершаются по закону столько же непреложному, как закон тяготения или органического возрастания. Но скорее или медленнее совершается мировое событие, тем или другим способом совершится оно — это зависит от обстоятельств, которых нельзя предвидеть и определить наперед. Важнейшее из этих обстоятельств — появление сильных личностей, которые характером своей деятельности дают тот или другой характер неизменному направлению событий, ускоряют или замедляют его ход

и сообщают свою преобладающею силою правильность хаотическому волнению сил, приводящих в движение массы.

Не от появления Лессинга, как мы видели, зависело то, оживится ли, или будет погрязать в прежней мертвой апатии немецкий народ. Великое событие приближалось неотвратимо и неизбежно. Но без него медленно, беспорядочно совершалось бы то, что при его помощи совершилось быстро, решительно и гармонически. Не было силы в мире, которая могла бы ослепить и оглушить немцев так, чтобы они не видели того, что делается, не слышали того, что говорится в Англии, Франции, Голландии. Не было силы в мире, которая могла бы удержать их от сближения с более образованными и более счастливыми нациями; не было силы в мире, которая могла бы уничтожить необходимость решительного изменения в жизни немецкого народа, когда он довольно познакомился с новым и лучшим порядком жизни у других наций. Роковое событие не зависело от присутствия или отсутствия личности Лессинга.

Но каким путем, какою силою совершится оно? Силою ли военных событий, законодательных и административных мер, силою ли чистой науки или влиянием литературы? Фридрих Великий, мудрый правитель, гениальный полководец, сидел на престоле одного из сильнейших немецких государств; через несколько времени главою империи явился один из благороднейших и благонамереннейших людей в истории, человек, единственною мыслью которого было благо подвластных ему народов, государь, какого не видела земля, быть может, со времен Марка Аврелия. Казалось, возрождение нации должно совершиться через этих государей, путем завоевания и административных реформ при Фридрихе, путем законодательных реформ при Иосифе II — и, однако же, оно не совершилось этими путями, — почему не совершилось ими, не место здесь говорить о том, — быть может, потому, что в новой истории вообще оказываются бессильными те личности, которые, слишком полагаясь на свою силу, не ищут помощи своему начинанию в самостоятельной деятельности всей массы народа. Оставалось для возрождения два пути: путь науки и путь литературы. Наука начала совершать свое дело, но она действует медленно; несколько поколений должны были бы смениться, пока чистое знание проникло бы в жизнь.

Ускорится ли совершение этого дела вмешательством литературы, этой быстрой посредницы между знанием и жизнью? Тут уже все зависело от того, явятся ли в литературе гениальные деятели, которые верно и сильною рукою поведут и направят литературу к исполнению великого дела, совершение которого предоставлялось ей бессилием военных, законодательных и административных попыток возрождения.

Явился в Германии поэт с великим талантом — Клопшток.

Всему благородному, повидимому, сочувствовал он, всего великого и прекрасного хотел он; но — вина ли то воспитания, вина ли суетных забот о собственном бессмертии, вина ли его болезненной организации, вина ли его рассудка, не довольно пронизательного и светлого — он, снискав чистую и громкую славу своему имени, не мог ничего сделать для своего народа. Перед ним все преклонились; но только немногие читали его, и из читавших никто ничему не научился от него, или, вернее сказать, кто читал его, тот или осуждал его направление, или увлекаясь на ложный путь, впадал в бесплодную сентиментальность, в туманные грезы, и делался человеком, чуждым жизни, вредным в жизни. Мы встретимся в биографии Лессинга с Клопштоком и его последователями, или союзниками, и там найдем доказательства этому печальному суждению. Итак, от Клопштока немецкий народ не мог ожидать ничего, кроме суетного удовольствия считать у себя одною знаменитостью больше.

Оставались люди, бывшие впоследствии очень полезными, как сотрудники Лессинга; но мы увидим, что это были люди второстепенных дарований, с хорошими стремлениями, но без ясного сознания, как и что нужно делать, — люди с хорошими убеждениями, но без верного такта, без твердого и последовательного образа мыслей, — люди, которых деятельность, во всяком случае, была бы не бесполезна, но которые не имели силы совершить ничего великого, и содействовать совершению чего-нибудь важного могли только под руководством гениального человека, который указывал бы им дорогу, соединял бы и направлял их усилия.

Кроме Лессинга не было в немецкой литературе человека, который мог бы дать ей решительное и плодотворное влияние на судьбу немецкого народа. Будет или не будет немецкая литература сильнейшею двигательною народной жизни, ускорится ли ее вмешательством развитие народа, или предоставлено будет только медленному действию чистой науки — разрешение этого вопроса совершенно зависело от того, будет ли между немецкими литераторами Лессинг, то есть будет ли гениальный человек, который верно поймет положение и потребности своего народа, постигнет всю важность, которую должна иметь литература для его жизни, твердо и решительно укажет литературе, что и как должна она делать, который, руководя деятельностью других, сам гениальными произведениями доставит литературе преобладающую важность между предметами, возбуждающими интерес в своем народе, сделает литературу средоточием национальной жизни.

В совершении этого дела величие Лессинга.

Он доставил немецкой литературе силу быть средоточием народной жизни и указал ей прямой путь, он ускорил тем развитие своего народа.

Это определение границ исторического значения Лессинга необходимо для того, чтобы предохранить себя от безграничного превознесения его: в самом деле, личность этого человека так благородна, величественна и вместе так симпатична и прекрасна, деятельность его так чиста и сильна, влияние его так громадно, что чем более всматриваешься в черты этого человека, тем сильнее и сильнее проникаешься безусловным уважением и любовью к нему. Гениальный ум, благороднейший характер, твердость воли, пылкость и нежность души, сердце, открытое сочувствию ко всему, что прекрасно в мире, сильные, но чистые страсти, жизнь без тени порока или упрека, полная борьбы и деятельности, — все, чем может быть прекрасен и велик человек, соединялось в нем.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Семейство Лессинга. — Происхождение его рода. — Детство Лессинга. — Мейсенская школа. — Поздравительная речь отцу. — Лейпцигский университет. — Неаккуратность Лессинга в посещении лекций. — Дружба с Милиусом. — Первые литературные произведения. — Страсть к театру. — Лессинг пишет для сцены. — Неудовольствие родных. — Возвращение в Каменец. — Переселение в Берлин \*.

1729—1752

В Верхне-Лужицком округе Саксонского курфиршества, в небольшом городке Каменце, должность первенствующего пастора (*pastor primarius*) занимал во второй четверти прошедшего столетия Иоганн-Готтфрид Лессинг, человек, пользовавшийся приятнью многих знаменитых богословов того времени за свои теологические труды, общим уважением за непоколебимую честность своих правил, любовью каменецких бедняков за свою благотворительность. Место первенствующего пастора получил он как бы по наследству, после тестя своего Феллера, с дочерью которого, Юстиною Саломиею, жил он долго, тихо и счастливо. Бог благословил этот брак: у Готтфрида и Юстины Лессинг было две дочери и десятеро сыновей. Из сыновей, старший, Готтгольд-Эфраим, родившийся 22 января 1729 года, прославил имя Лессингов, много и честно послужив своими великими талантами на благо своего народа.

Фамилия «Лессинг» имеет немецкое окончание, но не объясняется немецким языком; напротив, каждому славянину легко

---

\* Биография Готтгольда-Эфраима Лессинга написана его братом Карлом Лессингом. Везде, где то возможно, мы следуем этому безыскусственному рассказу и очень часто переводим его буквально. Новейшая и очень полная биография Лессинга начата Данцелем и, по смерти его, докончена Гурауэром (*G. E. Lessing, von Th. W. Danzel. I Band. 1850. — II-ter Bd. von G. E. Guhrauer. 1854*). Относительно взгляда на характер и произведения Лессинга мы почти постоянно следуем суждениям Шлоссера.

увидеть корень ее в общеславянском слове «лес». Город Каменец, родина Лессинга, хотя имел уже тогда немецкую физиономию, носит чисто славянское имя и лежит ныне на границе земли, населяемой остатками многочисленного в древности племени лужицких славян. Число их и объем земли лужицкого наречия постепенно уменьшались до последнего времени, и сто лет тому назад Каменец, вероятно, со всех сторон был еще окружен населением, говорившим по-славянски: все эти данные возбудили в западных славянских ученых решимость назвать Лессинга нашим соплеменником. Не мешает вероятности этого притязания ни немецкое окончание фамилии — «Лессинг» легко может быть сочтено только изменением слова «лесник», по обычаю немецкого выговора — ни тот факт, что в лужицком Каменце поселился только дед Эфраима, Теофил, а предки его жили в других сторонах Саксонии, — именно первый из Лессингов, имя которого сохранилось в актах, Клеменс (Климент) Лессинг был пастором в одном из приходов Хемницкого округа в Саксонском курфюршестве, — это не мешает вероятности славянского происхождения фамилии Лессингов: все саксонские земли были первоначально населены славянами. Но с того времени, как известна эта фамилия по актам, с 1580 года, когда Клеменс Лессинг подписал, в числе других пасторов, лютеранский символ, Лессинги являются уже чистыми немцами, и немцу Готтгольду-Эфраиму славянская национальность была столько же чужда, как француженке Авроре Дюдеван чужда немецкая национальность, хотя предком этой писательницы и был Август, курфирст саксонский.

Из потомков Клеменса Лессинга одни были пасторами, другие купцами в разных маленьких городах или арендаторами. Род великого писателя, как видим, не отличался ни знатностью, ни богатством. Отец Готтгольда-Эфраима был даже человеком положительно бедным. Место первенствующего пастора считалось довольно почетным уездному масштабу, Иоганн-Готтфрид был первым лицом в каменецком обществе (если можно говорить о каменецком обществе), но доходы с этого почетного места оказывались, при всей бережливости родителей, недостаточными для поддержания их многочисленного семейства в благосостоянии. Однакож, несмотря на скудость средств, каменецкий пастор, бывший сам человеком ученым, в молодости даже рассчитывавший сделаться профессором в Виттенбергском университете, непременно хотел, чтоб и дети его были учеными людьми: «он совершенно пожертвовал собою для того, чтобы дать хорошее ученое образование сыновьям (говорит Карл Лессинг), и, чтобы содержать их в училищах и университетах, отказывал себе в удобствах жизни, которыми пользуется беднейший ремесленник. Денег не доставало, и он ограничивал себя во всем, и хотя был темперамента довольно вспыльчивого, но никогда не скучал этими

лишениями, разве-разве когда скажет: нашему брату, пастору, ныне трудно жить, особенно тому, у которого много детей. Он отдавал детям, можно сказать, последний свой грош, и отдавал с готовностью, какой мало найдется примеров на свете». Эту готовность жертвовать всем для детей разделяла и жена его, женщина, не отличавшаяся блестящими качествами, но добрая. Когда Готтгольд-Эфраим перед свадьбою описывал сестре свою невесту, он не нашел ничего лучшего сказать в похвалу ее характера, как то, что она будет, конечно, жить с ним так, как мать его жила с его отцом. Нравы в семействе были чисто патриархальные; один день шел за другим тихо и монотонно.

Воспитание Готтгольда-Эфраима в родительском доме также было патриархальное, в духе строгого лютеранства. Как только ребенок начал лепетать, его уж учили повторять молитвы вслед за старшими. На четвертом году он уже хорошо знал основные догматы лютеранского исповедания, читал библию и лютеров катехизис. Семья каждое утро и каждый вечер собиралась на общую молитву, и мальчик рано выучил наизусть множество духовных гимнов, входящих в состав лютеранского молитвенника.

По семейным преданиям, в нем рано раскрылась страсть к книгам и учению. Говорят, что, когда одному знакомому живописцу вздумалось снять портрет с пятилетнего ребенка и написать его с клеткою в руке, малютка с досадою сказал: «нарисуйте меня с большою, большою кучею книг или вовсе не рисуйте». Живописец согласился, и анекдот о необыкновенной просьбе маленького Эфраима долго был рассказываем его отцом и матерью каждому новому гостю и остался навсегда одним из семейных воспоминаний. Родители также часто рассказывали младшим своим детям, что Готтгольд-Эфраим учился с большою охотою и очень легко все понимал и что самую любимую его забавою было возиться с книгами.

Отец сам учил его; но некоторое время давал ему, кроме того, уроки некто Милнус, с братом которого Лессинг впоследствии очень подружился. Чем больше рос мальчик, тем сильнее обнаруживались в нем дарования и любознательность. Это много-много утешало родителей, говорит его брат: на двенадцатом году они решились отдать его в Мейссенскую княжескую школу, нечто соответствующее тем из наших гимназий, в которых все ученики должны жить в пансионе. В выборе Мейссенской школы отец и мать руководились как хорошею славою этого заведения в ученом отношении, так и необходимостью воспитывать сына на казенном содержании, при недостаточности собственных средств. Но в школу не принимали детей ранее тринадцатилетнего возраста, и потому Лессинг был показан годом старше, нежели сколько было ему на самом деле.

Интересно познакомиться с устройством этой школы, считав-

шейся образцовою, чтобы видеть, в каком состоянии находилось школьное образование в Германии лет сто двадцать тому назад. Это описание как бы переносит нас из XVIII столетия в XVI. Брат Лессинга с обычным своим добродушием смотрит на школу с наивыгоднейшей точки зрения и старается убедить нас, что дело образования велось в ней очень недурно.

«Княжеская школа (говорит он) не была свободна от недостатков, общих училищам того времени. Но где вы найдете училище, в котором не было бы заметно недостатков? Важнее и лучше всего было в ней то, что воспитанники не развлекались заботами о своем содержании; дети знатных и простолюдинов, богатых и бедных пользовались в Мейссенской школе одинаковою пищею, одинаковыми удобствами помещения, уроками одних и тех же воспитателей; сто двадцать юношей беззаботно жили вместе, и скоро между учениками водворялась короткость. В школе ни слуху, ни помину не было о тех рассеяниях, которые так много вреда наносят пылкой и неопытной молодежи в больших городах; в нее не проникали мелочные дразги высшего или низшего общества. В школе занимались Элладою и Лациумом более, нежели Саксониєю; по-латыни говорили лучше, нежели по-французски; молились очень много, но ханжили очень мало. Прилежный, даровитый, добрый ученик был почти всегда ценим своими товарищами, — не всегда учителями, которых, впрочем, никто не обвинял за то в пристрастии. Воспитанники только гордились про себя, что превзошли учителей проникательностью. На первый взгляд казалось, что в Мейссенской школе нельзя было выучиться ничему, кроме латинского и греческого языков; но кто ближе знаком с устройством ее, найдет упрек этот несправедливым. Если латинским и греческим языками занимались слишком много и при объяснении греческих и римских писателей обращали более внимания на слова, чем на мысли, то это была случайность, зависевшая не от правил школы, но от незнания или предубеждения того или другого учителя, который не хотел соединять с словами смысла. Даже философскими и математическими науками занимались в школе серьезно; учили французскому и итальянскому языкам, рисованью, музыке и танцованью. Если и было законом, или, скорее, обычаем, уроки из последних предметов давать только в рекреационные часы, то разве только очень немногие из учителей считали эти предметы пустыми; другие хотели только, чтобы древние языки сохраняли, так сказать, преимущество над французским и над изящными искусствами. В этой монастырской школе Лессинг провел целые пять лет и, как часто говаривал, ей одной был обязан тем, если приобрел какую-нибудь ученость и основательность».

Посмотрим же ближе на эту школу, которая в то время считалась одною из лучших.

Ученики были подчинены друг другу строгим чиноположением \*. В каждом нумере жило четыре воспитанника: один из старшего класса (*primanus*) был комнатным надзирателем за своими товарищами; помощником его в этом деле был другой, из второго класса (*secundanus*); два остальных из младших классов, третьего и четвертого, ни за чем уже не надзирали, а были только предметами надзора. Когда ученики переходили из своих комнат в классные залы, они подчинялись новому чиноположению: на каждой скамье был декурион, наблюдавший за остальными товарищами, сидевшими на этой скамье. Двенадцать первых учеников старшего класса наблюдали за товарищами во время стола и на прогулках, нося титулы столовых и дворовых наблюдателей. Этого не довольно: каждый из учителей поочередно жил неделю в школе, исправляя должность гебдомадария, — недельного надзирателя за всею ученическою иерархией, — и в свой черед доносил обо всем конференции преподавателей, собиравшейся раз в неделю.

Строгое благочестие блюлось порядком школы. На молитву было назначено более трех часов в день, — всего в течение недели 25 часов. Во время обеда один из учеников читал отрывки из Ветхого завета.

Школа имела два отделения: старшее и младшее; каждое отделение делилось на два класса, которые слушали уроки вместе, кроме только «эмендации» — классов, посвященных на исправление латинских и греческих сочинений учеников: тут у каждого класса были свои особенные задачи и лекции. В младшем отделении уроки распределялись таким образом: закон божий 5 часов; латинский 15 часов; греческий 4; французский язык, математика, история и география — по часу или по два, всего 7 часов. В старшем отделении также 5 часов были заняты законом божием, 15 латинским и 4 часа греческим языком; с латинскими уроками соединялись уроки (латинской) реторики и просодии. Три часа занимал еврейский язык, по два часа математика и история, один час география. Таким образом, большая половина времени употреблялась на латинский язык; все остальные предметы, кроме закона божия и греческого языка, считались ничтожными сравнительно с этим главным. В преподавании же латинского языка важнейшим делом считалось не чтение древних писателей, а упражнение в сочинениях на заданные темы, исправлению которых учитель и посвящал большую часть уроков. Только за успехи в латинских сочинениях ученик ценился школьным начальством, — и оно гордилось тем, что из школы выходило много людей, умевших писать латинские стихи. Родной язык был в совершенном пренебрежении: ему, как видим, не было

---

\* Данцель.

дано ни одного часа ни в одном классе школы; чтение немецких книг считалось предосудительным для воспитанников, потому что могло повредить исключительному занятию их латынью.

Полный курс школы обнимал шесть лет, так что в каждом отделении ученики обыкновенно проводили по три года, и если кто из них успевал, переходя каждый семестр из одной декурии в другую, старшую, из одного класса в другой, достичь высшего класса и прослушать весь курс ранее определенных шести лет, то все-таки оставался в школе и продолжал слушать уроки до истечения шестилетнего срока. О том, что эта задержка нимало не нужна ему, никто не заботился: пусть утвердится в хорошем латинском слоге, говорили начальники школы, и родители совершенно соглашались с таким полезным правилом.

Словом сказать, Мейссенская княжеская школа, подобно всем другим немецким школам того времени, была исключительно школою средневекового латинского педантизма. Образ жизни, порядок и дух преподавания, распределение классных занятий, — все в ней сохранилось по образу и подобию средних веков.

Не в натуре Лессинга было удовлетвориться и проникнуться этим направлением: двенадцатилетний мальчик сначала поддался было ему и приобрел любовь учителей, быстро переходил из класса в класс, считался превосходнейшим учеником, — но светлый ум рано развился в нем, он увидел пустоту латинской стилистики, тем более, что скоро постиг все ее мудрости, стал заниматься самостоятельно, пренебрегая латинскими темами, писать которые было ему уже легко, — и тогда начальство стало жалеть о том, что юноша с такими быстрыми способностями губит свое время и погубит себя. «Этому коню нужно задавать двойную порцию корма», говорили начальники: «он уж научился у нас всему, чему может научить наша школа», прибавляли они — и все-таки жалели о том, что он занимается другими предметами, кроме латинского языка, и все-таки настаивали на том, чтоб он досидел на школьной скамье определенный шестилетний термин, хотя все курсы были уже давно пройдены им.

Лессинг поступил в Мейссенскую школу 21 июня 1741 года, и через сто лет, в 1841 году, школа торжествовала юбилей дня, когда вступил в нее ученик, прославивший место своего воспитания, но не успевший, по мнению тогдашних своих наставников, кончить курс, как следует хорошему ученику.

Сначала, однако же, как мы говорили, дело шло хорошо. Во втором классе Лессинг был первым учеником и через полгода, на семнадцатом году, переведен был в следующий, последний класс; но тут — увы! — он решительно начал губить себя во мнении мудрых преподавателей. «Пока Лессинг все свободное время употреблял исключительно на чтение классиков и на сочинение латинских рассуждений и стихов (говорит его брат), он оставался любимцем конректора<sup>13</sup> Гёре, который уважал только филологию

и теологию. Но как скоро этот ученый муж узнал, что Лессинг начал заниматься также новыми языками и математикой, он стал считать его рассеянным юношей, из которого не выйдет проку».

Ученик, переросший голову своих учителей, чувствовал, что ему нечего делать в школе, и настоятельно упрашивал отца позволить ему выйти из школы, говоря, что давно уже он достаточно подготовлен к слушанию университетских лекций; но, по правилу шестигодичного термина, ему оставалось пробыть в школе еще года полтора, и отец медлил согласием. Но тут произошло столкновение, в сущности вздорное, однако же, помогшее Лессингу победить нерешительность отца, хотя и вовсе неприятным для родительского сердца образом.

В школе, как мы уже знаем, было правилом, чтобы каждый из наставников поочередно дежурил неделю в комнатах воспитанников, или, как тогда называли это, был *hebdomadarius*’ом. По воскресеньям \* все наставники собирались для совещания об училищных делах. В эту конференцию призывались лучшие двенадцать учеников, надзиравшие за товарищами, *inspectores*; они отдавали отчет за прошедшую неделю и выслушивали распоряжения на будущую неделю, — это называлось *censura*. В числе *inspectores* был и Лессинг. В одну из таких ценсур ректор спросил, почему ученики на прошедшей неделе, когда *hebdomadarius* был конректор Гёре, поздно приходили на молитву. Все *inspectores* молчали, а Лессинг шепнул на ухо стоявшему подле него товарищу: «Я знаю, почему». Ректор, расслышавший эти слова, приказал Лессингу сказать громко, что ж он знает, Лессинг не хотел говорить, но его заставили, и он сказал: «Г. конректор опаздывает, потому и ученики думают, что незачем приходить рано». Конректор не нашелся ничего возразить и проговорил только: *Admirabler Lessing!*: «дивный Лессинг!» — прозвание, с той поры оставшееся за учеником между его товарищами. Но простить ученику этой улики Гёре не мог: он был глубоко оскорблен, так что, когда через несколько лет привезли в школу одного из младших братьев Лессинга, Гёре, принимая его, сказал: «Ну, с богом, учись прилежно, только не умничай, как брат».

После неожиданной ссоры с начальником Лессинг стал еще настоятельнее просить отца о том, чтобы перейти из школы в университет. Отец, вероятно, видел, что сыну, в самом деле, тяжело оставаться в Мейссене; как бы то ни было, но вскоре, 8 июня 1746 года, Лессингу было, по просьбе отца, разрешено высшим училищным начальством курфиршества выйти из школы слишком годом ранее обыкновенного срока, но с аттестатом об окончании курса.

---

\* Биография, написанная братом Лессинга.

Как любопытный пример того, до какой нелепой крайности доходил тогда в Германии бюрократический порядок, по которому все дела, даже самые пустейшие и ничтожнейшие, производились не иначе, как с разрешения и усмотрения высшей власти, заметим, что дело об увольнении гимназиста из гимназии требовало курфиршеского рескрипта.

«Мы, Фридрих-Август, курфирст и проч.

«Рассмотрев просьбу *pastoris primarii* в Каменце, Иог.-Готтфр. Лессинга (и т. д.), повелеваем (и т. д.), почему и выдать ему (и т. д.)...

«Быть по сему.

«Дано в Дрездене, 8 июня 1746 года».

Наивный Гёре был недоволен пренебрежением Лессинга к латинскому языку; а, между тем, Лессинг, который впоследствии, конечно, вовсе не занимался упражнениями в латинском слоге, всегда писал по-латыни с чрезвычайною легкостью и изяществом, редким даже в те времена великих мужей латинской схоластики. Не говорим уже о том, что темные места латинских классиков, до него не объясненные еще никем, разъяснял он с проникательностью знатока, которого мнения были авторитетом для самого Гейне, величайшего из латинистов XVIII века. Но в последнее время своей мейссенской жизни Лессинг, как мы говорили, занимался не столько латинским языком, сколько другими предметами, и, как по всему заметно, уже в то время приобрел страшную начитанность. О времени, проведенном в школе, он вспоминал всегда с удовольствием, как о счастливейшем времени своей жизни. В самом деле, с выходом из школы начались уже для него суровые испытания нужды и неприятностей всякого рода, — испытания, не покидавшие его до самой смерти.

Но он вспоминал с удовольствием об этом времени только потому, что оно прошло тихо и беззаботно, а не потому, чтобы, в самом деле, обязан был какою-нибудь пользою собственно школьному преподаванию. Он чувствовал, как почти все слишком даровитые люди, что в школе учили его пустякам и понапрасну губили его время; как у многих проникательных людей, у него даже осталось навсегда недоверие к тем людям, успехами и прилежанием которых гордятся учителя: ему казалось, что эти юноши обыкновенно идут по прямому пути к тому, чтобы сделаться тупыми педантами или надутыми верхоглядами. И когда, через несколько лет, отец с восторгом писал ему о том, как хорошо отзывается начальство Мейссенской школы об успехах его младшего брата, Теофила (того самого, которому Гёре давал наставление не умничать, как умничал старший брат), Лессинг почувствовал опасение за дельность головы превозносимого ученика — предчувствие, которое оправдалось впоследствии: прославляемый ученик на всю жизнь остался способен только перелагать клопштовку «Мессиаду» в латинские гекзаметры.

«Мне очень приятно, что вы так довольны успехами Теофила (отвечал Лессинг отцу на радостное известие). Если бы у меня была такая натура, как у него, вы были бы довольны и мною. Он учится прилежно, говорите вы: интересно было бы знать, чему и как он учится. Я, когда еще был в этой школе, уже полагал, что там учат многому такому, что ровно никуда не годится, а теперь вижу это еще яснее прежнего».

Два или три раза возвращается он к этому предмету, намекая отцу, чтобы он советовал Теофилу не так неразборчиво увлекаться всем, что выдается за глубокую мудрость педантами Мейсенской школы.

Самостоятельность суждений очень быстро развилась в Лессинге, как видно по единственному сочинению, которое сохранилось из его школьных упражнений. Это «Речь», посланная им «на новый 1743 год» в поздравление отцу. Она замечательна как раннее свидетельство силы ума и стремления говорить именно о тех вопросах, которыми живо заинтересованы люди, для которых он пишет. Отец с матерью беспрестанно толковали, что ныне худые времена, что чем дальше, тем хуже становится жить на свете, — мысли, очень натуральные у пожилых людей, находящихся в стесненных обстоятельствах. Неправедливы эти мысли, говорит Лессинг в своей речи: на свете не становится хуже, чем было прежде, и доказывает эту мысль учеными и житейскими соображениями. Видно, что целью автора было рассеять предрассудок, наводивший уныние на его родных. Таким образом, четырнадцатилетний мальчик уже обнаруживает в себе направление, которое дало потом такую великую цену его деятельности: его мысль имеет самую близкую связь с интересами людей, для которых он пишет. Он хочет благотворно действовать на их жизнь; он возмущается предрассудками, которые мешают их счастью. Логика и сила выражения в его ученическом сочинении уже такова, что и из зрелых людей многие могли бы позавидовать ей, а сжатость слога уже предсказывает в мальчике будущего мастера\*.

По окончании курса Лессинг возвратился месяца на два в отцовский дом. Теперь надобно было решить, к какому званию

---

\* Вот, для примера, начало этой речи: «Почти все древние поэты и философы, высокопочитаемый батюшка, думали, что мир с году на год становится хуже и распадается в состояние, все более и более далекое от совершенства. Вспомним только, как Гезиод, Платон, Virgilий, Овидий, Сенека, Саллюстий и Страбон писали о четырех веках вселенной, как они самыми живыми красками изображали золотое время Сатурна, серебряное время Юпитера, медный век полубогов и железный век нынешнего человеческого поколения. Трудно указать настоящий источник этого поэтического вымысла, но верно то, что весь этот рассказ, при всей своей благовидности, неоснователен, почти нелеп, — мало сказать: совершенно неправдоподобен» и т. д. Лессинг отвергает его доводами, заимствованными из богословия, философии, естественных наук и т. д., и очень остроумно доказывает противную мысль столь же учеными соображениями.

должен предназначить себя молодой человек, какой факультет ему выбрать, сообразно этому, и в какой университет ехать.

Отец, а особенно мать, желали сначала, чтобы сын шел по богословскому факультету и готовился быть пастором. Но он сам никак не соглашался на то и говорил, что у него и голос вовсе не такой, какой нужен пастору, да и мысли совсем не расположены к этому званию. Отец утешился, рассчитывая, что сын может занять место получше пасторского, если будет в Лейпциге: именно отец надеялся, что ему удастся быть профессором в Геттингенском университете, который только что устроивался и, по предположению старика, мог и через несколько лет еще нуждаться в профессорах. Сыну этот план, повидимому, нравился. Из двух саксонских университетов, Виттенбергского и Лейпцигского, последний представлял ту выгоду, что имел много стипендий для студентов, с успехом кончивших курс в княжеских школах. Решено было, что Лессинг поедет в Лейпциг и будет слушать там лекции по богословскому факультету. 20 сентября 1746 года Лессинг вступил в число студентов Лейпцигского университета и получил стипендию; но тем и кончились, по мнению родных Лессинга, успехи его в университете. Скоро начали доходить до них недобрые известия о сыне. Родительское сердце встревожилось, и в течение нескольких лет все письма Лессинга к родным состоят единственно в том, что он оправдывается, старается доказать, что опасения родителей неосновательны, что он еще не погибший человек, что ему не в чем раскаиваться, — словом, что родители его должны успокоиться за его нравственность и судьбу и не должны осыпать его несправедливыми укоризнами. А, между тем, надобно по правде сказать, слухи, доходившие до родителей, были такого рода, что могли внушать им серьезные опасения: сын их вовсе не хотел быть тем, что называется «хороший студент». Лейпцигский университет считался в то время одним из лучших в Германии; он имел множество знаменитых профессоров: например, философский факультет блистал именами Готтшеда, Криста, Иохера, Винклера, Эрнести. Не менее блистательны были, по тогдашним понятиям, и другие факультеты. Но Лессинг был не такой человек, чтобы ему мог понравиться какой-нибудь немецкий университет того времени. Взглянем поближе на состояние Лейпцигского университета, и мы оправдаем Лессинга за то, что он не был прилежным студентом.

Университет был устроен наподобие какого-нибудь ремесленного цеха\*. Все в нем делалось по заказу, по расчету, не по призыванию. Довольно указать на один обычай. Кафедры каждого факультета распределялись по известному порядку почетности. Профессор такого-то предмета считался старшим, другого — вторым, третьего — третьим по достоинству места и т. д.; когда

\* Данцель.

почетнейшая кафедра становилась вакантною, профессора факультета переменили кафедры, подымаясь ступенью выше по иерархическому порядку, нужды нет, хотя бы через это попадали на кафедру предмета, совершенно чуждого им. Можно вообразить, какой ералаш происходил оттого в их занятиях и каково были многие знакомы с теми науками, лекции о которых читали. Впрочем, потеря для достоинства лекций была оттого незначительна: почти все профессора читали по учебникам, только немногие составляли сами записки, которых буквально держались. В духе преподавания господствовали вообще непроходимый педантизм, формализм и страшная сухость. Словом, направление преподавания было вовсе непривлекательно для юноши с светлою головою, студенты выносили из аудитории понятия, которые могли быть хороши разве для XVI века.

Неудивительно, что лекции очень скоро наскучили такому даровитому юноше, как Лессинг,—юноше с пылким характером, с нетерпеливым желанием углубляться в основные вопросы каждой науки, а не жить чужою головою, как то было принято в тогдашних немецких университетах. Отец, ожидавший, что он будет прилежным слушателем теологических курсов, скоро узнал, что сын вовсе не сообразуется с его желанием. С первого же разу Лессинг оставил богословский факультет и объявил, что хочет посещать курсы медицинских наук. Действительно, богословие в Лейпциге преподавалось в совершенно устаревшем духе Лютера и Меланхтона. Эта отсталая система решительно отталкивала живого юношу, который уже имел настолько начитанности, чтобы чувствовать ее несостоятельность. Но и с медицинскими занятиями дело пошло не лучше, нежели с богословскими: по правде говоря, Лессинг только для формы поступил в медицинский факультет — нужно же было хотя сколько-нибудь успокоить отца относительно своей карьеры и насущного хлеба в будущем. На самом же деле он занимался всем, что только привлекало его внимание, между прочим занимался и медициною, и богословием, но сам по себе, как ему хотелось, а не официальным порядком, и медицинских курсов не посещал точно так же, как и богословских. Шутя он говорил после, что во всю свою жизнь был только на одной медицинской лекции, именно на лекции акушерства, которое почел было интереснейшею отраслью медицинских наук.

Очень мало посещал он и лекции других факультетов, хотя у очень многих профессоров побывал на лекциях, для пробы, по два, по три раза. Почти ни один из профессоров не удовлетворял его. Чаше других посещал он в одно полугодие знаменитого филолога Эрнести, но и у того не выслушал полугодичного курса.

Что ж он думает делать с собою, до такой степени negliжируя университетскими занятиями? Было над чем призадуматься отцу, погоревать матери. Правда, не посещая лекций, сын их самостоятельными занятиями приобрел во сто раз больше знаний,

нежели имели их аккуратнейшие студенты и, быть может, знаменитейшие лейпцигские ученые; но кто же поверил бы, что молодой человек, не посещая лекций, не теряет, а выигрывает время для приобретения глубоких и обширных знаний? Отец и мать не могли быть уверены в его домашних занятиях; они знали наверное только то, что он не посещает лекций.

Мало того, что сын не посещает лекций: до родителей доходили слухи, еще более огорчительные: с какими людьми он знает-ся! — не с профессорами, не с прилежными и добропорядочными юношами, а с бездомными гуляками; задушевнейший приятель и руководитель его — неумытый, небритый Милиус, который ходит в сапогах без подошв, в дырявом платье с голыми локтями, — тот самый Милиус, которого прозвали «вольнодумцем», о котором с негодованием говорит весь Каменец, осмеянный им в наглой сатире, который лично оскорбил в этой сатире двумя едкими стихами самого первенствующего пастора! — и с этим побродягою-пасквильантом сдружился теперь погибающий юноша, слушается его во всем, вероятно, уже выучился у него и смеяться над отцом и кощунствовать над Лютером — это ужасно!

Милиус, вся жизнь которого прошла в борьбе с нищетою и в увлечении излишествами и который умер слишком рано для того, чтобы упрочить себе в науке славу, на которую имел право по своим дарованиям и учености, — этот Милиус был действительно ближайшим из друзей Лессинга в первой поре его деятельности и, как человек, некоторое время имевший на него влияние, заслуживает того, чтобы сказать о нем несколько слов.

Сын бедного пастора из деревни, соседней с Каменцом, в малолетстве оставшийся сиротой, Милиус был дальний родственник семейству Лессингов. Вероятно, знакомство его с Эфраимом началось еще с детства: брат Милиуса был несколько времени учителем Лессинга до поступления его в Мейссенскую школу. Будучи несколькими годами старше Лессинга, Милиус уехал в университет около того времени, как Лессинг отдан был в Мейссен. В университете они скоро сошлись. Милиус в то время уже выдержал экзамены и жил в страшной нужде, занимаясь естественными науками и астрономиею и добывая скудный кусок хлеба переводами, рецензиями, театральными пьесами, всякого рода литературными работами, какие заказывали ему Готтшед или актеры, игравшие в Лейпциге, или какой-нибудь книгопродавец. Да и те небольшие деньги, какие попадались ему в руки, не держались у него: Милиус любил кутнуть, чтобы забыться от своих бед. В Лейпциге, чинном и чопорном, ходила про него очень невыгодная слава. Он был в самом деле циник и неряха; говорят также, что он не отличался и деликатностию относительно людей, делавших ему услуги: если кто из студентов, видя его нужду, предлагал ему поселиться на время в своей комнате, Милиус начинал распоряжаться в ней как полный хозяин и настоящего хозяина

третировал совершенно бесцеремонно. Неосторожен был он и на язык, нимало не соблюдая умеренности в своих желчных выходах против людей, ему не нравившихся. В Лейпциге почтенные люди страшились его, как «вольнодумца» (Freigeist), за то, что он издавал журнал под этим заглавием, и это прозвище, по тогдашним понятиям позорное и страшное, преследовало Милиуса во всю жизнь, хотя во всем его «Вольнодумце» при самом внимательном разборе нельзя отыскать ни одной вольнодумной строки, а, напротив, о христианстве говорится везде с уважением, и есть даже несколько назидательных статей. Очевидно, заглавие было дано журналу в шутку, по капризу; но эта шутка более повредила Милиусу, нежели повредили бы действительные преступления. Такова была его слава в Лейпциге, а в Каменце была еще хуже: там уже прежде он был присужден к наказанию официальным порядком за свою сатиру. Случай этот, характеризующий обычаи того века, стоит рассказать подробно.

В 1743 году ректор городской каменецкой школы, Гейниц, человек, достойный уважения за свой просвещенный ум и педагогические дарования, должен был оставить свое место и перейти ректором школы в другой городок, Лебау, по разным неприятностям с каменецкими городскими властями. Кажется, почтенные граждане были недовольны тем, что воспитатель их детей не педант и не схоластик. Милиус, бывший тогда студентом в Лейпциге, напечатал по этому случаю стихотворение, в котором говорил Гейницу: «Нечего и жалеть тебя, что ты расстаешься с городом, которого жители невежды и невзлюбили тебя за твое просвещение». Кроме упрека вообще горожанам Каменца за их невежество, в стихотворении были очерчены два лица, в которых узнали себя бургомистр и первенствующий пастор. К отцу Лессинга относились стихи, смысл которых таков: «В собрании, где на лице каждого написано фарисейство, стоит на возвышенном месте человек и громко, с напряжением кричит: «Греховно сердце нашей молодежи! не внимает она слову божью! Да и можно ли ожидать чего иного, когда тот, кто должен был бы научать ее, подает ей дурной пример!» Никто не был назван по имени в этой сатире, не упоминалось даже имя города, рассказу была придана форма сновидения. Но все тотчас догадались, что дело идет о Гейнице и его каменецких недоброжелателях; лица, на которые намекала сатира, были узнаны, и весь уездный муравейник взволновался. Милиус был арестован, подвергнут суду и приговорен публично просить извинения у оскорбленных им людей, уплатить судебные издержки и, кроме того, просидеть неделю в тюрьме или заплатить двадцать талеров штрафа. Тупоумное жеманство диких невежд выказалось в этом деле; но с тем вместе выказалась и черта добродушия, свойственного немецкому характеру, в благородном поступке бургомистра, который принял на себя уплату штрафа, хотя сам был одним из двух лиц, наиболее оскорбленных сатирою.

Но этот нищий циник, Милиус, был назначен природою сделаться замечательным естествоиспытателем: еще ребенком он находил свое удовольствие в том, чтобы наблюдать звезды, и однажды целый год вел метеорологические наблюдения, записывая состояние термометра через каждые три часа. В Лейпциге, при всей своей нищете, он составил себе минералогический, ботанический и зоологический кабинеты; статьи по естественным наукам приобрели уже ему некоторую известность; его сочинение на тему, предложенную Берлинской академией, «объяснить, какова была бы система ветров, если бы вся поверхность земли была покрыта глубоким морем», удостоилось чести быть напечатано рядом с сочинениями Даламбера и Бернулли на ту же тему. После того Милиуса начали уважать некоторые люди, пользовавшиеся почетным положением в немецком обществе, и натуралисты обратили на него внимание. Наконец Галлер и Зульцер, составив проект ученой экспедиции в Америку, выбрали Милиуса для этого путешествия. Деньги, нужные для снаряжения экспедиции, собирались общественною подпискою. Капитал составилась довольно значительный, и Милиус отправился в путь; но в Англии он занемог и умер. Умерший в очень молодых летах, Милиус не успел почти ничего сделать для своей специальной науки, будучи принужден тратить свое время на стихи и беллетристику для куска хлеба; но можно ли обвинять его за эту прискорбную растрату сил, в которой виновата была его несчастная судьба? «Не надобно дивиться тому, что в Германии очень многие гениальные люди умирают преждевременно», говорит Лессинг в письмах, служащих предисловием к собранию сочинений Милиуса, изданному им после смерти автора: «легко найти причину этому; она так ясна, что разве не желающий видеть не видит ее. Предположите, милостивый государь, что гениальный человек родится в сословии, если не самом нищем, то слишком скудном житейскими средствами: вы знаете, что природа находит, кажется, какое-то удовольствие выводить гениев из этого сословия чаще, нежели из какого-нибудь другого. Подумайте же, какие препятствия должен победить этот гений в стране, подобной Германии, где почти неизвестно, что такое называется ободрением таланту. Он то задерживается недостатком необходимейших средств и пособий, то преследуется завистью, которая хочет в самой колыбели подавить дарование, то утрачивает силы в тяжелых и недостойных его занятиях. Удивительно ли, что он, истощив запас молодого здоровья, сокрушается порывом бури? Удивительно ли, что бедность, неприятности, оскорбления, презрение наконец побеждают его тело, и без того уже не слишком крепкое, потому что ведь не такие же у него нервы, как у дровосека. Поверьте же, милостивый государь, такова была судьба нашего Милиуса. Он родился в деревне, где скоро захотел учиться тому, чему не могли там научить его. Он родился в семействе, состояние которого не позволяло до-

пускать его учиться с какою-нибудь другою целью, кроме той, чтоб он, наскоро познакомясь с какою-нибудь кормовою наукою (так мы решаемся перевести известное немецкое выражение *Brotwissenschaft* \*), мог добывать себе хлеб, по примеру своих отцов. А потом он должен был без отдыха писать для куска хлеба. Такова, милостивый государь, была его жизнь, и, поверьте, при такой жизни, смерть не есть особенное бедствие».

Мы привели это описание потому, что оно хорошо обрисовывает положение всей молодежи, занимавшейся тогда в Германии литературою, и очень близко подходит к судьбе самого Лессинга.

Нельзя осуждать Милиуса за то, что он не успел ничего сделать для науки, как нельзя строго винить его и за то, что многими поступками и всем образом своей жизни подавал повод к упрекам со стороны так называемых добропорядочных людей: в том и другом одинаково были виноваты обстоятельства; и из упреков, которым подвергался он, нельзя еще заключать, что он был дурной человек, — тот случай, который особенно чернил его в глазах каменецких горожан, даже свидетельствует в его пользу: свою сатиру он мстил узким предрассудкам за неприятности, которые терпел от них человек просвещенный и достойный уважения.

По всей вероятности, Милиус нравился Лессингу как человек обширного и оригинального ума. Скоро этот чудак стал оказывать своему молодому приятелю услуги по сближению с книгопродавцами и доставляя стипендиату литературную работу. Таким образом, и удовольствие, приносимое его живым разговором, и денежные дела тесно связывали с ним Лессинга, который иногда выбивался из затруднительных обстоятельств только при помощи переводов и т. п., случай к которым доставлял ему Милиус. Но родные Лессинга, решительно не понимая этого, смотрели на их знакомство чрезвычайно подозрительно и опасались от него совершенной гибели сына и в нравственном и в материальном отношениях.

Доходили до них слухи еще о другом вредном и отвратительном знакомстве сына — о дружбе его с актерами. В самом деле, юноша вскоре по приезде в Лейпциг пристрастился к театру. В Лейпциге играла труппа г-жи Нейбер, гениальной актрисы, какой долго после того не бывало на немецкой сцене, женщины замечательного ума и тонкого вкуса. Кроме самой директрисы, в труппе было много прекрасных актеров. Лессинг скоро познакомился с артистами: веселое общество их понравилось пылкому юноше, он получил доступ за кулисы, подружился с самою г-жою Нейбер. Носились слухи, что он даже влюблен в нее и любовь его не остается без ответа. Брат считает нужным защитить первого из немецких драматургов от этого подозрения тем, что Лессинг

\* «Хлебная» наука. — Ред.

с одинаковою приветливостью был встречаем в домах всех актрис, которым, думает он, не было бы удовольствия видеть у себя человека, влюбленного в другую женщину. Не совсем убеждаемся мы этим доводом; но как бы то ни было, хотя бы Лессинг ухаживал не за одною г-жою Нейбер, а равно за всеми хорошенькими актрисами, что и действительно вероятнее, в том и другом случае мало было утешения его родным. Потом дошли до родных известия, что Лессинг сам принялся писать пьесы для театра, что он даже хочет сделаться актером. Последнего намерения он, вероятно, не имел, но все другие огорчительные известия не были выдумкою.

Можно вообразить себе огорчение почтенного первенствующего пастора и набожной пасторши от таких вестей! Как, их сын, которого надеялись они видеть благочестивым пастором или ученым профессором, не занимается своим делом, кутит с такими людьми, как Милиус, дружится с актрисами, пишет для театра! Упреки градом сыпались на заблудшего сына от отца, мать плакала о нем. Сыну казалось все это совершенно неуместным и напрасным. Он в ответах своих жаловался на несправедливость обвинений, доказывал неосновательность опасений, защищая свое поведение. Письма его из Лейпцига к родным не сохранились; но по всему рассказу брата его видно, что они были таковы же, какие потом писались им из Берлина: упреки и оправдания оставались те же, да и относились наполовину к его прежней, лейпцигской жизни. Говоря о берлинской жизни Лессинга, нам придется рассказывать многое другое, потому приведем отрывки из этих писем здесь.

«Я не стал бы так долго медлить письмом к вам, — пишет Лессинг матери, вскоре по приезде в Берлин, — если б имел сообщить что-нибудь приятное. А читать просьбы и жалобы, вероятно, и вам так же наскучило, как мне писать в этом духе. Но в этих строках не найдете вы ничего подобного (то есть ни жалоб на недостаток денег, ни просьб о присылке их). Я страшусь только того, чтобы вы не заподозрили меня в недостатке любви и уважения к вам; я страшусь только того, чтобы вы не подумали, будто я веду свой нынешний образ жизни по непослушанию и испорченности сердца. Это опасение беспокоит меня. Если оно не напрасно, то я чувствую огорчение тем живее, чем менее вины знаю за собою. Позвольте же мне поэтому, в немногих чертах, описать вам всю мою университетскую жизнь, и я уверен, что вы снисходительнее будете судить обо мне. Я приезжаю в университет мальчиком с школьной скамьи, твердо уверенный в том, что все счастье в книгах. Я приезжаю в Лейпциг, в такой город, в котором совмещается в миниатюре целый мир. Первые месяцы я прожил так уединенно, как не жил и в Мейсене. Вечно за книгами, я редко даже и думал о людях. Но это продолжалось немного времени: скоро открылись мои глаза — надобно ли сказать, «к счастью» или «к несчастью»? — это решит будущность. Я понял, что книги сделают меня ученым, но никак не сделают меня человеком. И я решился выйти из комнаты, показаться в обществе подобных мне. Но — боже мой! — ни малейшего подобия не было во мне с другими людьми. Мужичья застенчивость, неряшливость и неуклюжесть, совершенное невежество в том, как держать себя между людьми, нелепые замашки и взгляды, которыми оскорблялся всякий, как выражающими презрение к нему, — таковы-то были

достоинства, замеченные мною в себе. Следствием этого была твердая решимость во что бы то ни стало исправиться от своих недостатков. Вы знаете, как я принялся за это дело. Я стал учиться танцам, фехтованию, верховой езде. Я откровенно сознаю в этом письме свои ошибки, стало быть, могу говорить и о том, что хорошо во мне. Танцевать, фехтовать, ездить верхом я выучился так, что даже люди, наперед решавшие, что я неспособен ни к чему такому, можно сказать, удивлялись мне. Успех этот сильно ободрил меня. Я стал развязен, ловок и вошел в общество, чтобы научиться жизни. На время отложил я в сторону серьезные книги, чтобы познакомиться с другими книгами, более заманчивыми, но не менее полезными. Прежде всего попались мне под руку комедии. Пусть не верит, кто не хочет, но мне оказали они очень важные услуги. Я понял из них разницу между приятностью и принужденностью манер, между грубостью и естественностью. Они показали мне, что такое живая и что такое истинная добродетель, научили меня избегать порока столько же потому, что он смешон, сколько и потому, что он гнусен. Но я чуть не забыл главной пользы, какую принесли мне комедии. Они научили меня знать самого себя, и с той поры, верно, ни над кем не смеялся и не издевался я столько, как над самим собою. Вдруг какой-то пустой случай навел меня на мысль самому приняться за сочинение комедий. Я попытался, и когда мои комедии были даны на сцене, меня стали уверять, что комедии эти недурны. Надобно только похвалить меня в чем-нибудь, и уж я так создан, что примусь за дело еще горячее. И вот я стал день и ночь думать, как бы выказать свой талант в деле, в котором ни один немец не мог похвалиться особенным успехом. Вследствие болезни и других обстоятельств, о которых пока умолчу, я задолжал более, нежели на три месяца моих стипендий, — и я должен был переехать в Берлин, где и живу теперь, — в каком положении, знаете вы сами. Я давно стал бы на ноги, если бы мог иметь приличное платье (эти слова подчеркнуты Лессингом); оно необходимо в городе, где о людях больше всего судят по наружности. Вы были так добры, что еще в прошлом году обещали сделать мне новую пару платья. Из этого вы можете заключить, безрассудна ли была моя просьба в предыдущем письме (видно также, прибавим мы, что и год тому назад платье было уже порядком поношено; видно также, что в прошлом письме Лессинг просил выслать ему денег на платье). Вы отказываете мне, между прочим, под тем предлогом, что не знаете, ради кого или чего живу я в Берлине. (Видно, что мать намекала на Милуса.) Я угадываю, что ваше предубеждение против человека, который оказывает мне услуги теперь, когда я чрезвычайно нуждаюсь в них, — угадываю, что это предубеждение — главная причина вашего несогласия с моими поступками. Кажется, вы считаете его (то есть Милуса) извергом рода человеческого. Не слишком ли увлекаетесь вы враждою? Я утешаюсь тем, что вижу в Берлине очень многих прекрасных и знатных людей («знатные», очевидно, явились тут затем, чтобы произвести эффект на провинциалку), которые уважают его столько же, сколько и я».

Вот другое письмо, посланное Лессингом месяца через три, к отцу:

«Вы требуете, чтобы я возвратился домой. Вы опасаетесь, что я уеду в Вену, чтобы там сделаться писателем комедий. Вы уверены, что здесь я работаю, как негр, для г. Рюдигера (берлинского книгопродавца) и терплю голод и неприятности (видно, что отец писал ему: ты пошел по дороге, которая приведет к голодной смерти). Вы прямо говорите мне, что все написанное мною вам о видах моих на улучшение моих обстоятельств чистая ложь. (Видно, что он успокаивал отца разными надеждами на то, что скоро будет приобретать литературою большие деньги.) Умоляю вас: поставьте себя на мое место и подумайте, как огорчительны должны быть такие несправедливые укоризны, неосновательность которых очевидна для

вас, если вы хотя сколько-нибудь знаете меня. Но удивительнее всего для меня то, что вы возобновляете прежние укоризны по поводу комедий. Переписка моя с комедиантами вовсе не такова, как вы думаете. В Вену писал я к барону Зейлеру, директору всех австрийских театров, человеку, знакомство которого никак не может мне быть стыдом, а, напротив, может принести большую пользу. С подобными людьми велась у меня переписка и в Данциге и в Ганновере; и не может мне быть упреком то, что меня знают не в одном Каменце... Подождите несколько месяцев, и вы убедитесь, что я в Берлине живу не без дела и работаю не для других. Я знаю, от кого доходят до вас обо мне такие слухи. Я знаю, кому и сколько раз вы писали обо мне в Берлине. Эти расспросы, конечно, подали дурное понятие обо мне людям, к которым вы обращались с ними. Но я верю, что вы хотели мне пользы, а не вреда и неприятностей, которые были для меня следствием этих разведываний... Позвольте мне напомнить вам стихи Плавта:

Qui nihil aliud, nisi quod sibi soli placet,  
Consulit adversum filium, nugas agit

(неблагодарному поступает отец, который хочет распоряжаться всеми поступками сына). Эта мысль так рассудительна, что, вероятно, вы с нею согласны. К чему матушке так горевать обо мне? Не все ли равно для нее, так или иначе составляю я себе счастье, лишь бы составил, в чем я уверен. И как могли вы вообразить, что если бы я даже поехал в Вену, то принял бы там католичество? Из этого я вижу, как она предубеждена против меня».

Через месяц Лессинг, получив от отца книги, которые оставлены были им дома, благодарит за присылку их и продолжает:

«Я написал бы вам о своей благодарности еще больше, если бы не видел, к сожалению, из всех ваших писем очень ясно, что вас давно склоняют, и вы давно склонились подозревать во мне самые низкие, самые постыдные черты. Благодарность человека, о котором вы имеете такое <не>-выгодное мнение, конечно, должна показаться вам неискреннею. Но что же мне делать? Время будет моим защитником. Оно покажет, действительно ли я непочтительный сын и безнравственный человек.

«Когда вы перестанете упрекать меня за Милиуса? Sed facile ex tuis querelis querelas matris agnosco \* (следует довольно длинная латинская тирада, которую мы отмечаем курсивом). Но я очень хорошо вижу, что эти упреки внушены вам матушкой: она добра и прямодушна, но в этом случае слишком увлекается враждою. Наша дружба с Милиусом никогда не была и не будет не чем иным, как сотрудничеством в занятиях, — можно ли винить за то? Я с ним очень редко, или, лучше сказать, вовсе никогда не говорю ни о родных и моих обязанностях к родным, ни о моем образе жизни, так что вы никак не можете считать его моим соблазнителем и советником на дурное. Не увлекайтесь, батюшка, женскими наговорами. Простите, что я написал это по-латыни, чтобы не оскорбить матушку, глубоко мною любимую».

Этих отрывков будет достаточно, чтобы увидеть, каковы были предположения родных о сыне, когда он жил в Лейпциге и потом в Берлине. Они считали сына идущим к временной и вечной гибели. Письма их к нему за это время не сохранились, но легко угадать из ответов Лессинга, какими горькими опасениями, какими оскорбительными подозрениями были наполнены эти

\* В твоих упреках легко узнаю упреки матери. — Ред.

письма. Так прошло полтора года университетской жизни; наконец, однажды, получил лейпцигский студент от отца письмо, в котором все упреки и подозрения, особенно относительно актеров и театров, выражены были совершенно прямо и резко. Молодой человек вспыхнул и потерял терпение. Раздосадованный, побежал он к одному из своих приятелей и товарищей по занятиям литературою, Вейссе, и, с сердцем бросая письмо на стол, сказал: «Вот, прочитайте-ка, какое письмо получил я от батюшки!» В пылу досады он хотел отвечать на упреки, разослав всем почетным людям каменецкого общества по экземпляру афиши, которая объявляла о первом представлении его комедии «Молодой ученый», приписав под заглавием этой пьесы, дававшейся без означения имени автора: «сочинение Готтгольда-Эфраима Лессинга». Вейссе удалось удержать своего друга от этой выходки, и чрезвычайный успех пьесы на сцене заставил бы молодого драматурга забыть о семейной неприятности, навлекенной на него расположением к театру, если бы за первую беду не последовала вторая.

В Саксонии был (а может быть, и донине сохранился) обычай, что мать на Рождество печет для каждого из своих детей сдобный сладкий пирог. Надобно было случиться, что в этом (1747) году на самое Рождество один из знакомых семейства Лессингов отправился из Каменца в Лейпциг. Мать Готтгольда-Эфраима просила этого знакомого отвезти от нее сыну патриархальный пирог и при этой okazji, конечно, просила его также посмотреть и передать ей, как живет этот сын, возбуждающий в родителях столько беспокойства неосновательностью своего поведения. Знакомец возвратился в Каменец с ужасным известием, что сладкий пирог матери скушан сыном в обществе комедиантов (и чего доброго! — даже комедианток, быть может) и запит доброю бутылкою вина.

Бедные родители не могли теперь сомневаться в глубоком нравственном падении блудного сына. Мать горько плакала; отец увидел необходимость прибегнуть к решительному средству для исхищения сына из бездны адской: надобно было возвратить его для душевного исцеления под родительский кров. Но послушается ли родительского приказанья непокорный юноша? Нет, нужно придумать другие средства, подняться на хитрости, — и лейпцигский студент получил письмо, уведомлявшее его, что мать лежит при смерти и что он должен спешить в Каменец, не теряя ни минуты, если хочет проститься с нею.

Между тем наступили сильные холода. Мать стала уже раскаиваться в своей хитрости: как поедет бедный мальчик (не забудем, что Лессингу было только восемнадцать лет) в такую погоду? Ведь у него нет теплого дорожного платья, а в дороге надобно пробыть несколько суток. Нет, лучше уж кутил бы он с ненавистным Милиусом и актрисами, чем замерзнуть на дороге.

Напрасно его вызывали! Или, быть может, он догадается, что известие о ее болезни — выдумка, и не поедет? Да, лучше он сделает, если не поедет. В таких мыслях сидела семья, как отворилась дверь, и вошел в комнату, дрожа от холода, полузамерзший сын. «Как, ты поехал в такой холод?» спрашивает мать. — «Я знал, что вы здоровы, — весело отвечает студент, — но вам было угодно, чтоб я приехал, — и я приехал». Словом сказать, вместо строгого выговора, который готовился для него, его встретили с радостью, что он, послушный сын, доехал благополучно.

Отец стал испытывать его знания разговорами; оказалось, что сын стал человеком ученым, несмотря на Милиуса и актеров; оказалось, что и по-латыни знает он очень хорошо, несмотря на то, что занимался, по доходившим слухам, вовсе не латынью. Мало того: в удовольствие первенствующему пастору, сын сочинил проповедь — и проповедь оказалась хороша. Гнев отца утихнул. Он оставил студента пожить дома, чтобы своими глазами убедиться, действительно ли он не такой дурной человек, не такой пьяница и буйан, как шла молва о нем. Сын держал себя, в самом деле, как порядочный юноша — не пьянствовал и не буйствовал.

Три месяца продолжалось это испытание. Наконец родные убедились, что можно согласиться на его просьбу и снова отпустить его в Лейпциг, с наставлениями держать себя хорошо.

Но лишь только воротился он в Лейпциг, как пошли о нем прежние слухи. Попрежнему он не ходил на лекции, водил компанию с Милиусом и актерами, писал комедии; и через несколько времени сделал решительный шаг, который более всего прежнего огорчил заботливых родных.

Около этого времени расстроилась труппа г-жи Нейбер, и многие актеры уехали из Лейпцига, иные не расплатясь с долгами. Лессинг был поручителем в нескольких из этих векселей; кредиторы не давали ему покоя. Средства его для уплаты долгов были ничтожны в Лейпциге. Он решился искать этих средств в Берлине, при помощи Милиуса, который уже поселился там, имел уже некоторые связи и через два-три месяца сделался сотрудником одной из берлинских газет, издававшейся книгопродавцем Рюдигером и вскоре перешедшей к зятю Рюдигера, Фоссу, с фамилиею которого она существовала до последнего времени (*Vossische Zeitung*). Мысль эта была исполнена Лессингом с независимостью, свойственною его характеру: ни с кем он не советовался, никому не говорил о своем намерении переселиться в Берлин. Один из ближайших его друзей, Вейссе, зашедший через несколько дней к своему приятелю по его отъезде, услышал только, что он уехал из Лейпцига на неделю. Но это не было бегство от кредиторов: они были предуведомлены и успокоены Лессингом, потому что не тревожили ни университет, ни каменецкого пастора своими опасениями. И действительно, Лессинг скоро расплатился с ними.

На дороге, в Виттенберге, он тяжело занемог — один, без денег, без знакомых. Положение было отчаянное, и Лессинг не мог потом вспомнить о нем без ужаса. Но молодая натура скоро победила болезнь. Между тем Милиус уехал из Берлина. Лессинг решился было остаться на зиму в Виттенберге слушать лекции и написал о том родным. Но Милиус опять явился в Берлин, получил постоянную работу при рюдигеровой газете, и Лессинг около Рождества мог переселиться в Берлин с уверенностью, что найдет там средства для жизни.

Говорят, впрочем, будто из Виттенберга уехал он не с целью попасть в Берлин, — напротив, если верить слухам, он прежде всего поскакал в Вену, увлеченный страстью к хорошенькой актрисе Лоренц, и уже из Вены, по невозможности найти там средства для жизни или разочаровавшись в своей возлюбленной, переехал в Берлин. Этот эпизод очень правдоподобен; но не осталось доказательств, которыми можно было бы подтвердить его.

Во всяком случае два ли только, или три раза юноша в течение полугода так независимо от родных изменял намерения относительно своей будущности, — ограничились ли его странствования только переселением из Лейпцига в Виттенберг и из Виттенберга в Берлин, или надобно прибавить сюда еще поездку из Виттенберга в Вену, — во всяком случае Лессинг в это полугодие наделал довольно, чтобы снова погубить в родных всякое доверие к себе, чтобы явиться в их глазах человеком, более близким к гибели, нежели когда-нибудь. «Он замотался, он потерял голову, стал игрушкою негодного Милиуса, стал авантюристом, которому предстоит сидеть в тюрьме за долги, быть стыдом своему семейству, влачить презренную жизнь развратного и оборванного пьяницы, быть убитым в пьяной драке, замерзнуть на улице или умереть голодною смертью в подвале». Так должны были думать родные, и переписка их с сыном продолжалась в прежнем тоне: горькие упреки с одной стороны, гордые оправдания с другой.

И действительно, довольно долго прошло, пока устроилось сколько-нибудь порядочным образом денежное положение сына, пока его известность, потом слава заставили родных его покинуть свои оскорбительные подозрения.

Если и в наше время семнадцати-девятнадцатилетний юноша поступает подобно Лессингу: вместо того чтобы посещать лекции, сводит дружбу с людьми, известными неумеренностью своего образа жизни; бросая так называемое порядочное общество, водит компанию с весельчаками, проводит вечера за кулисами, а ночи в шумных пирушках с актрисами, — если и в наше время молодой человек становится на эту дорогу, его родные имеют очень основательную боязнь за будущность сына. Сто лет тому назад, в Германии, подобный образ жизни казался еще ужаснее для патриархальных провинциалов и, в самом деле, отнимал почти всякую надежду на юношу, увлекающегося в такие излишества.

Лессинг пренебрегал единственным путем к обеспечению своей будущности, пренебрегая университетом; ныне понятно, что можно жить на свете, не занимая места на службе; тогда, если человек не был ремесленником, купцом или помещиком, он мог жить только жалованьем и доходами от общественной должности. Литература не доставляла никакого обеспечения. Все литераторы были или богатые дилетанты, или профессоры, учителя и пасторы: без этих источников дохода они ходили бы с голыми локтями, подобно Милиусу. Лессинг, пренебрегая дипломом, который доставил бы ему место пастора, медика или профессора, обрекал себя на вечную нищету. Ныне актеры не считаются людьми отверженными; тогда на них смотрели, как на цыган. Ныне понимают, что юноша должен быть юношею; тогда с двенадцати лет мальчик должен был делаться педантом: иначе он уже не имел никаких шансов проложить себе дорогу в свет.

Чтобы одним примером указать всю разницу между нынешним и тогдашним взглядом на человека, поступающего подобно Лессингу, скажем, что студенты, его товарищи, считали его человеком, идущим к собственной гибели. Ныне, конечно, молодежь не осудит сверстника за любовь к театру, особенно когда видит, что дома, самостоятельными занятиями, он с избытком вознаграждает неаккуратность в посещении лекций, когда видит, что любитель театра с тем вместе превосходит обширностью знаний товарищей студентов, — ныне любовь к литературе и театру не помешала бы глубоко уважать такого товарища; тогда, — что думали тогда студенты о своем гениальном товарище, мы узнаем из любопытного анекдота, сохранившегося в записках известного литератора и музыканта Рохлица. В Лейпциге Лессинг жил несколько времени в одной комнате с другим студентом, Иоганном-Фридрихом Фишером. Много лет спустя, когда Лессинг был уже автором «Эмилии Галотти», «Гамбургской драматургии», Фишер занимал должность ректора в одной из школ, соответствующих нашим гимназиям. Рохлиц учился в этой школе. Ректор заметил в ученике литературные наклонности, призвал его к себе и преподавал следующее наиздание из собственных воспоминаний: «Говорил уж я тебе, чтобы бросил свои немецкие книги; не спрашиваю, исполнил ли ты мой совет, а только скажу тебе: исполни его, брось немецкие книги, не вводи себя в гибель, потому что к гибели они ведут. Тем больше огорчаешь ты меня, что этими вредными наклонностями припоминается мне такой пример, — пример из молодости, — от которого и теперь болит мое сердце. Расскажу тебе, как это было. Приехав из Кобурга в здешний университет, поселился я вместе с одним товарищем, который уже год числился студентом. Он был сын хороших людей: отец его был пастором в Лаузице. Жили мы с ним на Верхней улице, у Старых бань. Какие способности дал бог этому человеку! Как он знал по-гречески и по-латыни! Мы с ним слушали Эрнести,

знаменитого тогдашнего филолога, — то есть нечего нам было и слушать у него! Читать Фукидида было для нас просто развлечением. Ах, какой человек мог бы из него выйти! Но пошел он по такой дороге! Уж прежде он много читал по-немецки, — ну, стал и писать сам по-немецки, сочинять немецкие стихи. И пошел, и пошел, и никак нельзя было его остановить. Он был мой лучший друг, мой единственный друг в целом университете; но я отстранился от него — не мог выносить этого. Начал он даже писать комедии. Ну, вот... вот... дальше да дальше, и сделался он... нет, и сказать грустно, что из него вышло. Ну, да сам спроси у людей, скажут тебе: этого человека звали Лессинг».

Этот урок молодому человеку, это предостережение: «смотри, если станешь продолжать, как начал, то будешь ты не чем иным, как разве Лессингом», — эта искренняя, глубокая грусть добродушного друга о том, что Лессинг погубил свои прекрасные дарования и самого себя, вся эта речь почтенного ректора представляется нам теперь чем-то нелепо наивным до забавной оригинальности. Это нечто нелепейшее, нежели ученые рассуждения Фамусова и Скалозуба, что-то напоминающее суждения обитателей брынских скитов, понятия какого-то дикого Никиты Пустосвята. Если студент, горячо любивший Лессинга, очень близко знавший его — ведь они жили в одной комнате — так огорчился уже одною любовью его к немецкой литературе, этою, повидимому, самою невинною чертою из всех противоречий его жизни общепринятому порядку, то можно вообразить, каковы были у людей пожилых, наклонных к строгости в нравственных понятиях и в требованиях от молодого человека соблюдения приличий, — каковы были понятия всех добропорядочных людей о будущности, которую готовит себе Лессинг, когда они соображали все ужасные черты его образа жизни — не только сочинительство его на немецком языке, но, что гораздо ужаснее, его дружбу с Милиусом и ночные пирушки в обществе этого оборванного кошуна, его панибратство с актерами и актрисами, обществом которых гнушался даже Вейссе, студент, сочинявший для них комедии.

Диким кажется нам теперь все это. Но если присмотреться к делу ближе, с житейской точки зрения, то, право, подумаешь: не расчетливее ли, не лучше ли для отдельного человека устраивать свою жизнь сообразно с понятиями большинства? Не был ли, в самом деле, прав добрый ректор Иоганн Фишер, с грустью вспоминая о том, как Лессинг губил себя? Да, если он думал о житейском благоденствии своего друга, то, без сомнения, был прав.

А надобно сознаться, что из сотни людей, одержимых в молодости различными возвышенными стремлениями, разве один не станет впоследствии раскаиваться, если эти порывы стоили ему каких-нибудь пожертвований житейским благосостоянием; и надобно еще то сказать, что, в самом деле, у очень многих людей все эти порывы имеют следствием единственно только порожде-

ние чепухи различного рода, смотря по характеру порывов. Друзья и родные должны были, в самом деле, опасаться за Лессинга, потому что только при конце молодого разгула обнаруживается, имел ли человек силу безвредно пройти его, только последующая энергическая деятельность доказывает, что человек не напрасно пренебрегал торною дорогою, стремясь к славе.

Но теперь, когда славная деятельность Лессинга показала нам его натуру, мы можем видеть, что и в увлечениях молодости он не изменил ни своему призванию, ни своему характеру. Мы не будем здесь распространяться об этом характере, — пусть он сам собою раскрывается перед читателями в продолжение биографии, — но скажем только, что основною чертою его натуры были редкая полнота и всесторонность. У него были сильные страсти, и он по временам беззаветно отдавался той или другой из них; но никогда ни одна из них не могла поработить его себе именно потому, что натура его была слишком чужда всякой односторонности. На пирушках с Милиусом он, быть может, пил больше самого Милиуса; у него было много интриг, и, конечно, он любил страстно; но никогда не было минуты, в которую не могла его натура свергнуть с себя эти страсти. Он был подобен древнему бойцу, который с увлечением шел на битву, но и в самом разгаре битвы не терял ни разумного самообладания, ни светлого взгляда, ни спокойствия на ясном челе. Он, среди других людей, был не по одному уму, но и по характеру, по всей своей натуре Милон Кротонский, который мог идти с ними, когда хотел, мог принимать участие в их трудах, если то ему казалось нужно, но которого ничья сила не могла поколебать, если он хотел остановиться, который, как бессильных детей, схватывал и увлекал за собою или легким движением руки отстранял тех, кто хотел удержать его или увлечь за собою. В жизни он был нечто подобное тому, что Шекспир в своей поэзии: на все чувства приветно откликается поэзия Шекспира, но не подчиняется она ни одному из них — она страстнее, нежели анекдотические песни юга, она грустнее, нежели самые грустные легенды севера, она веселее, нежели веселые песни Франции; но ни грусть, ни веселье, ни страсть не делают ее своею рабою, с величественным гомерическим самообладанием властвует она равно над своим восторгом и над своим страданием.

Быть может, мы слишком рано указали эту основную черту характера Лессинга в таком величественном свете: ведь мы говорим еще только о двадцатилетнем юноше; быть может, уместнее было бы это сравнение с героями древности тогда, когда он явился бы нам автором «Натана Мудрого» и противником Геце. Но и в юноше эта основная черта уже обнаруживается поразительным образом.

Уже в тех отношениях к родным, о которых мы говорили выше, в тех письмах к отцу и матери, отрывки из которых мы

привели, ярко видна она. Его осыпают оскорбительнейшими упреками и обвинениями; но он чувствует, что он совершенно прав. Иной, на его месте, гневно прекратил бы всякие сношения с родными, сказав, что не хочет оправдываться перед людьми, слишком мало понимающими его; другой, сознавая, что вся внешность обвиняет его, что его образ жизни, положение, усвоиваемое им себе в обществе, свидетельствуют против него, стал бы просить извинения своим проступкам, стал бы говорить скромно и покорно. Лессинг делает не так. Он говорит отцу спокойным, самоуверенным и вместе почтительным тоном. Он объясняет родным, как надобно смотреть на людей, на обстоятельства; он ни в чем не делает уступки их мнениям, выставляет себя совершенно правым и, однако же, не говорит им ни одного слова, которое неуместно было бы в устах сына; он как будто читает им проповеди, облеченные тоном сыновнего уважения. И не только письма, но и действительные отношения его к родным имеют совершенно особенный характер, какого не мог бы выдержать в подобных обстоятельствах никто другой. Ни в чем он не подчиняется родным — и, однако же, не перестает быть почтительным сыном; родные негодуют на него, скорбят о нем — его чувства к ним остаются решительно неизменны, как бы никаких неприятностей не бывало между ними, и, до конца жизни, он остается верным, любящим членом семейного кружка, совершенно отстраняя его влияние от своей жизни, но постоянно делая для родных все, что только возможно.

Точно с таким же спокойным чувством своей совершенной справедливости выслушивал он тогда и впоследствии всевозможные обвинения своих врагов, всевозможные замечания друзей. Он делал то, что находил нужным, и никакие ободрения или просьбы не могли заставить его сказать больше, никакие осуждения не могли заставить его сказать меньше. Нельзя не вспомнить здесь и странного отношения к нему его биографов и историков немецкой литературы. Только немногие из этих людей могут возвыситься до того, чтобы в самом деле разделять образ мыслей Лессинга. Когда вы присмотритесь к их собственным мнениям, вы ожидаете, что они должны осуждать Лессинга, как человека слишком резкого, слишком бесцеремонного в выражении своих мыслей, слишком далеко двинувшегося вперед в образе своих понятий; а между тем ни один из них даже не воображает, что о Лессинге можно говорить так, как говорится о Гете или Шиллере, можно хвалить в нем одно, осуждать другое: нет! перед всеми его приговорами все они совершенно смиряются, будто все еще ждут, что он может встать из гроба и поразить людей, отважившихся сделать ему самое легкое замечание, как поразил Клоца. Мы опять должны прибегнуть к сравнению, употребленному выше: мнения Лессинга внушают всем какое-то благоговение, как поэзия Шекспира. «Это так: это иначе невозможно; он

прав», говорит каждый о «Гамбургской драматургии» или «Лаокооне», как говорит о «Гамлете» или «Отелло». В области мысли до сих пор Лессинг представляется для немецких историков литературы таким же непогрешительным авторитетом, как Шекспир в области поэзии. Можно продолжить эту аналогию и в отрицательном смысле: почти никто из поэтов не следует урокам, какие дает поэзия Шекспира, почти никто из критиков и философов не исполняет принципов Лессинга; но не подчиняться влиянию того и другого возможно, только забывая о них, а как скоро являются они перед нашим воспоминанием, никто не чувствует в себе решимости противоречить им. Превосходство их слишком велико; поэзия одного, мысль другого по своей натуре таковы, что не оставляют места никакому разноречию в суждениях. Да, сильная эта была натура и очень щедро одаренная природою. Мы довели свой рассказ до начала литературной деятельности Лессинга, — началась она поэтическими произведениями, и тут можно уже видеть, насколько был он выше обыкновенной мерки.

Лессинг сам о себе сказал, что не имеет врожденного поэтического таланта, что его произведения не создания независимого от мысли творчества, а только осуществление сознательной мысли. «Я не поэт, — говорит он в последнем номере своей «Драматургии». — Мне часто оказывали честь, признавая меня поэтом; но это значило не знать меня, не признавать особенностей моей натуры. Не надобно было выводить такого высокого заключения из нескольких драматических опытов, на которые я отваживался. Не всякого, кто берет в руки кисть и пестрит полотно красками, можно назвать живописцем. Первые из этих опытов написаны мною еще в таких летах, когда охоту и способность легко писать принимают за гений. А относительно всего, что только есть сносного в моих последующих драмах, я очень твердо знаю, что всем этим я обязан исключительно критическому размышлению. Я не чувствую в себе живого источника, который бьет через край собственной силой, собственною силою рвется на свет богатыми, свежими, чистыми струями. Я должен все выжимать, вытягивать из себя усилием. Я был бы совершенно беден, холоден, если бы не научился, так сказать, пользоваться чужими сокровищами, созреть у чужого огня и изощрять мое зрение очками критики. Потому-то я всегда стыдился или досадовал, когда читал или слышал что-нибудь в осуждение критики, когда слышал, что она убивает гений, — ведь я, напротив, льстил себя мыслью, что она дает мне нечто очень близкое к гению. Я хромой, которому нельзя угодить пасквилем на клюку. Но хотя и правда, что клюка помогает хрому ходить, скороходом она никогда не сделает его. Так и критика. Если я при помощи ее произвожу нечто лучшее, нежели произвел бы человек с моими талантами без критики, то, надобно прибавить, это стоит мне труда, я должен быть совершенно свободен от других дел, не должен рассеиваться произ-

вольными развлечениями, должен на каждом шагу соображать все свои наблюдения над характерами и страстями».

Мы впоследствии увидим, что эти слова, сказанные с целью объяснить, почему он не писал каждый год по несколько драм, как бы ему хотелось при основании «Драматургии», — увидим, что эти слова имеют вовсе не такой смысл, чтобы отнимать у Лессинга поэтический талант: поэтического таланта, без сомнения, было у него не меньше, нежели у кого-нибудь из немецких поэтов, кроме Гете и Шиллера, далеко превосходивших его в этом отношении, — он только хотел сказать, что натура его вовсе не такова, как натура людей, созданных исключительно быть поэтами, подобно Шекспиру или Байрону; что у него творчество слишком слабо в сравнении с силою вкуса и мысли и действует не самопроизвольно, как у Шекспира или в народной поэзии, а только по внушению и под влиянием обсуждающего ума. Но то остается бесспорно, что поэтический талант не был у Лессинга преобладающим даром природы и вообще сам по себе не мог бы поставить его наряду с истинно великими поэтами. Словом, поэзия не была сильнейшим из его талантов.

А между тем и эта способность, имевшая только второстепенное значение в его натуре, была достаточно велика, чтобы самые первые, можно сказать, ребяческие произведения Лессинга тотчас же были замечены всеми и приобрели ему одно из первых мест в тогдашней немецкой литературе, в противность обыкновенному порядку, по которому почетное имя и уважение критики приобреталось только многолетним трудом, вместе с сединою и важными местами в гражданском обществе. То была пора, отчасти подобная нравам русского литературного мира до Пушкина. Молодой человек старался попасть под покровительство заслуженного литератора, — тот вводил его в общество писателей, уже двадцать—тридцать лет пользовавшихся славою немецких Гомеров, Корнелей и Анакреонов. Эти с важным видом слушали произведения новичка, поправляли их, одобряли их, так продолжалось десять, пятнадцать лет, и только состаревшись, в свою очередь, бывший новичок делался знаменитым писателем.

Лессинг, двадцатилетний юноша, не примыкавший ни к какому литературному обществу, не считавший нужным познакомиться ни с одним из знаменитых тогдашних поэтов или критиков, с первого же раза приобрел громкую известность своими анакреонтическими одами и комедиями. Песни его печатались в журналах, издававшихся Милиусом: «Развлечение» (*Ermunterungen*) и «Натуралист» (*Naturforscher*); пьесы были написаны для труппы г-жи Нейбер, потом перешли и на другие немецкие сцены. Мы не будем перечислять ни этих песен, ни даже этих комедий: они теперь, по всей справедливости, не читаются почти никем, кроме людей, занимающихся историею литературы, хотя в свое время наделали шуму и были единогласно превозносимы всеми

критиками как лучшие в своем роде произведения немецкой литературы.

Так, например, знаменитый профессор Михаэлис, тогда писавший в «Геттингенских ученых известиях», одном из самых уважаемых критических журналов, говорил об анакреонтических песнях Лессинга: «Если чьи-нибудь лирические пьесы были читаны нами с восхищением, то, конечно, лессинговы. Рецензент не бывает наклонен к увлечению, но они заставили нас забыть обо всем, бросить всякую другую работу» и т. д. «Иенские ученые известия» объявляли, что эти песни должны быть поставлены наряду с первоклассными созданиями всех литератур. То же самое говорили и об его пьесах. Даже за границу проникла его слава: итальянские и французские журналы, когда случалось им перечислять лучших немецких писателей, непременно упоминали и о Лессинге.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Столкновение с Вольтером. — Дело с Ланге. — Дело с Йохером. — *Vademe-sum*<sup>14</sup> для г. Ланге. — Лессинг становится выше всяких подозрений. — Он становится страшен как критик. — Николай. — Мендельсон. — Отношения Лессинга как саксонца к пруссакам во время Семилетней войны. — Возвращение в Берлин.

Житейское положение Лессинга в Берлине сначала было очень незавидно, мы видели, как он жалуется на недостаток порядочного платья; в другом письме он говорит, что имеет обед в полтора гроша (6 коп. сер.), — при всей возможной дешевизне тогдашнего Берлина обед не мог быть роскошен. Предложение заняться исправлением латинского перевода огромной д'Эрблотовой «Восточной библиотеки» за 200 талеров в вознаграждение этой работы, требовавшей годовичного труда, он выставляет в письмах к отцу предложением, выгодным для себя; оно и действительно было выгодно по его тогдашним обстоятельствам; в других случаях, как видно из писем, дело шло о талерах и десятках талеров, никак не более. Тем не менее берлинская жизнь была приятна ему при всех недостатках. Он приобрел довольно много знакомств, сблизился с людьми, которые могли быть полезны ему в будущем, надеялся на литературные успехи, ожидал, что дела его скоро поправятся. Но отец и мать настаивали, чтоб он продолжал ученую карьеру: ученому пастору было обидно за сына, который все еще имеет звание только кандидата медицины, было грустно думать о том, что у него нет никаких верных средств к обеспечению своего существования, — литературу старик справедливо считал очень небогатым и вовсе недостаточным источником доходов. Не знаем, послушался ли б Лессинг убеждений отца держать экзамен на высшие ученые степени, с целью получить университетскую кафедру, — но встретилось обстоятельство, которое не ожи-

данным и нимало не приятным образом помогло исполнению отцовского желания.

Одним из первых знакомых Лессинга в Берлине был француз Ришье де-Лувен, человек с добрым сердцем, если не с гениальным умом \*. Положение обоих было почти одинаково, по летам они были сверстники и скоро стали близкими друзьями. Правда, часто сердился Ришье на Лессинга, когда тот не курил фимиама французской литературе, не хотел называть Лафонтена величайшим баснописцем, а Корнеля и Расина величайшими трагиками в мире; но все-таки оставались они добрыми приятелями, и из дружеских разговоров Ришье настолько познакомился с немецкою литературою, что в обществе мог являться защитником немецкой литературы,— что всего забавнее, против немцев.

В 1750 году Ришье, прежде живший уроками французского языка, сделался секретарем у Вольтера и через три-четыре недели имел случай рекомендовать своего приятеля знаменитому писателю. Случай этот был такого рода: Вольтер искал человека, который бы мог переводить на немецкий язык мемориалы, которые писал Вольтер против еврея Гирша, по поводу своего известного процесса с этим жидом из-за квитанций саксонских налогов, которыми торговали тогда, как ныне акциями торговых компаний. Кто был прав, кто виноват в этом деле, разбирать мы не будем, довольно сказать, что процесс наделал в то время много шума, раздражительный Вольтер вел его с ожесточением и чрезвычайно хлопотал об успехе. Как писатель Лессинг, конечно, был ему вовсе неизвестен, но как переводчик его мемориалов против Гирша он стал для него человеком очень интересным, и Вольтер пригласил молодого человека обедать у него каждый день; они говорили о литературе и науках, но Вольтер сохранял при этом всегда такой сдержанный и серьезный тон, что собеседникам было мало возможности обнаруживать свой ум; только при знатных Вольтер давал простор своему острому языку, как те музыканты, которые дают концерты при дворах и в аристократических залах и не находят нужды играть перед своими собратами. Так продолжалось несколько недель. В феврале 1751 года процесс кончился, и Вольтер уехал в Потсдам, где и кончил «*Siècle de Louis XIV*». Когда в декабре возвратился он в Берлин, Лессинг снова посетил своего друга Ришье и застал его в хлопотах с этим только что отпечатанным сочинением. Вольтер хотел поднести королевской фамилии двадцать четыре экземпляра своей книги, прежде нежели поступит она в продажу. Конечно, для подарка нужно было отобрать лучшие экземпляры, и, услышав, что это дело не терпит задержки, Лессинг стал помогать своему приятелю в подборе лучших оттисков. Ришье, в благодарность за услугу, обещался дать ему на несколько дней для прочтения первую часть сочинения,

---

\* Рассказ Карла Лессинга.

если он успеет собрать ее из дефектных листов. Составив нужные для Вольтера экземпляры, успели друзья собрать из дефектных листов для Лессинга всю первую часть, за исключением одного листа, который Лессинг прочитал тут же по другому экземпляру, а найденные листы взял с собою, дав слово, что не покажет их никому и возвратит через три дня. На другой день, когда вся первая часть была уже прочитана Лессингом, навестил его некто Дрексель, молодой человек, родом также из Саксонии, служивший гувернером у Шуленбурга, и выпросил книгу на несколько часов себе. На беду, в это самое время приехала с визитом к г-же Шуленбург графиня Бентинк, пользовавшаяся особенною дружбою Вольтера. Хотел ли Дрексель щегольнуть перед дамами литературною новостью, или дамы сами, зашедши в его комнату, увидели книгу, как бы то ни было, они увидели книгу. А графиня Бентинк уже просила у Вольтера экземпляр его нового сочинения, но Вольтер отказал ей, говоря, что прежде должен поднести его королевской фамилии. Тотчас же поехала она к Вольтеру и рассказала ему, что книга уже есть у Дрекселя, который получил ее от Лессинга. Вольтер вышел из себя от гнева, позвал своего секретаря, начал бранить его и тотчас же отправил его к Лессингу взять назад книгу, — книга была уже возвращена Дрекселем Лессингу, но, к несчастью, Лессинга не было дома, когда приехал к нему Ришье. Бедный секретарь воротился в унынии, извиняясь этим непредвиденным обстоятельством. Вольтер не хотел ничего слушать, бесился и бранился, крича на Ришье, что он и Лессинг украли у него полный экземпляр (хотя по счету видно было, что Ришье отдал только дефектные листы одной первой части), что они хотят сделать перепечатку его сочинения или издать его немецкий перевод, право на который было уже продано книгопродавцу Геннингу. Жестоко браня своего секретаря, он заставил его под свою диктовку написать к Лессингу письмо, наполненное грубыми или ядовитыми выходками и несправедливыми подозрениями, как видно, по ответу Лессинга, — это письмо затеряно, но ответ Лессинга, написанный по-французски, сохранился. Лессинг понял, что письмо Ришье продиктовано раздраженным Вольтером, и потому, возвращая книгу, без всяких колкостей в ответ на грубости письма, доказывал только, что никогда не имел намерения употребить во зло доверчивости своего друга, которого оправдывал совершенно, принимая всю неловкость поступка исключительно на себя: он знал, что это письмо будет прочтено Вольтером, и хотел помочь своему приятелю, которого своею неосторожностью поставил в невыгодное положение. Но уже поздно было помогать злополучному секретарю знаменитого автора: Вольтер тотчас же, как Ришье написал письмо, прогнал его от себя и в нетерпении написал сам Лессингу другое письмо, в котором, лстя Лессингу различными обещаниями, лишь бы только выманить из его рук драгоценную книгу, называл

своего секретаря плутом, вором и т. п., негодяем, который обманул Лессинга, выставив ему позволительным делом перевод или перепечатку, выгодами которой, конечно, хотел воспользоваться сам, употребляя Лессинга только орудием своей проделки. Книга, с прежним ответом на имя Ришье, была уже отправлена Лессингом в дом Вольтера, когда получено им было это второе письмо. Теперь, видя, что дело Ришье уже потеряно, Лессинг не имел надобности щадить Вольтера и написал прямо на его имя другой ответ, на латинском языке, которым выражался он свободнее, нежели французским, — ответ был такого рода, что, по выражению самого Лессинга, Вольтер не стал бы «выставлять его у окна на показ», — к сожалению, ответ этот не сохранился, и неизвестно даже, дошел ли он до Вольтера, который сберег только первый, французский ответ, а о втором не упоминает.

Ришье мало проиграл, потеряв место у Вольтера: он нашел себе другую, более выгодную должность, — из этого надобно заключить, что его репутация не пострадала от нелепого подозрения Вольтера: в самом деле, даже те люди, которые считали предположение Вольтера о переводе или перепечатке его книги справедливым, могли приписывать такое намерение только Лессингу, а никак не Ришье. И действительно, многие обвиняли Лессинга. Вольтер поднял страшный шум, — Вольтер, пользовавшийся милостью Фридриха II, глава французской литературы, обожаемый тогда всеми светскими людьми в Германии, конечно, скорее заслуживал доверия, нежели нищий кандидат медицины. В Берлине распространились толки, нимало не выгодные для Лессинга, — и, под влиянием этой неприятности, он решился послушаться отцовского желания, — уехать в Виттенберг, чтобы держать там экзамен на магистра \*.

\* Представим здесь пример того, как велико было беспристрастие Лессинга в его критической деятельности. Оскорбление, нанесенное Лессингу подозрением Вольтера, было очень велико: Вольтер на некоторое время запятнал его честность во мнении многих, — заставил его, — что всего мучительнее для благородного человека, — считать себя причиною неприятности, от которой пострадал его друг. Удаление из Берлина, конечно, разрушило многие планы и надежды Лессинга. Через год, вскоре по возвращении Лессинга в Берлин из Виттенберга, где он, по милости Вольтера, терпел страшную нужду, пришлось Лессингу писать рецензию о драме Вольтера, — и вот какова эта рецензия: «*Amalie, ou le Duc de Foix, tragédie de m-r de Voltaire etc.* Хвалить Вольтера так же излишне, как бранить Ганке \*\*. Гению дана власть все, что пишет он, писать превосходно:

*Was ihn bewegt, bewegt; was ihm gefällt, gefällt.*

*Sein glücklicher Geschmack ist der Geschmack der Welt.*

(Что трогает его, трогает всех; что нравится ему, нравится всем. Его счастливый вкус — вкус всей публики.) О, какой это поэт! И в старости сохранил он весь жар юности, как в юности он, кажется, вперед приобрел себе всю мудрость старости.

«Сюжет пьесы взят из истории средних веков, — не будем пересказыва-

\*\* Плохой поэт готтшедовой школы.

Там ожидали его новые неприятности. К бедности он уже привык; но все-таки в Виттенберге было ему очень тяжело: в Берлине он успел уже несколько определить свое положение и оставить некоторые, хотя еще незначительные, связи с книгопродавцами, от которых тогда совершенно зависела судьба немецких писателей, — там он если и нуждался, порою очень нуждался, то, по крайней мере, имел каждый день обед, — правда и то, что обед был не роскошен. Но в Виттенберге часто и того не бывало, — иной день обходился, судя по словам брата, и без всякого обеда, роскошного или нероскошного. А между тем Лессинг работал страшно много, — не для приготовления к магистерскому экзамену, что, конечно, не требовало со стороны его особенного труда, а для того, чтоб иметь насущный кусок хлеба: он попрежнему перепродавал, писал статьи во всевозможных родах, издавал (то есть продавал книгопродавцам за несколько талеров) различные сборники своих статей и т. д. Той цели, о которой наименее заботился, Лессинг достиг без затруднений, — он сделался магистром и тем отчасти утешил отца, — но другую задачу, самую настоятельную, — задачу об обеде, он никак не мог решить в Виттенберге удовлетворительным образом, — хотя бы не для вкуса, по крайней мере для желудка, — потому, пробыв около года в Виттенберге, он возвратился (в конце 1752 года) в Берлин, где стал снова писать рецензии для Фоссовой газеты, — дело которым он обеспечивал свой скудный стол и до отъезда в Виттенберг. С тем вместе принялся он и за издание собрания своих сочинений, которых в течение двух следующих годов (1753 и 1754) вышли четыре части. Издание это было принято, как мы видели, независимыми от Готтшеда журналами с большим одобрением, публикою с живым сочувствием, — лирические стихотворения и драматические пьесы Лессинга были немедленно причислены к «лучшим украшениям германского Парнаса», и автор их признан «одним из писателей, приносящих славу своему отечеству». Для другого это значило бы очень много: мы уже говорили, какою необыкновенною честью должно считаться, что публика и журнальные аристархи, привыкшие преклоняться только перед литературною престарелостью, с

---

вать его, потому что не хотим отнимать у читателей наслаждения, которое доставляется в чтении неизвестностью развязки, и заметим только, что «Амалия» — драма без кровопролития; она может служить поучительным примером того, что трагическое состоит не в одной только резне. Какие ситуации, какой драматизм в чувствах. Скажем смело, в этой трагедии автор превзошел самого себя».

Так говорил Лессинг о произведении писателя, который как человек грубо и пошло оскорбил его как человека. Тут нет никакого следа личной неприятности, которою был оскорблен автором критик. Однако этого примера было бы достаточно, чтобы судить о том, какая бесконечная разница была между критикою Лессинга и рецензиями, пасквилями и панегириками готтшедианцев и бодмерианцев, где сущность дела исключительно состояла в том, чтобы тешить собственное самолюбие.

первого раза почувствовали необходимость сравнить юношу (Лессингу было тогда 24 года) с ветеранами литературной славы. Но для Лессинга этот успех был бы очень ничтожен, — да и для немецкой литературы было бы немного сделано Лессингом, если бы он стал пользоваться только честью «быть одним из лучших писателей своего времени», — мы видели во второй статье, каковы были эти тогдашние «лучшие писатели». Но в то же время, как они признавали Лессинга равным себе, думая тем оказывать ему необыкновенную честь, он делал для немецкой литературы нечто более важное, нежели его песни и первые пьесы, и приобретал известность более громкую, нежели те писатели, имена которых были наиболее славны: он дал новую жизнь немецкой критике и, обнаружив недостаточность того, чем довольствовались публика и литераторы до него, возбуждал в публике потребность лучшей литературы, указывал литераторам необходимость быть иными людьми, нежели каковы были они до сих пор, писать не то и не так, что и как писали они до сих пор.

С самого начала суждения Лессинга были независимы от духа партий, которые бесплодно ссорились из-за удовлетворения личным тщеславием. Бодмер и Готтшед были равны в его глазах, и если он восставал против Готтшеда чаще, нежели против Бодмера, причиною тому было не предпочтение швейцарцев саксонцам, а то обстоятельство, что Готтшед, по своему личному характеру, более заслуживал негодования, бесстыднее интриговал в литературе, нежели Бодмер, и пошлым образом восставал против всего даровитого в литературе, особенно против Клопштока, которого достоинства признавались швейцарцами. Но и швейцарцы не были нимало щадимы Лессингом. Скоро поднялись против нового критика вопли от всех тщеславных писателей, пустоту славы которых он разоблачал. Но вся полемика, ими поднятая против Лессинга, послужила только к увеличению его известности. Мы расскажем из этих случаев только два, наделавшие особенного шума.

В Галле находился кружок литераторов, состоявших в союзе с Бодмером против Готтшеда; главою этого кружка, — так называемой галлесской школы, был Ланге, пользовавшийся громкою славою за свои «Горацианские оды» — анакреонтические стихотворения, написанные в подражание Горацию. За исключением готтшедянцев, находившихся во вражде с этою литературною партией, все чтили Ланге как одно из самых ярких светил на горизонте немецкой поэзии. На самом же деле он, подобно другим тогдашним светилам, был человек с довольно ограниченным умом, посредственным талантом, безмерным самопоклонением и, вдобавок, точно так же, как остальные члены его школы — Мейер, Глейм, Вазер, Зульцер, Гирцель и его друг Пира, развил в себе сладостнейшую приторность в дружбе, то есть в делах взаимного восхваления. Все они плакали от дружеского восторга при свиданьях, целовались лично и письменно бесчисленное множество

раз и вообще имели чувства, совершенно маниловские. Стихотворения Пирры и Ланге были даже соединены Бодмером (без ведома авторов — сладкий дружеский сюрприз) в одну книжку (символ единства их сердец), под трогательным заглавием «Дружественные песни Тирсиса и Дамона»\*. Эти песни также пользовались большою славою. Пира ставил своего друга наряду с Мильтоном. По смерти Пирры, он, став единственным корифеем школы, сделался предметом еще беспредельнейшего восхваления. Жена его, которой дали в поэтическом кругу имя Дориды, прославилась уже тем, что писала подражания стихотворениям мужа. Превознесенный за подражания Горацию, Ланге вздумал, наконец, перевести его оды; объявления о том, что великий поэт предпринял этот прекрасный труд, были сделаны заранее, а в 1752 году напечатан был и перевод. Тут постигла его неожиданная беда.

Во второй части своих сочинений Лессинг напечатал ряд писем, содержанием которых были исследования о старинной литературе, разборы некоторых новых книг и т. д. В двадцать четвертом письме дело шло о переводе горацевых од Ланге, и суждение критика было очень неблагоприятно для знаменитого автора.

«Вы, без сомнения, помните, — говорил Лессинг в своем письме какому-то г-ну Ф., на имя которого было оно адресовано, — как высоко уважал я всегда «Горацианские оды» и их автора, г. Ланге. Я всегда считал его одним из главнейших наших поэтов и с нетерпением ожидал обещанного им перевода Горация. Наконец перевод явился, и я, можно сказать, не прочитал, а проглотил его. До сих пор не могу еще оправиться от изумления, в которое он меня привел.

Но — увы! изумление мое было вовсе не такого рода, как я надеялся, — не изумление от чрезвычайных красот, а изумление от чрезвычайных ошибок. Первый же взгляд, упавший на четырнадцатую оду пятой книги, — на этом месте раскрылся перевод, — привел меня в ужас».

Дело в том, что Ланге часто не понимал подлинника и, например, в этой оде *rosula somnum ducentia* — «чаши, наводящие сон» — переводит «двести чаш сна», воображая, что *ducentia* (наводящие) все равно, что *ducenta* (двести).

В самом деле ошибка эта чрезвычайно груба.

«Просмотрев книгу, — продолжает Лессинг, — я на каждой странице заметил подобные промахи, и результат этих замечаний был таков: г. Ланге, утверждающий, что девять лет занимался этим трудом, потерял девять лет; и совершенно непостижимо, каким образом мог он счастливо подражать Горацию, не понимая его». В подтверждение такого суждения, критик при-

---

\* Мы не приукрашиваем заглавия: *Thirsis und Damons freundschaftliche Lieder* (1745) — это восхитительно, но мы можем противопоставить иноземному прекрасному свое, не менее прелестное: «Печальные, веселые и унылые тоны моего сердца» Рындовского (1809); «Вздохи сердца» (1798), к сожалению, без имени автора, «Цветы граций» князя Шаликова (1802) и известные «Цветок на гроб моего Агатона» и «Бытие моего сердца». «Прелести детства и удовольствия матерния любви» Андрея Стахива, к несчастью, не могут быть предметом нашей гордости, потому что переведены с французского.

водит десятка полтора других грубых промахов переводчика и оканчивает: «Благодарите меня, что я не наскучаю вам гораздо большим числом таких вещей. Но и этих довольно, чтобы покачать головою над словами человека, хвальщеского в предисловии тем, что хотел дать буквальный и верный перевод. Силен ли, поэтичен ли, гладок ли, обладает ли каким-нибудь другим достоинством этот перевод, пусть решают другие, а я не знаю, как искать в нем какого-нибудь достоинства».

Можно вообразить себе гнев знаменитого поэта! Он отвечал критику, но, к своему величайшему несчастью, хотел из оборонительного положения перейти в наступательное и, не ограничиваясь опровержением замечаний Лессинга, набросить тень на его характер, выставив, что строгость Лессинга — следствие неудачи его своекорыстных ожиданий. Письмо Лессинга было перепечатано в «Гамбургском корреспонденте», и Ланге напечатал «Письмо к автору статьи о переводе Горация, помещенной в «Гамбургском корреспонденте». Тут говорилось, что через одного общего знакомого Лессинг предлагал Ланге не печатать замечаний, если Ланге даст ему за то известную сумму, но что Ланге не согласился платить дань журнальному крикуну, и за то Лессинг озлобился против него.

На самом деле случай, который Ланге выставлял в таком дурном виде, произошел следующим образом. В марте 1752 года, когда жил в Виттенберге, Лессинг познакомился с галлесским профессором Николаи \*, который проездом посетил Виттенберг. По возвращении Николаи в Галле они стали переписываться между собою. В первом же письме Лессинг говорил, между прочим, что прочел перевод Горация, сделанный Ланге, нашел в нем большие ошибки и хочет указать их в какой-нибудь газете. Николаи, бывший близким другом Ланге, заботясь о литературной славе своего друга, отвечал Лессингу: «Я не советовал бы никому, намеревающемуся жить в прусских владениях, нападать на г. Ланге, потому, что он пользуется силою при дворе. Но я знаю его за человека, который слушается добрых советов, когда ему хорошенько объяснят дело. Потому надобно бы объяснить ему эти ошибки. Я думаю, не предложить ли ему самому быть издателем написанных вами против него замечаний, с тем чтобы он мог воспользоваться вашими поправками при новом издании своей книги или отдельно напечатать их. Конечно, он должен при этом заплатить автору их гонорарий, как вообще издатель платит автору за рукопись». В своем ответе Лессинг деликатным образом отклонял предложение Николаи быть посредником между ним и Ланге; ему неприятно было, что Николаи считает его таким корыстолюбивым человеком, который за деньги откажется от намерения печатать статью, — он хотел, чтобы Николаи не навязывался более с своим

---

\* Этого галлесского Николаи не должно смешивать с известным берлинским писателем-книгопродавцем Николаи, с которым Лессинг познакомился через два года.

посредничеством, которого Лессинг вовсе не желал, и, действительно, он не послал своих замечаний в рукописи ни к Ланге, ни к Николаи — ясное доказательство того, что он вовсе не намерен был иметь сношений с Ланге и не хотел пользоваться предложением Николаи. Но Николаи сообщил Ланге о том, что писал ему Лессинг, и о своем предложении Лессингу, замечая, впрочем, что ни в каком случае Лессинг не откажется напечатать своих замечаний.

Этим случаем воспользовался Ланге, чтобы, отвечая на замечания Лессинга, прибавить, что он продажный зоиц, заставляющий авторов откупаться деньгами от его нападений.

Лессинг вознегодовал, прочитав гнусное обвинение, возведенное на него Ланге, и решился ответить ему так, чтобы надолго остался памятен в литературе этот ответ; решение это не было только следствием оскорбленного чувства, — позднее, во время полемики с Клоцем, Лессинг говорил о своих страшных возражениях: «Много горячих слов я употребил, но ни одного из них не сказал только по увлечению — нет, именно каждое из них надобно было сказать, и каждое оставлено на своем месте по холодному, беспристрастному убеждению, что польза литературы и справедливость того требуют». Так было и теперь. Лессингу необходимо было беспощадным образом доказать совершенную основательность своего прежнего приговора о переводе Ланге, чтобы не оставалось ни в ком ни малейшего сомнения, что он не увлекался какими-нибудь личными отношениями, объявляя этот перевод плохим; он должен был неумолимо наказать человека, взводившего подозрения на чистоту его характера, чтоб отнять у других охоту следовать примеру Ланге, — это было тем необходимее, что уж не в первый раз литературные замечания его подавали повод к подобной клевете, совершенно такой же случай был с ним по поводу замечаний на словарь Йохера.

«Словарь ученых» (*Gelehrtenlexicon*) Йохера — произведение громадной учености и ужасающего трудолюбия, — работа, по достоинству и громадности подобная греческому словарю Генриха Стефана, словарям средневекового латинского и средневекового греческого языка Дюканжа, латинской и греческой библиотекам Фабриция, библиографическим словарям Эберта и Керара. Страшно и подумать о том, сколько жизни и знания, сколько терпения и труда нужно было употреблять каждому из этих знаменитых ученых, чтобы дать, наконец, науке «сокровище», как и назвал свой словарь Генрих Стефан. Зато действительно можно назвать подобные работы «сокровищами науки» — они навеки остаются необходимыми справочными книгами для всех позднейших исследователей. И когда, с течением времени, с накоплением новых фактов, необходимы бывают новые дополненные издания подобных трудов, целые общества ученых соединяются для совершения столь исполинского дела, — так недавно делалось сотруд-

ничеством почти всех филологов Западной Европы новое издание греческого словаря Генриха Стефана.

Странно, неправдоподобно дело, предпринятое Лессингом, когда явился «Словарь ученых» Йохера. Рассматривая его, он вздумал издать дополнения и поправки к этому гигантскому труду, — работа, требующая столько же учености и труда, как и самое составление «Словаря». Лессинг был в то время двадцатитрехлетним юношею; последние четыре или пять лет юноша провел в том, что писал комедии, стихотворения, журнальные статьи для своего пропитания, — он был литературным поденщиком, — не для науки, а для куска хлеба он работал, — не о расширении знаний, а о том, как бы заработать себе полтора гроша на обед, надобно было ему думать, — ему ли быть приготовленным к совершению труда, за который он брался? Когда он успел приобрести громадные знания, нужные для того? Когда ему, нищему и полуголодному газетному чернорабочему, пишущему на срок статьи, переводящему французские, испанские, английские книги для того, чтобы получить от книгопродавца по двадцати или тридцати талеров за перевод тома, — когда ему писать эти дополнения и поправки, в которых каждая строка — результат разысканий, в которых для одной цифры, для одного слова нужно часто перерыть целую библиотеку?

Когда и как он успел это сделать, когда успел приобрести громадную ученость, когда находил время для справок и исследований, — это было уж его дело; но как бы то ни было, двадцатитрехлетний юноша объявил о своем намерении издать поправки и дополнения к «Словарю ученых» Йохера и при объявлении, как образец своего труда, напечатал первые три листа его, обнимавшие имена от *Abaris* до *Acciajoli*.

Йохер, прочитав эти поправки и дополнения, увидел, что в своем молодом критике имеет достойного продолжателя, получил высокое уважение к его учености и дружески просил Лессинга, вместо того чтобы печатать этот труд отдельно, сообщить свои материалы ему, Йохеру, который воспользуется ими при новом издании «Словаря ученых», объявив в предисловии участие Лессинга в улучшении этого труда. Лессинг согласился на это предложение, передал Йохеру собранные им материалы и получил за них от книгопродавца, издававшего «Словарь», вознаграждение, на которое имел право как сотрудник Йохера в приготовлении нового издания\*.

Отношения Йохера к Лессингу были дружелюбны и почетны для Лессинга. Своими замечаниями он приобрел глубокое уважение ученого автора, труд которого исправлял. Но в кругу виттенбергских недоброжелателей Лессинга (сношения с Йохером о материалах для исправления его «Словаря» происходили

---

\* По смерти Йохера эти материалы погибли.

в то время, как Лессинг жил в Виттенберге) распространилась нелепая молва, что Лессинг хотел запугать Йохера своею критикою, чтобы взять с него деньги. Надобно припомнить еще историю с Вольтером, принявшую также очень двусмысленный колорит по раздражительному крику знаменитого философа, и мы поймем, как необходимо было Лессингу положить конец подобным толкам, касавшимся его чести, когда Ланге вздумал кричать о низком его своекорыстии.

В деле с Вольтером Лессинг не платил оскорбителю печатными возражениями, чувствуя, что своею неосторожностью, действительно, подал ему повод к подозрениям, — он, как бы в наказание себе за эту неосторожность, решился молчать, — его строгость к самому себе вполне проявилась этим молчанием. В деле Йохера клевета ограничивалась изустными толками, не выражаясь печатно, и Лессингу не было еще возможности печатно опровергать ее. Но Ланге обвинил его печатно, относительно Ланге он не мог винить себя ровно ни в чем, ни даже в каком-нибудь мелочном формальном проступке, и он отвечал Ланге. Ответ был страшен, он сделал дерзкого клеветника посмешищем в немецкой литературе, и до сих пор считается образцом едкой полемики.

Рецензии «Фоссовой газеты» не подписывались именами авторов; но когда был напечатан пасквиль Ланге, Лессинг, уведомляя о появлении этой клеветы, подписал свое извещение о брошюре полным своим именем:

«Сейчас получил я (сказано было в «Фоссовой газете» 27 декабря 1753 года) брошюру в два печатных листа, в 8 д., под заглавием: «*Письмо Самуэля-Готтгольда Ланге к редактору ученого отдела «Гамбургского корреспондента», по поводу рецензии перевода Горация, напечатанной в №№ 178 и 179 этой газеты*». Тут г. Ланге делает мне честь, отвечая на мою критику, а себе бесчестье, отвечая на нее невообразимо пошлым образом. Желая оправдать свои прежние ошибки, он, что ни слово, делает новые. Они, кажется, состязаются о том, которая из них сделает его более смешным, и достигают своей цели так удачно, что нужно мне подумать несколько дней, чтобы решить, которой отдать пальму первенства. Но относительно одного пункта я поспеваю отвечать ему: чего я никогда не ожидал услышать от разумного человека, слышу от него, уже не в первый раз превосходящего мои ожидания своими подвигами. Он касается моего нравственного характера, до которого, кажется, не нужно бы касаться в деле о грамматических ошибках. На 25-й странице он выставляет меня в отвратительном свете, выставляет меня критическим бандитом, который вынуждает писателей откупаться от его ударов. Я могу отвечать на это только тем, что объявляю г. Ланге злостным клеветником, если он не представит доказательств обвинению, взведенному на меня этою страницей. Пусть он докажет истину своих слов — впрочем, я требую от него невозможного, а мне слишком не трудно доказать его лживость, и именно письмом того самого «посредника», на которого он ссылается. В своем соответе я представляю это письмо публике, и тогда увидят, что предполагаемая г-м Ланге низость никогда не приходила мне в голову. А до того времени остаюсь его покорнейшим слугою.

Готтгольд-Эфраим Лессинг.

Через три недели появилось знаменитое «Vademecum для г. Ланге», имеющее форму письма к Ланге. «Милостивый государь (так начинает Лессинг), не знаю, нужно ли мне извиняться, что я без всяких околичностей обращаюсь с своим ответом прямо к вам. Но уж у меня такая привычка. Когда я должен сказать что-нибудь человеку, то прямо и говорю это ему самому, хотя бы он и сердился за то. Эта привычка, как меня уверяли, не дурна. Потому я и держусь ее.

«От глубины сердца я стыжусь, что встретил себе в вас жалкого противника. Что вы действительно жалкий противник, докажу я вам в первой части моего письма. А вторая часть докажет вам, что, кроме незнания, обнаружили вы своей антикритикой очень пошлые правила, яснее сказать, что вы клеветник. Первая часть будет иметь два подразделения. Сначала я докажу, что защищаемых вами от моего осуждения мест вашего перевода вы не успели защитить, да и нельзя их защитить. А потом я буду иметь удовольствие услужить вам указанием некоторого количества новых ошибок в вашем переводе.

«Чтобы несколько успокоить волнение кипящей крови, милостивый государь, очень полезно вам будет выпить стакан свежей ключевой воды, прежде нежели мы займемся делом. Так. Выпейте еще стакан. Теперь начнем».

Каламбуры, остроты всякого рода сыплются на бедного Ланге при разборе тех мест перевода, которые он захотел защитить от упрека в неверности. Едкость насмешки постоянно соединена с самой искреннею веселостью, — видно, что в самом деле борьба с Ланге слишком легка, не более как забавна для его критика. О резкости тона можно судить по началу. Но уже и тут заметна манера, которой впоследствии постоянно следовал Лессинг: он умеет, начиная с какого-нибудь неважного спора о значении латинского слова, придавать этому спору важность для науки, переходя эпизодически к объяснению того или другого серьезного вопроса науки, и его спор с Ланге усеян замечаниями, которые важны для классической филологии, для латинских и греческих древностей, для истории или философии\*.

---

\* Укажем хотя один пример: «Priscus Cato» (кн. 3, ода 21) Ланге переводит «Приск Катон», принимая прилагательное priscus — старинный — за собственное имя:

(Недаром говорят, что и Катон старинный  
Нередко доблести подогревал вином.

Перевод г. Фета.)

Это ошибка самая грубая, очевидная для всякого, совершенно бесспорная, вроде того, как у нас французское заглавие книги Гельвеция:

De l'Esprit, par Helvetius, fermier-général

(О духе, соч. генерального откупщика Гельвеция),

было, говорят, когда-то переведено: «Сочинение швейцарского генерала Фермиера». Лессинг не ограничивается насмешками над грубостью ошибки — нет, пользуясь случаем, он вставляет генеалогическое исследо-

Уничтожив все возражения Ланге, доказав, что ошибки, указанные им в прежней рецензии, действительно грубые ошибки, Лессинг переходит ко второму подразделению первой части своего ответа — подбору новых, еще грубейших ошибок, таким образом:

«Довольно, слишком довольно, — а впрочем, для такого человека, как вы, милостивый государь, все еще будет мало, потому что труднее всего на свете учить старого высокомерного идиота. Впрочем, я сам до некоторой степени виноват, что наделал себе скуки — зачем я не приводил в рецензии все только таких примеров, как *discentia* \*.

«Но, чего я не сделал тогда, сделаю теперь, — пора заняться подбором новых ошибок в вашем переводе, причем я прошу вашего позволения пересмотреть с вами одну первую книгу од. Нарочно говорю: одну первую, потому что мне некогда пересматривать остальных, — у меня есть дела более важные, нежели исправление ваших упражнений в латинском языке. И вперед обещаю вам в каждой оде этой книги показать по крайней мере одну непростительную ошибку. Я тороплюсь и всех, — даже первостепенных, — конечно, не успею подметить, — потому мое молчание о многих ошибках да не будет почтено предосудительным для них: они-таки пусть и останутся ошибками полного достоинства, все равно как бы и упомянуты были мною. Но придемся за дело».

И действительно, проходя по порядку из 38 од первой книги все 37 од, кроме последней, в каждой из них Лессинг указывает грубую ошибку и, наконец, для разнообразия, о последней оде говорит:

«В ней нет грубых ошибок — зато она и состоит всего из восьми стихов — нужды нет, она искупает собою все прежние: *Ende gut, Alles gut*, — конец дело красит».

«Вот мы кончили. Я вам отвечал и больше отвечать не стану, хотя бы десять раз принимались вы за оправдания, — я стану только ждать, что будет говорить публика. Она уж начинает принимать мою сторону, и я еще надеюсь дожить до того времени, когда едва будут вспоминать, что немецкий поэт Ланге перевел Горация. И мою критику тогда забудут, — чего я и желаю, потому что гордиться ею мне нельзя. Вы не такой противник, в борьбе с которым была бы возможность обнаружить силу. Мне бы с самого начала следовало пренебречь вами, — и я, наверное, пренебрег бы, если бы не вынуждала у меня истины ваша гордость и предубеждение публики, что вы замечательный поэт. Я показал вам, что вы не знаете ни языка, ни филологической критики, ни древностей, ни истории, не знаете ровно ничего, — чего ж еще требовать от меня?»

«Все это, милостивый государь, было бы еще небольшим позором для вас, если бы я не должен был вместе с тем обнаружить перед публикою, что ваши правила очень низки и что, просто говоря, вы клеветник. В этом

---

вание о роде Катонов и объясняет место в плутарховом жизнеописании старшего Катона, остававшееся до того времени темным. В литературном отношении ученые сочинения Лессинга приобретают, от этой почти фельетонной манеры эпизодичности, чрезвычайную живость и разнообразие, так что, например, его «Письма антикварского содержания», главный предмет которых — исследование о камнях и резных драгоценных камнях у древних, читаются очень легко.

\* См. выше — «двести чаш сна» вместо «снотворные чаши» — этой ошибки Ланге не защищал.

должна состоять вторая часть моего письма, которая будет гораздо короче, зато и гораздо сильнее первой.

«Спор между нами, милостивый государь, шел о грамматических делах, то есть о мелочах, мелочнее которых не может быть ничего на свете. Никогда бы я не вообразил себе, что разумный человек может принять оскорблением себе упрек в этом незнании, — принять оскорблением, за которое надобно мстить не одною грамматической, но и злостной ложью. Я упрекал вас в ученических промахах — вы старались обратить эти упреки на меня и тем, кажется, могли бы довольствоваться. Нет, вам было мало ограничиться возражениями, — вы захотели сделать меня человеком отвратительным, гнусным в глазах честных людей. Каковы правила! Но каково и ослепление — взводить на меня обвинение, которого во веки веков не только не можете вы доказать, — не можете даже сделать правдоподобным.

«Вы говорите, будто бы я вам предлагал деньгами откупиться от моей критики. Я? Вам? Откупаться деньгами? Несчастье было бы для меня, если б я мог возразить вам только требованием доказать справедливость этого обвинения, — требованием, невозможность исполнить которое обличала бы вас, — нет, к счастью, я имею в руках средства положительным образом обличить вас.

«Тот посредник, через которого, как вы говорите, я делал вам низкое предложение, должен быть не кто иной, как г. Н., о котором вы упоминаете на 21 странице, потому что он единственный человек, лично знакомый и с вами и вместе с мною, и единственный человек, которому я говорил о моем разборе вашего «Горация» прежде, нежели этот разбор был напечатан. Слушайте же.

«В марте 1752 года, этот г. Н. проезжал через Виттенберг, когда я жил там, и почтил меня там своим посещением. Я его до того времени никогда не видывал и знал только по его сочинениям. С вами же он связан был многолетней, тесной дружбой. По возвращении его в Галле мы стали перепискою продолжать начавшиеся между нами дружеские отношения».

Следует рассказ, приведенный нами выше. Представив читателям подлинное письмо Николаи, заключающее предложение сделки с Ланге и сообщенное нами выше, Лессинг продолжает:

«Повторяю, это писал человек, с которым я в целую свою жизнь виделся только однажды, а вы были давно друзьями. У меня нет желания уподобляться вам, взводя на людей низкие обвинения, — иначе мне легко было бы обратить ваше обвинение против вас и придать правдоподобность мысли, что вы сами руководили предложениями вашего друга. Но, как это ни правдоподобно, я не верю тому, зная добродушный характер этого посредника, без сомнения, действовавшего по собственной мысли. Я рад, если он сохранил мои ответы ему, и хотя не припомню в точности, как именно отвечал я на его предложение, но достоверно знаю, что я ни слова не говорил ни о деньгах, ни о вознаграждении. Признаюсь, мне было несколько досадно, что г. Н. считал меня таким жадным на деньги человеком. Согласившись даже, что по моей житейской обстановке он заключил, что денег у меня не слишком много, я не могу понять, каким образом он мог предположить, что для меня равны всякие средства к их приобретению. Во всяком случае уже то самое обстоятельство, что я не послал ему рукопись своей рецензии, он должен был бы считать молчаливым неодобрением своего предложения, хотя бы я мог принять это предложение без нарушения моих правил, потому что оно делалось без малейшего содействия с моей стороны.

«Что вы теперь будете отвечать? — Вероятно, вы постыдитесь за себя. Но нет, клеветники выше чувства стыда.

«Впрочем, на свое несчастье вы были злы: уверяю вас, что без той лжи, о которой я говорю, ваш ответ не заставил бы меня взяться за перо.

Я легко перенес бы, что вы, senex ABC darius (старый школьник), называете меня молодым, наглым критиком и т. п., что вы говорите, будто бы вся моя ученость взята из Бэйля и т. д., — легко перенес бы я подобные пустяки, на которые и не отвечаю. Об учености или неучености моей позволительно каждому судить, как угодно. Но чернить мою честность я никому не позволю безнаказанно и буду всегда называть вашу фамилию, когда случится мне надобность указывать пример мстительного лжеца.

«Этим уверением заключаю мое письмо. Имею честь быть вашим... Нет, этого не нужно. Я вижу, что мое письмо обратилось в целую статью. Зачеркните же слова «милостивый государь» в его начале. Остается мне теперь только напечатать его в 12 долю листа, чтобы оно соответствовало вашему замечанию по поводу формата моих сочинений\*, чтобы оно было для вас действительно «Vademecum», который советую вам чаще перечитывать для улучшения вашего ума и характера; я переплету эту брошюру в обертку, какая употребляется для азбук, и с приличным посвящением пришлю вам. Желая, чтобы подарок принес вам пользу».

Ланге пытался возражать, но его уже никто не слушал; некоторые из литературных врагов Лессинга или клиентов Ланге — впрочем, немногие, — хотели было защищать Ланге, — напрасно, все смеялись над их слабыми усилиями. Поэтическая слава несчастного Ланге была совершенно уничтожена: публика и все независимые писатели приняли сторону Лессинга, имя его получило чрезвычайно громкую известность.

Нет надобности говорить, что главная цель, которую имел он в виду — очищение своей литературной репутации от всяких нареканий, была совершенно достигнута. С этого времени, что бы ни говорили его литературные враги, он был уже безопасен в своей чести. Публика с негодованием отвергала, как низкую ложь, всякое нападение на чистоту его образа мыслей и намерений, непоколебимо веря, что каждый его поступок вынужден благороднейшими целями.

История Ланге может служить одним из доказательств пользы, какую полная гласность приносит безупречности доброго имени тех людей, которые могут назваться благородными; может служить доказательством того, что честному человеку нет нужды бояться кривых толков, как только достигают они гласности. Страшна клевета только тогда, когда она укрывается во мраке. Не вздумай Ланге печатно называть Лессинга продажным человеком, быть может, или, лучше сказать, без всякого сомнения, на добром имени Лессинга до сих пор лежало бы пятно: втихомолку, от одного из знакомых Ланге к другому, от другого к третьему, распространялся бы слух о том, как Лессинг хотел взять с Ланге деньги и ожесточился против него только за то, что не успел взять денег. Эта молва достигла бы до следующего поколения, которое уж не имело б средств проверить фактов и

---

\* Лессинг любил маленький формат, в 12 долю, и его сочинения были напечатаны в этом формате, тогда еще мало употребительном в Германии. Ланге придумал грязную шутку об этом формате сочинений своего критика.

должно было бы верить рассказу в том виде, какой дала ему раздражительная подозрительность Ланге.

В самом деле, рассказ этот должен был бы показаться правдоподобным. Лессинг страшно нуждался в деньгах, когда писал и потом печатал разбор Ланге; Николаи писал Ланге, что Лессинг согласен продать ему рукопись своей рецензии, очень едко написанной. Чего же больше? Дело ясное, Лессинг хотел, чтобы Ланге откупился от его нападений.

Эти факты придавали правдоподобность обвинению; было и другое обстоятельство, еще более затруднявшее защиту: Лессинг, не сохранив у себя копий с писем своих по этому делу, не помнил в точности, как именно отвечал он на предложение Николаи; письма были в руках противной партии, — при малейшей и самой ничтожной неточности в изложении дела Ланге мог обвинить Лессинга в искажении фактов, в лжи и тем придать новую правдоподобность прежнему обвинению.

Лессинг не считал нужным прикрывать эти затруднения: он прямо говорил: «я нуждался в деньгах; предложение было выгодно; я не помню в точности, как именно я отвечал на него», — он, как видим, совершенно пренебрегал всякими уловками и решительно выиграл дело во мнениях всех; прямота заменила для него все другие средства уверения. Сознание нравственного и умственного превосходства над всеми противниками, никогда не изменявшее Лессингу, и здесь выразилось с такою силою, что не осталось возможности сомневаться в справедливости его слов.

Вообще, с самого начала критической деятельности, Лессинг постоянно чувствовал себя сильнейшим; вступая в полемику, он всегда был уверен, что противник покажется публике слаб, туп и вял в сравнении с ним; всегда был вперед уверен, что спор не может кончиться иначе, как совершенным поражением его противника. Он был чужд сомнения в своем торжестве, чужд всяких опасений за себя. Потому его полемика, чрезвычайно энергическая, в то же время отличается редким самообладанием, ясность его взгляда, веселость его шуток, если он хочет шутить, не возмущается ничем, и укоризны его противнику никогда не переходят границ самой строгой справедливости, — он выражается резко, но мысль, выраженная беспощадно, всегда выдерживает проверку самого строгого беспристрастия.

До какой степени он сохранял чувство превосходства над своими противниками, можно видеть из следующего случая. Готтшедианцы, над которыми он жестоко смеялся, вздумали отпечатать ему особенным памфлетом, который называли «Possep» — «Шутки в карманном формате», — последние слова заключали намек на маленький формат, в котором печатались сочинения Лессинга. С тем вместе готтшедианцы прислали в редакцию «Фоссовой газеты» (в которой писал Лессинг) рецензию этой брошюры. Что же сделал Лессинг? — Вот его статья:

«На-днях явилась брошюра из двух печатных листов, в 12-ю долю листа, под заглавием: «Шутки в карманном формате». Автор, или один из приятелей автора, имел предусмотрительность прислать в редакцию нашей газеты следующую рецензию (следует присланная рецензия, написанная в похвалу брошюры). Понимаем, г. панегирист. И, чтобы поняли вы все, скажем прямо, что эти шутки, которые

ipse

Non sani esse hominis, non sanus juret Orestes

(сам безумный Орест назовет написанными безумцем), — что эти «Шутки», по всему вероятно, должны быть насмешкой над форматом и внешнею формою сочинений Лессинга. Они стоят три гроша. Но и трех грошей никто не даст ради шутки. Каким же образом помочь брошюре распространиться в публике? Наша газета решилась сделать все возможное для достижения этой цели. Именно, мы перепечатали эту брошюру и назначили ей для продажи цену, какой она стоит, то есть нуль. Кто хочет иметь ее даром, может получить в книжном магазине Фосса.

Само собой разумеется, какое впечатление должна была производить подобная уверенность и на публику и на самых противников — с насмешливой улыбкой заботиться самому о распространении в публике брошюры, которая выдавала себя за злую сатиру лессинговых сочинений, — это мог сделать только Лессинг. Конечно, читая объявление, что брошюра, написанная против Лессинга, перепечатана самим Лессингом и даром у его книгопродавца раздается всем, желающим иметь ее, каждый думал: вероятно, сатира очень пуста и неудачна, вероятно, он гораздо выше своих противников, если так играет их нападениями.

В самом деле, очень скоро Лессинг приобрел в немецкой критике решительный голос; готтшедянцы, бодмерианцы и другие старые партии были совершенно уничтожены им во мнении публики, лишились всякого влияния на литературу, сделались предметом общих насмешек. Критические статьи в первых четырех частях его «Сочинений» и рецензии, которые он помещал в «Фоссовой газете», положили начало преобразованию литературных понятий; «Литературные письма» довершили это дело. С «Литературных писем» (1759—1760), которые начал он издавать при содействии Николаи и Мендельсона, начинается для немецкой литературы новая эпоха.

Мендельсон и Николаи, с которыми Лессинг сошелся вскоре после своего вторичного возвращения в Берлин, в 1754 году, остались навсегда ближайшими его друзьями в жизни и долго были истолкователями его мыслей в литературе. То и другое обстоятельство заставляют нас ближе познакомиться с этими обоими литераторами.

Николаи пережил Лессинга тридцатью годами и, в последнее время своей литературной деятельности, находился, как человек старых понятий, в жестокой вражде с представителями новой эпохи; Кант и Фихте, Гёте и Шиллер с одинаковою суровостью были осуждаемы им и, в свою очередь, отвечали устарелому критику не менее жестоким образом. В этой неравной борьбе

сильно пострадала литературная слава Николаи. Особенно жестокий удар нанесли ему во мнении публики и большинства писателей знаменитые «Ксении» Гёте и Шиллера — эти беспощадные эпиграммы, которыми гениальные друзья насмерть поразили своих литературных противников и в которых главным предметом насмешки был поставлен Николаи. Долго после того, забывая прежние его услуги литературе и просвещению, смотрели на Николаи как на поверхностного и злобного Зоила, который хотел задержать развитие немецкой литературы, чтобы сохранить свою власть в критике, и нелепым образом ратовал против всего истинно глубокого и прекрасного, что было выше его узких, односторонних и поверхностных понятий. Теперь, когда увлечение прошло, историки литературы признали, что и в последнюю эпоху своей деятельности Николаи оставался человеком честным и добросовестным, писателем умным и здравомыслящим; признали, что, ратуя против новых стремлений, он часто бывал прав, — если не в нападениях на таких людей, как Шиллер, Кант, Фихте и Гёте, которые действительно понимали истину глубже и шире, нежели он, то в спорах с Лафатером, Юнгом-Штиллином, Якоби, романтиками и т. д., — так что даже и в эти годы, когда он навлекал на себя вражду лучших людей немецкой литературы, он был не бесполезен в борьбе с обскурантами и мистиками. Еще гораздо больше пользы принес он литературе в прежнее время, когда действовал по внушению и под руководством Лессинга, моложе которого был он четырьмя годами (род. 1733).

Сын берлинского книгопродавца, Николаи был почти совершенно самоучка, потому что посещал только гимназические классы и мальчиком еще отдан был отцом в книжную лавку одного из отцовских товарищей по ремеслу, во Франкфурте-на-Одере. Тут он много имел свободного времени и с жадностью читал все книги, какие только попадались ему в руки. В 1752 году, когда отец взял его в свою лавку, в Берлине, Николаи был уже образованным человеком, завел знакомство с лучшими берлинскими литераторами — Клейстом, Зульцером, Рамлером и в следующем году издал брошюру, направленную против Готтшеда и наделавшую довольно радости бодмеристам, довольно огорчения готтшедьянцам. Но радость швейцарцев была непродолжительна: в следующем году Николаи напечатал «Письма о нынешнем состоянии изящной литературы в Германии», в которых нападал на обе партии с равной едкостью. Это сочинение внушено было молодому книгопродавцу изучением лессинговых статей и написано совершенно в духе Лессинга, только с тем различием, что Николаи не чувствует в себе смелости судить о стародавних знаменитостях, например Бодмере, так резко, как Лессинг, и, осуждая последователей, щадит учителей. «Из двух партий, разделяющих господство над литературой, имеет ли та

или другая право ожидать, чтобы к ней пристал человек, одаренный вкусом? — говорит Николаи: — нет, недостатки той и другой слишком очевидны. Нам необходима строжайшая критика, если мы хотим иметь произведения, которые дошли бы до потомства; тем необходимее она, если справедливо то, что мы еще не умеем отличать мишурных прикрас от истинной красоты, если справедливо, что наши таланты считают излишним делом серьезность и обдуманность, а трудолюбивым нашим писателям недостает таланта».

«Письма» эти доставили Николаи случай лично познакомиться с Лессингом, которому попался в руки один из оттисков первых листов книги, разосланных по книжным лавкам вместо объявлений. Он увидел в Николаи даровитого последователя своих мнений и сделался его руководителем, так что в конце книги заметны уже следы личных разговоров Николаи с Лессингом.

Николаи был человек с практическим направлением, человек с сильным здравым смыслом, с деятельным, твердым характером, обладавший знанием людей, умением обращаться с ними и искусством расчетливо вести свои денежные дела. Он был рожден для того, чтобы сделаться журналистом, и, действительно, несколько десятков лет сохранил он первенствующее положение в немецкой журналистике. Его «Библиотека изящных искусств», начатая под давлением Лессинга и предшествовавшая «Литературным письмам», была, в свое время, очень полезным критическим журналом. «Всеобщая немецкая библиотека», основанная после «Литературных писем» и продолжавшаяся более сорока лет, была самым важным из немецких журналов по своему огромному влиянию на публику, в которой «Всеобщая немецкая библиотека» распространила массу новых светлых понятий. То, что составляло достоинство этого журнала, было, можно сказать, только повторением и развитием идей, которыми одушевил Лессинг первые томы «Литературных писем», навсегда оставшиеся образцом немецких критических журналов.

Лучшими своими качествами журналы, которые издавал Николаи, были обязаны Лессингу; образ мыслей самого Николаи развился совершенно под его влиянием. Еще прямее было участие Лессинга в развитии Мендельсона — человека, игравшего также важную и чрезвычайно благородную роль как в развитии немецкой литературы, так и в развитии того племени, к которому он принадлежал\*.

---

\* Из сочинений Мендельсона в старину у нас были переведены два, принадлежащие к числу важнейших: «Рассуждение о духовном свойстве души человеческой», перев. Я. Толмачева, М., 1806 г., и «Федон или о бессмертии души», М., 1808 г. «Федон» недавно вышел вторым изданием, в другом новом переводе.

Сын бедного еврея, учителя в сельской еврейской школе, Мозес Мендельсон был воспитан отцом на Талмуде, хитрые и суеверные учения которого надобно считать одною из главных причин недостатков, которыми страждет характер евреев во многих странах. Во времена Мендельсона немецкие евреи находились в таком же положении, как ныне польские и русские. Они были слепыми поклонниками талмудических бредней, занимались почти исключительно не совсем чистыми промыслами, были в общем презрении не только у простолюдинов, но и у людей образованных, которые считали это племя безвозвратно испорченным в нравственном отношении. Мендельсону, больше нежели кому-нибудь другому, его соплеменники обязаны тем, что и сами во многом избавились от своих прежних недостатков, и тем, что предубеждение, отдалявшее от них людей других исповеданий, ослабело. Любознательность рано пробудилась в Мендельсоне, который на семнадцатом году приехал в Берлин, чтоб искать там средств для жизни, и долгое время терпел страшную нужду, не мешавшую ему, однако же, сильно заниматься древними языками и философиею. Через несколько времени юноша нашел себе покровителя в своем соплеменнике, докторе Гумперце, потом поступил учителем детей к другому еврею, богатому фабриканту Бернгарду, у которого был потом бухгалтером и который передал ему, наконец, свою фирму. Благородный, кроткий характер и возвышенный образ мыслей приобретали Мендельсону уважение всех, с кем он сближался. Лессингу он был рекомендован Гумперцем как хороший шахматный игрок, и они сблизились за шахматной доскою около того самого времени, как сближился с Лессингом Николаи. Лессинг давно отбросил всякое предубеждение против характера евреев. Уже лет пять тому назад написал он пьесу «Евреи», с целью выставить благородный тип в этом презираемом племени. В художественном отношении пьеса слаба, и потому ничего не скажем о ней; но статьи, написанные по ее поводу, хорошо показывают положение вопроса о евреях в Германии сто лет тому назад, и мы в выноске представим извлечения из них\*.

---

\* «Геттингенские ученые ведомости», с большою похвалою отзываясь о четвертой части сочинений Лессинга, в которой помещена комедия «Евреи», сделали по поводу этой пьесы следующее замечание:

«Цель пьесы — серьезный нравственный урок, — именно, обнаружение неосновательности того презрения и отвращения, с которыми обыкновенно мы смотрим на евреев. Но при чтении наслаждению нашему мешает какое-то недовольство, которое мы укажем для разрешения сомнений или для того, чтобы впоследствии подобные произведения избегали этого недостатка. Путешественник-еврей слишком добр и благороден, слишком заботится, чтобы не нанести вреда ближнему или не оскорбить его несправедливым подозрением, — одним словом, если не совершенно невозможно, то, по крайней мере, слишком неправдоподобно, чтобы такой благородный характер, как бы наперекор всему, мог развиваться при тех правилах, образе жизни и

Замечания Михаэлиса, приводимые нами в выноске, показывают, с каким пренебрежением смотрели на евреев самые просвещенные и гуманные люди в Германии сто лет тому назад. В самом деле, евреи оставались совершенно чужды умственной жизни того племени, по землям которого были рассеяны. Погруженные в талмудические дикие суеверия, безусловно руководимые в своих понятиях дикими фанатиками раввинами, подавляемые общим презрением, отвращением и преследованиями, они сами презирали себя. Мендельсон был первым и могущественнейшим из людей, которые своим примером и советами указывали им иной путь жизни. Оставаясь евреем, он приобрел уважение знаменитейших ученых и важнейших вельмож Германии, — он стал на ряду с классическими писателями немецкого народа, христиане превозносили его и из-за него стали с большим уважением смотреть и на его племя. Евреи поднялись в собственных глазах, у них теперь был свой идеал, был пример подражания, был живой свидетель, что еврею возможно занять почетное место между образованными христианами, возможно даже достигнуть славы. С тем вместе, соразмерно уменьшению предубеждения христиан

---

воспитании, какие мы видим у еврейского племени, и при дурном обращении с ними. Это неправдоподобие тем больше мешает нашему удовольствию при чтении пьесы, чем приятнее было бы нам найти истину и натуру в прекрасном и благородном образе. Даже посредственная доброта и честность очень редко встречаются между евреями, так, что немногие примеры не могут в значительной степени смягчать ненависти к этому народу. При тех моральных правилах, которых держится если не каждый еврей, то огромное большинство евреев, невозможна честность между ними, особенно когда мы вспомним, что весь этот народ живет торговлею — промыслом, который больше всякого другого промысла представляет случаев и покушений к обману».

Это писал в 1754 году знаменитый Михаэлис, который в Англии научился смотреть на все лучше, светлее и гуманнее, нежели смотрели остальные его соотечественники. И, однако же, этот человек, с которого начинается новая эпоха в разработке еврейских древностей, хваля Лессинга за все остальное, что заключалось в собрании его сочинений, осуждал его за снисходительное понятие, что и между евреями могут быть очень хорошие люди.

Лессинг не имел привычки вступаться за литературные достоинства своих сочинений; он всего в своей жизни не более четырех раз отвечал на замечания своих критиков, но на это суждение о «Евреях» ему необходимо показалось отвечать. Три остальные спора — с Ланге, Клоцом и Геце — были ведены беспощадно, потому что противники заслуживали негодования и литературной казни. Михаэлису, который высказывал свои замечания в благородном тоне, Лессинг отвечал так же мягко и с деликатным письмом послал ему ту часть «Театральной библиотеки», в которой был помещен ответ.

«Замечания Геттингенских ведомостей» касаются двух пунктов, говорил Лессинг в своем ответе: «Во-первых, критик утверждает, что честный и благородный еврей сам по себе нечто неправдоподобное; во-вторых, что в моей пьесе он выставлен неправдоподобным образом. Собственно меня касается только второе замечание, и только на него я должен был бы отвечать, если бы гуманность не была для меня выше литературной моей славы».

против евреев, уменьшилось и предубеждение евреев против христиан: единоверцы Мендельсона убедились его примером, что христиане не отказывают ни в уважении, ни в приязни тем из них, которые приобретут на то права. Достигнув обеспеченного состояния, Мендельсон, своим покровительством и щедрыми пособиями, помогал молодым евреям приготоваться к ученому, литературному или художественному поприщу. Часть своей литературной деятельности он также посвятил исключительно делу просвещения своих единоверцев, и заслуги его в этом отношении также огромны. Немецкие евреи говорили безобразным диалектом, составленным из смешения еврейского с немецким, — не понимая чистого еврейского языка, они не могли также ни писать по-немецки, ни слушать лекций. Мендельсон положил начало распространению чистого немецкого языка между ними, напечатав для них перевод Моисеевых книг на прекрасном немецком языке; с того времени этот перевод сделался книгою, по которой учатся читать дети германских евреев и чрез то с детства становятся равными немцам по своему языку. Кроме того, он издал перевод на немецкий язык «Псалмов» и «Песни песней» для своих единоверцев и написал для них несколько религиозных книг, строго держась догматов чистого ветхозаветного иудей-

и если б мне потому уступить в последнем случае не было легче, нежели во втором. Однако же надобно мне начать со второго замечания». Объяснив, что при той обстановке, в которой является у него еврей, честность его очень натуральна и правдоподобна с художественной точки зрения, Лессинг продолжает: «Надобно отвечать теперь на первое замечание: не говоря о художественных требованиях, правдоподобно ли, чтоб еврей мог быть честен? Встречаются ли в жизни евреи честного характера? Но пусть за меня говорит другой, которому это было ближе к сердцу, потому что сам он еврей. Я знаю его так хорошо, что могу решительно сказать: он человек столь же умный и ученый, как и честный. Письмо, которое я привожу далее, он написал к одному из своих соплеменников, прочитав замечание «Геттингенских ведомостей». Знаю вперед, что письмо это готовы будут считать выдумкою, скажут, что я сам написал его, — но тем, кому будет интересно удостовериться в его подлинности, я могу представить неопровержимые доказательства, что оно действительно написано евреем».

«Милостивый государь,

Посылаю вам № 70-й «Геттингенских ученых ведомостей». Прочитайте разбор 4-й части лессинговых сочинений, посмотрите, за что упрекает рецензент его пьесу «Еврей» (следует выписка из рецензии, которую мы привели выше). Я краснею от таких понятий, я не в состоянии выразить всех ощущений, которые пробуждаются во мне этими словами. Какое оскорбление нашей угнетенной нации! Какое кичливое презрение! Простолюдины христиане издавна привыкли считать нас выродками природы, гнойною язвою человечества. Но от людей ученых я ожидал более беспристрастного суждения; как я ошибался!

«Мало то, что мы терпим от жесточайших преследований, — хотят еще оправдывать эти преследования клеветой!..

«В чем особенном могут упрекнуть нас наши строгие судьи, нередко запечатлевающие нашу кровь справедливости своих приговоров? Разве не

ства, но удалив все талмудические бредни. Книги эти проникнуты чистою нравственностью, благородною терпимостью, чувством любви к другим племенам и имели огромное влияние на развитие германских евреев. Мендельсон был просветителем своих единоверцев.

Благородная натура Мендельсона развилась более всего под влиянием Лессинга, с которым они были сверстники по годам (Мендельсон родился, как и Лессинг, в 1729 году), но который был уже великим ученым, человеком с установившимся образом мыслей, одним из знаменитых писателей, в то время как самоучка еврей с невероятными трудами только еще начинал побеждать ужасные затруднения, какие противопоставлялись его развитию и национальностью и бедностью. Когда Мендельсон познакомился с Лессингом, он только еще привыкал владеть правильным немецким языком и не мог писать без ошибок на этом языке, литературу которого впоследствии обогатил произведениями, классическими по изяществу и благородству выражения. Но Лессинг постиг, какие редкие качества ума скрываются в этом человеке, рыцарски беспорочный, женственно кроткий характер Мендельсона обворожил его, и скоро Мендельсон сделался ближайшим, лучшим другом его на всю жизнь. Он помогал развитию талантливого еврея своими беседами и советами, указывая ему, чем и как должен он заниматься; по внушению и указанию Лессинга, отчасти даже при непосредственном сотрудничестве Лес-

ограничиваются все их упреки вечно одною и тою же песнею о ненасытном корыстолюбии, в котором они с восторгом уличают простолюдинов еврейского племени, не обсуждая того, что по их же вине развилась эта страсть в осуждаемом племени. Пусть этот упрек и справедлив. Но может ли одна дурная склонность мешать существованию многих других хороших качеств? Вообще надобно сказать, что некоторые добрые качества гораздо более общи между евреями, нежели между нациями, среди которых мы живем. Пусть вспомнят только, как евреи ужасаются человекоубийств. Нет ни одного примера, чтоб еврей когда-нибудь был виновен в этом преступлении. А как легко человек другой нации убивает своего собрата в пустой ссоре за неосторожное слово! Говорят: «Это оттого, что евреи трусы», — о, если трусость удерживает от пролития человеческой крови, то трусость — добродетель.

«Как сострадательны они к людям всех наций, как жалостливы к бедным всех племен, несмотря на то, что другие племена слишком суровы к ним. Правда, они доводят эти добрые качества почти до излишества. Их сострадательность слишком мягка, она почти не оставляет места суровому правосудию, их щедрость в пособиях бедным доходит почти до расточительности. Но, если это излишества, то излишества в добрую сторону.

«Я мог бы еще распространиться о их трудолюбии, о их удивительной воздержности, о их семейных добродетелях. Но уж и общественных добрых качеств евреев достаточно, чтобы опровергнуть мнение «Геттингенских ведомостей», и я жалею о том, кто может без ужаса прочитать столь жестокий приговор целому народу».

«У меня в руках, — продолжает Лессинг, — и ответ на это письмо. Но я не хочу его печатать — он написан слишком горячо, автор обращает на обвинителей все упреки, которые обыкновенно делаются евреям. Но то верно, что оба корреспондента — люди образованные и добродетельные, и я убеж-

синга написаны были первые труды Мендельсона \*. Что всего важнее, твердый, безбоязненный, резкий Лессинг мужественностью своего направления ободрял и поддерживал Мендельсона, дивная кротость которого в жизни была бы, без влияния со стороны Лессинга, излишнею мягкостью, бесхарактерностью, слабостью в литературе. Мендельсон, всею силою своей любящей натуры, привязался к другу, благодетельному влиянию которого обязан был так многим, перед гениальным превосходством которого благоговел.

Это был один из лучших и замечательнейших примеров безграничной дружбы; самая кончина Мендельсона была последнее и величайшее свидетельство его чувств к Лессингу. Когда, после смерти Лессинга, Якоби вздумал, в одном из своих философских сочинений, приписывать Лессингу метафизические воззрения, от которых сам Лессинг, вероятно, не отказался бы, но которые Мендельсон, уже лишенный опоры, какую прежде доставляла ему непоколебимая решительность друга, считал слишком рез-

---

ден, что у них было бы между их единоверцами более подражателей, если бы христиане хотя несколько облегчали им путь по этой дороге».

Посылая Михаэлису первую часть «Театральной библиотеки», в которой помещен этот ответ, Лессинг объясняет горячность некоторых выражений письма, напечатанного им, тем, что автор письма действительно еврей:

«Он действительно еврей, молодой человек лет двадцати трех или четырех, достигший, без всякого руководства, больших знаний в языках, математике, философии и поэзии. Я предвижу, что он будет честию своего народа, если только не подавит его недоброжелательство его соплеменников, которые всегда обнаруживали несчастный дух вражды против людей, подобных ему. Его честность и его философское направление предвещают в нем другого Спинозу».

Кстати приведем здесь и продолжение этого письма к Михаэлису, хорошо рисующее беззаботный характер Лессинга и его отчасти самоуверенный, отчасти иронический взгляд на себя:

«В письме вашем выражаете вы очень лестное для меня желание короче узнать мое положение и обстоятельства. Но что особенного, кроме своего имени, может сказать о себе человек не служащий, не имеющий связей, не имевший особенного счастья? Родом я из Верхнего Лаузица: отец мой пастор в Каменце. Какими похвалами мог бы я превознести его, если б речь шла о постороннем человеке! Он один из первых стал переводить Тиллотсона. Учился я в Мейссене, потом в Лейпциге и Виттенберге, но когда меня спросят, чему я учился, то я очень затрудняюсь ответом. В Виттенберге получил я степень магистра. В Берлине живу я с 1748 года, и с того времени только однажды уезжал из этого города на полгода. Я не ищу себе в Берлине никаких должностей, а живу здесь только потому, что не имею средств жить ни в одном из других больших городов. Если я означу еще свои лета, которых насчитывается 25, то и кончена моя биография. Что будет дальше, представляю я на волю провидения. Трудно найти человека, который был бы равнодушнее меня к будущему».

\* По совету Лессинга, Мендельсон перевел одно из рассуждений Руссо («О происхождении неравенства между людьми») — этот перевод был для него упражнением в немецком слоге. Вместе с Лессингом они написали знаменитый ответ на тему Берлинской академии «О философии Попе»; дух ответа очень остроумно выражен восклицательным знаком, поставленным в заглавии: «Попе — метафизик!»

кими, благодушный автор «Федона» возмущился мыслью, что Якоби возбуждает гонение против памяти Лессинга: он был в это время слаб здоровьем, но, не обращая внимания на свою болезнь, с чрезвычайным жаром стал тотчас же писать возражение Якоби; он успел кончить это защищение памяти своего друга, — но работа так истощила его силы, огорчение так изнурительно волновало его, что он чрез несколько дней умер жертвой своей любви к покойному другу.

Таковы-то были люди, с которыми сблизился Лессинг в 1754 году и которые должны быть названы его непосредственными учениками. Характеры их были различны, различен и тон их сочинений. Практический, довольно сухой, пронизательный и отчасти насмешливый, Николаи действовал насмешкой, преследовал все, что ему казалось вредным в жизни, затемняющим понятия, замедляющим деятельность, отвлекающим человека от заботы об улучшении своего положения. Мендельсон, который больше, нежели кто-нибудь из новых философов, напоминает Платона, если не гениальностью, то чистым стремлением к идеалу, — излагал в философской форме те возвышенные понятия и чувства, которым впоследствии давал поэтическую одежду Шиллер. Но оба, Николаи и Мендельсон, сходились в том, что с благоговением внимали Лессингу, и, в сущности, все, что было прочного и истинно плодотворного в их деятельности, развилось под влиянием Лессинга.

Мы называли их его учениками. Это слово, в настоящем случае, не может, однако, иметь того смысла, в каком обыкновенно употребляют его, понимая, что ученик только повторяет, так или иначе, мысли учителя и, в сравнении с ним, является человеком не самостоятельным. В таком смысле у Лессинга не было и не могло быть учеников. Натура этого человека образовалась так, что и положительные и отрицательные его качества были именно таковы, какие требовались для возможно благотворнейшего влияния на немецкую литературу. Бывают времена, когда необходимое условие успешного развития есть научная дисциплина; в ту пору у немецкой литературы была другая, противоположная потребность. В нации и в литературе, в людях и писателях германских господствовала педантическая привычка подчинения авторитетам, — литературные тузы повторяли слова иноземных авторитетов: Готтшед повторял Буало, Рамлер — Батте, Геллерт — Лафонтена, Бодмер — Аддисона, Клопшток — Оссиана и Мильтона, Берлинская академия — временем Вольтера, временем Попе, — мелкие писатели повторяли слова доморощенных литературных магнатов. Не было инициативы в литераторах, не было самобытности мышления, смелой привычки думать своей головой. Лессинг и в этом отношении, как и во всех других, был именно такой человек, в каком нуждалась эпоха.

Гениальный человек, развивая нашу мысль, в то же время

обыкновенно порабощает ее себе, — все равно, начитались ли вы Байрона или Платона, Гёте или Руссо, Жоржа Санда или Аристотеля — вы становитесь в какое-то зависимое положение от вашего путеводного гения, — вы на все смотрите его глазами, чувствуете, что вам нельзя иначе думать — не потому только, что истина его мыслей для вас очевидна, — нет, и потому также, что он положил границы вашему воззрению, как бы независимо от вашей воли, от вашего самостоятельного рассудка, подчинил вас себе, — словом, вы делаетесь то, что называется ученик, последователь, отчасти раб этого человека. Потому-то обыкновенно самые благотворные авторитеты имеют и свою вредную сторону — развивая мысль, они в то же время отчасти сковывают ее. Когда в нации пробужден дух самостоятельной пытливости, эта вредная сторона не имеет важных следствий, — вы подчинились одному авторитету, другой — другому, сотни других не хотят признавать ничьей безусловной власти над своею мыслью, — так, например, в Германии, в одно время, в одной философской области теперь существует бесчисленное множество различных самостоятельных мнений, все допытываются истины, никто не успокоивается готовыми результатами, все самодеятельно стремятся вперед и вперед. И Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, несмотря на всю обаятельную силу своих систем, не могли ни на одну минуту задержать дальнейшего развития мысли, — каждый из них повел ее шагом дальше, и каждый раз, сделав этот шаг, она устремлялась вперед, покидая прежнего учителя, даже низвергая его, если он хотел остановить ее.

Так и должно быть. Не добытый результат важен: все добытое человечеством результаты во всех областях жизни и мысли, как бы ни казались они блестящи по сравнению с прошедшим, все еще ничтожны сравнительно с тем, что должно быть приобретено мыслью и трудом, для обеспечения материальной жизни, для прояснения знаний и понятий. Важнее всех добытых результатов — стремление к приобретению новых, лучших; важнее всего пытливость мысли, деятельность сил. Немногие из гениальных людей так полно воплощали в себе эту пытливость, не успокоивающуюся ни в чем, эту деятельность, вечно стремящуюся к достижению новых результатов, полнейших всего прежнего, — немногие из гениальных людей, говорим мы, были так проникнуты не каким-нибудь определенным и потому ограниченным стремлением к какому-нибудь определенному, ограниченному результату, а жаждою истины все дальше и дальше, вперед и вперед, — чтобы добытые ими результаты каждому уму служили только опорой, только возбуждением к дальнейшему самостоятельному исследованию. В области поэзии нечто подобное представляет Шекспир. Мы опять обращаемся к этому примеру, чтобы прояснить наше понятие. Кто поймет Шекспира, перед тем исчезают всякие другие авторитеты в поэзии — он выше всех, — а ме-

жду тем преклонение перед Шекспиром становится ли поэта в такое зависимое от него положение, как поклонение Байрону или Мильтону, [Жоржу Санду или Руссо?] — нет, кто поклоняется этим поэтам, чувствует непреодолимую наклонность подражать им, и истинно талантливые люди делали мильтонистами или [руссоистами, жорж-сандистами или] байронистами, — но, понимать Шекспира — значит чувствовать в себе непреодолимый позыв к самостоятельному творчеству, — быть чуждым всякой мысли о подражании кому бы то ни было, хотя бы и самому Шекспиру \*. Из области поэзии переходя в область мысли, можно указать несколько людей, оказывающих подобное же влияние, — таков, например, Монтань, таковы многие скептики, — но все они занимают в истории развития мысли только второстепенное место, и никто из них не имел преобладающего влияния на развитие целой эпохи. Лессинг не имел ничего общего с Монтанем или другими скептиками, — напротив, его убеждения очень определенны и тверды, он, можно сказать, ни в чем не сомневается, — ни в человеке, ни в законах вселенной, — он положительно говорит: «это мы знаем; в этом нечего сомневаться» — но — какое бы убеждение ни высказывал, как бы твердо ни высказывал его, какими бы неопровержимыми доказательствами ни подтверждал его, — все-таки он в конце ставит новый вопрос, все-таки заключает тем, что говорит: «то, что мы теперь знаем, только начало знания; нужно заняться теперь дальнейшими исследованиями, при которых и прежняя истина явится, быть может, в новом виде;» каждое его исследование представляется как будто только одною частью, отрывком, который должен читатель дополнить уже сам. В главнейших его ученых сочинениях — «Лаокооне» и «Драматургии» — эта необходимость дальнейшего самостоятельного исследования выражается даже внешним образом: заключая «Лаокоона», он обещает со временем прибавить вторую часть к этому исследованию, которое положительно называет только первую частью; в «Драматургии» также несколько раз говорится, что вся она только первый отдел труда, который должен иметь продолжение; «Листки против Геце» прекращены, можно сказать, в самом начале. В каждой частности слышится тот же вызов читателю на дальнейшее обсуждение дела. Можно сказать, что и общее направление деятельности Лессинга не имеет такой общей темы, которую не сменила бы другая тема, если то потребуется

---

\* В гораздо меньших размерах можно почти то же сказать о Гоголе, если приводить примеры из нашей литературы. Пушкину подражали талантливые люди, но подражание Гоголю заметно только у писателей мало талантливых. Нынешние даровитые писатели произошли от Гоголя, — а, между тем, ни в чем не подражают ему, — не напоминают его ничем, кроме как только тем, что, благодаря ему, стали самостоятельны, изучая его, приучились понимать жизнь и поэзию, думать своею, а не чужою головою, писать своим, а не чужим пером.

развитием мысли, — он начал как литературный критик, а кончил теологическими исследованиями, которые, наверное, оставил бы для других изысканий, если бы прожил более.

Но мы слишком давно забыли о биографической нити рассказа. Возвратимся же к отношениям Лессинга с Мендельсоном и Николаи, на которых остановились. Весь характер деятельности Лессинга был таков, что влияние его рождало не учеников, а самостоятельных деятелей. Позднее это обнаружилось всем ходом немецкой литературы и науки, которые в эпоху, порожденную Лессингом, отличаются чрезвычайно энергическим стремлением к самостоятельности. Но, прежде всего, это обнаружилось на ближайших друзьях и непосредственных воспитанниках Лессинга — на Мендельсоне и Николаи. Они хотели быть его учениками, хотели составить школу, главою которой был бы Лессинг. Он не захотел того, и когда увидел их имеющими уже довольно сил, тотчас же предоставил им действовать, как они хотят. Внешним образом это выразилось в том, что он не хотел быть постоянным сотрудником журналов, ими издаваемых; существенным следствием заботы Лессинга не о приобретении себе учеников, а, напротив, о пробуждении самостоятельности в каждом, было то, что Николаи и Мендельсон сохранили как мыслители полную оригинальность своих различных натур и напоминают Лессинга не содержанием своих учений, а только тем, что в нем имели нравственную поддержку и без этой поддержки действовали бы не так смело и самостоятельно.

В самом деле, Лессинг так мало хотел сделаться главою партии, что вскоре после того, как сошелся с Николаи и Мендельсоном, уехал из Берлина с намеренной несколько лет ничего не печатать. Уже семь лет он жил литературною работою, — успел, наконец, составить себе очень громкое имя, — не только как критик, но и как поэт стал выше всех своих современников во мнении лучшей части публики: за первыми одами и комедиями его, которые заслужили ему имя одного из знаменитейших поэтов в тогдашней литературе, последовала трагедия «Мисс Сара Сампсон», которая с первого же раза была признана явлением, каких еще не бывало в немецкой литературе, и поставила Лессинга как драматурга выше всех соперников \*. Но труд упорный и счастливый в литературном отношении едва доставлял Лессингу средства для жизни, — в его переписке речь идет всегда о талерах, много о десятках талеров. Бесконечная работа, соединенная с материальными лишениями, утомила Лессинга. Он стал

---

\* Замечательнейшие произведения Лессинга — именно драматические пьесы «Мисс Сара Сампсон», «Минна фон-Барнгельм», «Эмилия Галотти» и «Натан Мудрый»; также «Литературные письма» в связи с другими критическими статьями, «Лаокоон» и «Гамбургская драматургия», и, отчасти, полемические статьи против Геде будут нами рассмотрены после, чтобы не прерывать биографию слишком длинными эпизодами и анализами.

искать себе какого-нибудь занятия, легче, нежели литература, обеспечивающего жизнь. Судьба едва не увлекла его на нашу родину, которой столько пользы принесли его соотечественники своими знаниями. Вот что писал он к отцу весной 1755 года в ответ на настоячивые просьбы старика, чтоб сын позаботился определиться на службу:

«О моем определении на службу мои знакомые хлопочут больше меня, а я мало думаю об этом. В последнее время сильно уговаривали меня ехать в Москву, где, как вы знаете, конечно, по газетам, основывается университет. Из всех подобных предположений это скорее всего может осуществиться».

Но предположение не исполнилось: вместо Лессинга поехал в Москву готтшедианец Рейхель\*.

Когда расстроился план получить место в Москве, Лессинг, не сказавшись, по своему обыкновению, никому из своих приятелей, исчез из Берлина и очутился в Лейпциге. Как и зачем он переехал из Берлина в Лейпциг — совершенно неизвестно; надобно полагать только, что он имел в виду как-нибудь избавиться от необходимости зарабатывать себе хлеб литературным трудом, утомительным и неблагодарным, надеясь найти себе какие-нибудь иные средства для жизни. Действительно, скоро сошелся он в Лейпциге с молодым богатым купцом Винклером, который хотел несколько лет употребить на путешествие по различным европейским странам, для довершения своего образования, и предложил Лессингу быть его спутником в качестве, отчасти, товарища, отчасти, наставника с жалованьем по 300 талеров (около 275 р. сер[ебром]) в год. Путешествие должно было продолжаться года три. Триста талеров в год, на всем готовом содержании, и притом с возможностью объехать всю Европу! — это было великим счастьем для Лессинга. В письме к Мендельсону (декабрь 1755), рассказав, какие сочинения и издания он готовит к пасхальному сроку следующего года\*\*, Лессинг продолжает:

\* Кстати, говоря о России, скажем, что в Императорской публичной библиотеке должно быть довольно много книг, принадлежавших Лессингу. Когда, при переселении из Берлина в Гамбург, Лессинг распродал свою обширную библиотеку, собранную им в Бреславле, много книг было куплено для варшавской библиотеки графа Залуского, которая потом, как известно, перевезена была в Петербург и послужила основанием нынешней Публичной библиотеке. Из книг, которые находились в библиотеке Лессинга и были проданы с аукциона, находились «*Journal des Savants*», полный экземпляр до 1764 года, составляющий 254 тома; «*Acta Eruditorum*»; «*Années littéraires*» Фрерона; кроме того, говорится вообще, что у него было много первоначальных изданий (editio princeps) греческих и латинских классиков. По этим указаниям, быть может, не напрасно было бы сделать поиски в Публичной библиотеке. См. Данцель и Гурауэр, первая половина 2-го тома, стр. 136.

\*\* Известно, что и до сих пор в Германии книжная торговля имеет два важнейшие полугодовые термина, к которым все готовится, от которых зависит весь ход литературных занятий, продаж, заказов и т. д., — это две лейпцигские книжные ярмарки — Михайловская и пасхальная. Сто лет тому назад значение этих сроков было еще важнее.

«Ну, что вы скажете? Не слишком ли много? Если публика осудит меня за излишнее усердие в угощении ее моими произведениями, то в извинение себе скажу одно: с следующей Пасхи целые три года не услышит она обо мне. Caestus arteмque геропо — даю покой рукам и ремеслу.

«Каким это образом? наверное, спросите вы. Слушайте же важнейшую из всех новостей, какие только могу сообщить о себе. Не в дурной час выехал я из Берлина. Нашлось мне очень выгодное дело...»

И он с восторгом рассказывает о предложении Винклера. Заключен был формальный контракт на три года. Сроком отъезда назначена весна 1756 года, около Пасхи. В мае путешественники действительно пустились в свое странствование и, через Магдебург, Брауншвейг, Гамбург, Гренинген, к началу августа приехали в Амстердам. Осмотрев замечательные города Голландии, хотели они в октябре отправиться в Англию, — но страшная новость принудила Винклера скорее возвратиться домой.

В августе 1756 года, внезапным нападением на Саксонию, Фридрих II начал войну, которая теперь известна под именем Семилетней. Лейпциг был занят пруссаками. Смятение в городе, ужас жителей были безмерны: некоторые умирали от страха, наводимого ожиданием наступающих бедствий. Винклеру надобно было возвратиться, чтобы спасти свое имущество: в Лейпциге был у него дом. Таким образом, начатое путешествие пришлось отложить, — но только отложить: обезопасив свой дом от контрибуций и конфискаций, Винклер хотел, через несколько месяцев, снова пуститься в странствования, и потому Лессинг, по контракту, оставался жить у него. Но скоро они поссорились, и Лессинг опять увидел себя в том самом положении, от которого хотел избавиться, уезжая из Берлина.

Причина ссоры очень характеристична для личности Лессинга. Он был родом из Саксонии. Саксонцы теперь проклинали пруссаков, угнетавших несчастную Саксонию поборами и наборами, контрибуциями и реквизициями. Но, — справедливо или несправедливо, — остальные германские племена смотрели на Фридриха II как на героя-защитника немецкой национальности против влияния иноземцев. Справедливо или нет, но образованные люди во всей Германии считали его защитником просвещения и поборником благотворных реформ.

Есть в раздробленной Германии чувство, которое, к счастью, неизвестно у народов, успевших соединиться в одно государство, — это партикуляризм, предпочтение местного патриотизма — гессенского, баденского, виртембергского, саксонского, прусского — общему немецкому патриотизму. Благодаря влиянию литературы, начавшемуся с Лессинга, это мелочное чувство ослабело, теперь оно не имеет и десятой части того могущества, которым обладало за сто лет. Но и до сих пор оно еще сильно, доказательством тому служат события последних годов.

Как ни силен теперь в Германии партикуляризм, все-таки теперь это чувство, отжившее свой век, остаток старины, не больше

как рутина, привычка. Сто лет тому назад было не так. Саксонец считал себя только саксонцем, пруссак только пруссаком, а не немцем; вся его национальная гордость, все его патриотические чувства были прикованы исключительно к провинциальному племени, в котором он родился, — для чувств тогдашнего немца существовала только Саксония, Пруссия, Бавария, но не Германия: Германия исчезала, как скоро являлся повод к пробуждению партикуляризма.

Лессинг и в этом, как в остальном, был выше своего века, — употребляем выражение, которое редко может применяться к делу, почти всегда будучи простою фразою, но совершенно применяется к Лессингу, — потому что, если кто-нибудь бывал на столетие впереди своего века, то именно он.

Как стоял он выше литературных партий, так точно стоял он и выше провинциальных, племенных подразделений. Он думал только о Германии, — Саксония, Пруссия, Австрия были для него ничто пред Германией. Подданные и солдаты Фридриха II были немцы, — армии, с которыми он сражался, состояли из венгров, кроатов, французов, русских. Фридрих был хорошим администратором, а в Саксонии самовластвовал Брюль, — выбор был ясен для Лессинга, и он принял сторону Фридриха II.

Вместе с Винклером он обедал за *table d'hôte*, где всегда было большое общество, преимущественно состоявшее из купцов. Все проклинали пруссаков и Фридриха, — Лессинг защищал их.

Из прусских офицеров, стоявших гарнизоном в Лейпциге, со многими Лессинг подружился, особенно с поэтом Клейстом, майором прусской службы, через несколько времени раненным на смерть при Кунерсдорфе. Талант Клейста не был велик; но его прекрасный характер, соединявший в себе задумчивость с воинственною энергиею, и его преданность Лессингу привязали к нему Лессинга. Он приводил Клейста и других пруссаков за *table d'hôte*, где сам обедал, и, таким образом, явилась там, кроме саксонской партии, прусская.

Саксонцы негодовали на непрошенных собеседников, и многие из прежних постоянных посетителей перестали обедать в этом ресторане. Хозяйка ресторана, оставшаяся в убытке, стала говорить Винклеру, что просит его и Лессинга, с его приятелями, не бывать в ее ресторане, потому что прусские мундиры лишают ее других, более многочисленных гостей. Винклер, уже прежде несколько раз имевший мелочные ссоры с Лессингом, — вероятно, также главным образом по поводу его любви к пруссакам, написал ему теперь невежливую записку, и Лессинг должен был прекратить с ним всякие сношения.

Таким образом, остался он в Лейпциге опять без всяких средств к жизни, кроме литературной работы; а доставать деньги литературной работою все-таки было для него удобнее

в Берлине, нежели где-нибудь, и в 1759 году возвратился он в Берлин. Там с нетерпением ждал его Николай.

Вскоре после того, как сблизился с Лессингом, и потом, через Лессинга, с Мендельсоном, Николай стал думать о том, как бы основать критический журнал. Когда Лессинг возвратился в Лейпциг из поездки с Винклером, Николай просил его принять на себя хлопоты найти в Лейпциге книгопродавца, который бы согласился издавать этот предполагаемый журнал, которому Николай хотел дать название «Библиотека изящных искусств и словесности». Издатель, после многих напрасных поисков, был, наконец, найден Лессингом; статьи, присылаемые из Берлина Николаи, Мендельсоном и их друзьями, передавались в типографию через Лессинга, который иногда, в случае каких-нибудь непредвиденных обстоятельств, делал необходимые изменения по редакционной части, но вообще не желал иметь влияние на дух и направление журнала, редактором которого был Николай, при содействии Мендельсона\*.

Когда Лессинг возвратился в Берлин, коммерческое положение Николаи изменилось. До сих пор книжный магазин принадлежал его отцу, потом, по смерти отца, брату, — писатель Николай, младший брат, был просто приказчиком в магазине и получал от брата небольшую часть годичной прибыли. Теперь, по смерти брата, он сам сделался хозяином книжного магазина; продолжать писать для журнала, издаваемого другим книгопродавцем, ему было уже невыгодно. Он передал «Библиотеку изящных искусств» другой редакции и основал новый журнал «Литературные письма». Душою этого журнала был Лессинг, из статей которого почти исключительно составлены были первые книжки «Литературных писем».

## ГЛАВА ПЯТАЯ

«Литературные письма». — Основание их сильного действия на немецкую литературу. — Черты, ими внесенные в характер немецкой мысли. — Лессинг принимает место секретаря при Тауэнцине. — Жизнь его в Бреславле. — Возвращение к литературному миру. — «Мисс Сара Сампсон». — «Минна фон-Барнгельм». — «Лаокоон».

1759—1767

«Библиотека изящных искусств», которую издавал Николай при содействии Мендельсона, была лучшим критическим журналом своего времени. Она стояла выше мелочных интриг, самолю-

---

\* Николай сообщает любопытный факт о том, как вознаграждался тогда литературный труд книгопродавцами-издателями. Николай и его сотрудники получали от своего книгопродавца по двадцати пяти талеров за целый номер «Библиотеки», состоявший из пятнадцати печатных листов, то есть по 1 руб.

бивою суетою замедлявших успехи немецкой мысли; основания критики ее надобно назвать справедливыми, ее суждения — вообще здравыми и благородными, умными и беспристрастными. И однако же, при всех своих достоинствах, «Библиотека изящных искусств» осталась без заметного влияния на литературу; она приносит большую честь дарованиям и добросовестности своих соучастников, но мало принесла пользы немецкой публике.

«Литературные письма» по многим существенным чертам характера были сходны с «Библиотекою изящных искусств». Уж одни внешние приметы достаточно показывают степень близости этих двух журналов. Николай, редактор «Библиотеки», был редактором и издателем «Литературных писем»; Мендельсон, главный его сотрудник в «Библиотеке», принимал не менее деятельное участие и в «Литературных письмах». Столь же решительны и факты внутреннего родства обоих журналов. Николай и Мендельсон развились, как мы видели, под влиянием Лессинга; «Библиотека» была по преимуществу выражением мыслей, в первый раз высказанных им; Николай и Мендельсон с восторгом приняли его сотрудничество при издании «Литературных писем» главным образом потому, что видели в нем человека, думающего одинаково с ними о всех существенно важных вопросах, и не обманулись, ожидая совершенной гармонии между его и своими статьями: впоследствии Лессинг ушел далеко вперед от своих друзей, и они уже не могли понимать его, но до конца издания «Литературных писем» не замечалось разницы между его и их воззрениями, — не замечалось до такой степени, что и публика и писатели, не только противных партий, но даже из друзей Лессинга, все непосвященные в тайны редакции не умели отличить, кому из трех главных лиц так называвшейся тогда берлинской или николаитской школы принадлежит та или другая статья. Лессингу приписывались многие рецензии в «Библиотеке», в которой он не участвовал; и наоборот, многие статьи в «Литературных письмах», принадлежавшие Лессингу, приписывались Мендельсону или Николаю. Иные рецензии были написаны Лессингом вместе с Мендельсоном, как прежде рассуждение о метафизике Попа; другие служат развитием статей «Библиотеки» — словом, сходство этих двух журналов так очевидно, что многими

---

50 коп. сер[ебром] за печатный лист, — почти то, что надобно заплатить писцу за переписку статьи. Положим, что формат листа был невелик, положим, что плата, по замечанию Николая, была и для того времени очень умеренною, и в других случаях писатели получали несколько более, но все-таки эта цифра одна уже поясняет нам, каково было тогда в Германии материальное положение писателя, который жил литературной работой, не имея других источников дохода. Впрочем, как мы говорили, таких писателей было очень мало. Например, из тех, которых мы назвали в этой статье, — Ланге и Глейм были пасторы, Клейст — офицер, Зульцер — профессор, Николай — книгопродавец, Мендельсон — бухгалтер в торговом доме, — один Лессинг был писатель и больше ничего.

«Литературные письма» считались за продолжение «Библиотеки». И однако же, при всей видимой одинаковости направления, «Литературные письма» произвели совершенный переворот в немецкой литературе, между тем как «Библиотека» не имела особенной важности в истории немецкого развития.

Эту разницу в значении двух журналов, бывших выражением одной мысли, надобно, конечно, приписывать исключительно участию Лессинга в «Литературных письмах». В самом деле, громадное действие производилось именно его статьями; когда он оставил «Литературные письма», номера этого журнала утратили большую часть той электрической силы, которая приводила в движение умы читателей и волновала литературный мир, и если он продолжал еще пользоваться значительным влиянием, то почти исключительно благодаря репутации, приобретенной первыми, лессинговскими номерами. Тайну этого превосходства нельзя вполне объяснить ни славой Лессинга, ни даже огромным перевесом его таланта над силами других его сподвижников.

Что касается таланта, Николаи и Мендельсон, как ни далеко уступали Лессингу, все же были писатели великих дарований, стало быть, и они могли бы иметь сильное влияние, если б для того нужно было только хорошо изложить справедливые мысли. Притом же мы видели, что публика и литература не умели отличать в журнале статей Лессинга от статей, написанных другими, стало быть, мало еще были способны оценить превосходство его мастерского изложения. Что же касается славы, Лессинг, конечно, уже пользовался громкою, даже очень громкою известностью в публике, но все-таки далеко еще не достиг той общепризнанной репутации великого, гениального писателя, которая увлекает толпу одним авторитетом имени. Такое положение дается только временем, привычкою; авторитет приобретается не так быстро, как слава, а Лессинг еще и славой не равнялся с Клопштоком, Галлером и некоторыми другими тогдашними знаменитостями. Люди, особенно проницательные, конечно, уже видели в нем первого немецкого писателя, — но число таких людей было очень невелико; у каждой литературной партии были еще свои авторитеты, внушавшие более уважения, нежели чуждый всем котериям Лессинг; а публика еще не успела отвыкнуть от поклонения старым светилам. Лессинг не только не имел первенствующего положения во всей немецкой литературе, — он не считался даже главою и той школы, к которой его причисляли. Николаи был редактором журналов этой школы, он считался и ее главою; все говорили о николаитах, никому и в голову не приходило называть их лессингианцами.

Правда, в одном отношении никто уже не находил соперников Лессингу — именно в жестокости нападений. Со времени своей полемики с Ланге он считался самым злым спорщиком, человеком беспокойнейшего литературного характера, писателем, нахо-

дящим лучшее свое удовольствие в беспощадном терзании всех и каждого, кто только подвернется ему под руку. «Лессинг душил всех, чтобы самому было просторнее жить, — писал в 1759 году близкий приятель Лессинга, Рамлер, другому близкому его и своему приятелю, Глейму. — От этого уж нельзя его исправить: такова его натура». Если так говорили между собою о Лессинге его друзья, то можно вообразить, каково было мнение о его критической свирепости у всех других писателей и читателей. Он представлялся литераторам и публике каким-то людоедом. Он сам знал, что самая яркая черта его репутации — его беспощадная строгость в критике, его страшная резкость в полемике, и он указывает на это общее мнение о себе шуткою, отвечая на вопрос Николаи о том, какой девиз написать под его портретом (Николай, когда был редактором «Библиотеки изящных искусств», вздумал приложить к своему журналу портреты некоторых писателей, в том числе и Лессинга). «Чтобы не думать долго, — говорит Лессинг, — выставьте под моим портретом:

«Hic niger est, hunc tu, Romane, caveto» \*,

Или, пожалуй:

«Quid immerentes hospites vexas, canis?» \*\*

Кажется, трудно было прославиться беспощадностью полемики в тот век ожесточеннейшей, нескончаемой, не знавшей никаких границ, забывавшей все законы приличий полемики, — когда литературные партии преследовали одна другую самою плоскою и циническою бранью, с бесконечными антикритиками, рекритиками, ответами на рекритики и ответами на ответы на рекритики. Но Лессингу эта непривлекательная слава считаться жесточайшим из всех жестоких зоилов досталась очень легко. В самом деле, его критики должны были раздражать самолюбие тогдашних писателей сильнее, нежели чьи бы то ни было. Если Бодмер бранил Готтшеда, — Готтшеду казалось это очень натурально, — ведь он сам бранил Бодмера, — для того и другого одинаково ясно было, что противник бранит его только из-за оскорбленного самолюбия, — они оба уже были приготовлены к тому, чтобы не ждать друг от друга ничего, кроме грубейшей брани. Каждая из враждующих партий считала всех людей противного лагеря глупцами и негодаями — утешением каждому служило то, что его бранят глупцы и невежды, — которых он и его друзья много раз выводили на свежую воду, уничтожали и бранили. Но, кроме этих заклятых врагов всего талантливого и умного (то есть принадлежащего к его партии), от всех других критиков каждый

\* «Это злой человек, берегись его». Из известного пророчества о реке Нигере Лессинг делает тут каламбур, ставя вместо Niger (имя реки) — niger (черный, злобный).

\*\* «Что ты, собака, кидаешься на людей, которые тебя не трогают?»

писатель слышал только похвалы и комплименты, а все люди с умом и вкусом (то есть люди его собственной партии) превозносили его до небес. Брань от записных противников, если и бывает груба, все-таки в сущности довольно легко переносится самолюбием. И вдруг явился человек, который осуждал, например, Готтшеда не потому, что был поклонником Бодмера, — напротив, он не менее строго осуждал и Бодмера, — это было уже нарушением обычая, — это было уже непонятным, непредвиденным нападением. «За что ж он осуждает меня, — думал Готтшед: — если он не хочет мстить мне за Бодмера? По какому праву? На каком основании? Дело другое, если б он хвалил Бодмера, — тогда это было бы естественно. А теперь видно, что он человек без всяких правил, злобный человек, который бранится не потому, что мы с ним принадлежим к враждующим лагерям, а просто потому, что он любит мучить людей. Это не афинянин, поражающий спартанца потому, что Афины и Спарта ведут войну, а просто душегубец, которому одинаково приятно резать и афинян и спартацев, это не воин, а разбойник».

Мы видели, что под влиянием Лессинга образовались в немецкой литературе писатели, подобно ему, не сочувствовавшие ни одной из враждовавших партий, — критики, которые, подобно ему, должны были возбуждать к себе одинаковую нелюбовь во всех партиях. Их органом была «Библиотека изящных искусств». Но мнения этих людей были заимствованные, навеянные, не превратившиеся еще в их собственную плоть и кровь, — потому довольно бледные, довольно снисходительные. Эти ученики еще не так сильно прониклись новыми понятиями, чтобы совершенно оторваться от прежних, — не на столько были сильны, чтобы логически провести свой новый принцип по всей системе своих убеждений, — это были люди того характера убеждений, который ныне принято в критике называть «умеренным образом мыслей». Они могут быть очень благородны, очень благоразумны, — но не им увлекать вслед за собою [толпу]; они могут быть очень почтенны, но они вовсе не эффектны, если можно так выразиться.

Их учитель был не таков. Он говорил то, что глубоко обдумал и сильно прочувствовал, — его убеждения имели уже логическую стройность и полноту, — он уже не мог делать уступок явлениям, которые не оправдывались его принципом, — он обсудил и безвозвратно осудил все устарелые понятия, — словом сказать, он был то, что теперь называется человек неумолимой логики, человек [крайних] убеждений.

Бывают эпохи, когда нужны обществу люди умеренных мнений, люди примирения, люди уступок, — они бывают очень полезны в конце борьбы, когда нужно дать пощаду признавшимся в своем бессилии побежденным. Но — начало борьбы, какова была во время Лессинга, имеет другие условия, — тут нужна была энергия. Когда вводится в жизнь новый принцип, прав которого

еще не хотели признавать, он должен был со всею силою предъявлять все свои права, должен, не колеблясь, обнаруживать все слабые стороны явлений, неудовлетворительность которых делает появление этого нового принципа историческою необходимостью. [Завоевав персидское царство, Александр мог и должен был сделать уступки смирившимся перед греческою силою и греческою образованностью персам; но если бы он вздумал быть умеренным и уступчивым при Гранине, он только навлек бы на себя общее презрение, и лучше было б ему не переступать за границы своей Македонии. *Parcere victis et debellare superbos* — «Побежденных щади, но прежде смири до земли гордых», говорили римляне.

Забавны могут показаться эти воспоминания об Александре Македонском и римлянах, по случаю тощего критического журнала и бесприютного магистра, который считал бы себя блаженным, если бы мог получить место секретаря при каком-нибудь провинциальном чиновнике, — положение, которого действительно жаждал Лессинг в то время, когда писал свои статьи для «Литературных писем». И прежде всего эти параллели кажутся не только забавны, но и прискорбны нам. Страшно подумать о том, что бывают положения, когда для судьбы целого народа очень важным становится вопрос о каких-нибудь стишках, статейках или повестушках. Но что же делать? — «из песни слова не выкинешь», тем больше из истории не выкинешь факта. Что ж делать, если единственным средством к возрождению целой великой нации оставалось то, что называется мараньем бумаги. Мы видели, что около половины XVIII века мертвящая формалистика и бессмысленный произвол, грубость нравов и эгоизм разврата погружали Германию в какую-то хаотическую летаргию, так что преграждены были всякие обыкновенные пути к полезному действию на состояние нации. Сам Фридрих II, при всей своей гениальности, сорокапятилетними неутомимыми трудами мог создать только такое государство, которое в один день исчезло от прикосновения Наполеона — едва рассеяны были войска прусские под Иеною и Ауэршта <д> том, как уже и не существовало Пруссии. Сам Иосиф II, при всей своей беспримерно самоотверженной заботливости о благе народном, не мог преобразовать свое государство. Апатия нации, неприготовленность людей к желанию чего-нибудь лучшего отнимала у него и всех подобных ему всякую надежду на успех, — да и не могло являться много подобных ему при общем растлении или равнодушии. Оставался один путь к полезному действию на нацию — литература; писатель не требует ни приготовленности многочисленных сподвижников, — он их сам создает, — ни широких границ, ни больших средств для своей деятельности, — ему нужно только, чтобы в народе была грамотность. Очень может быть, что почти никто не сознавал грустной необходимости германскому народу считать литературу

важнейшим своим делом за отсутствием других более прямых способов исторической деятельности, — но в течение полувека все лучшие силы нации инстинктивно обращали свои силы на литературу. В ней одна немецкая нация нашла для себя источник новой, лучшей жизни, и медленно, но прочно возводился великое здание, первым основанием которого легли «Литературные письма» Лессинга.]

Мы не будем здесь излагать содержания лессингова журнала, — это мы сделаем в особенной главе, а теперь скажем только несколько слов об его общем действии, о тех чертах, которыми, со времени «Литературных писем», резко запечатлелась вся жизнь немецкой нации.

Мы видели, какую репутацию имел Лессинг и за что он имел ее. Человек энергического ума и смелого характера, он ненавидел то, что называется «половинчатостью» (Halbheit); чего он хотел, того хотел не шутя, что говорил, то говорил вполне, до конца, — если он не видел возможности или не находил надобности выражать свою мысль во всей ее силе, он лучше вовсе не выражал ее. Поэтому первое впечатление, произведенное «Литературными письмами», было впечатление страшной резкости суждений. Видя необходимость для немецкой литературы в совершенном разрыве с прежними вздорными формалистическими стремлениями, он без всяких церемоний и без малейших уступок доказывал, что все произведение, нравившиеся до той поры публике и превозносимые рецензентами, никуда не годятся, а самые великие литературные знаменитости — или люди бесталанные, или погубившие свой талант (последнее говорил он о Клопштоке, первое — о всех остальных знаменитостях), что все прежние литературные понятия — чистый вздор. Никаких уступок не делал он заблуждению и безусловно отрицал всякое достоинство в явлениях, важного значения которых не смели отвергать даже люди, принадлежавшие к его школе. В этом состоит очевиднейшее отличие «Литературных писем» от «Библиотеки изящных искусств». Примером его пусть служит знаменитая фраза о Готтшеде как драматурге: «Никто не будет отрицать, — говорила «Библиотека», — что немецкий театр в значительной степени обязан своим первым усовершенствованием г. профессору Готтшеду». — «Я этот никто, — говорит Лессинг, чит<ир>уя слова эти в XVII-м письме, — я совершенно отрицаю это».

Резкость суждений была первым условием сильного влияния «Литературных писем» на публику и писателей. Немецкая мысль была тогда одержима такою вялою дремотою, что только самые сильные толчки могли пробудить ее. В этом отношении, как и во всех других, Лессинг был именно человек, в каком нуждалось то время. Только беспощадная диалектика, не оставлявшая ни одного уступчивого слова для успокоения, могла заставить публику и писателей признаться в том, что литературные дела их действи-

тельно в плохом состоянии, и пробудить в них потребность исправления безжалостно раскрытых недостатков.

Теперь мысли, возбуждавшие изумление, когда явились в «Литературных письмах», стали общими местами, суждения о писателях и их произведениях, возбуждавшие негодование, смешанное с удивлением, когда являлись в «Литературных письмах», повторяются в каждом учебнике, — стало быть, энергия выводов и выражения не заводила Лессинга в несправедливую односторонность; но не в том только дело, что он был прав, осуждая Клопштока и Крамера, Готтшеда и Бодмера: не много бы выиграли немцы, если бы научились из «Литературных писем» только верному взгляду на факты, обсуждавшиеся в этом журнале, — факты были вообще не слишком важны и, по правде сказать, не стоило бы труда вовсе и говорить о них, если б немцы были приготовлены к тому, чтоб слушать и понимать суждения о чем-нибудь важнейшем, нежели произведения Готтшеда с его союзниками и противниками. Важно было не столько приобретение немецким обществом суждений о литературных явлениях, сколько то, что вместе с содержанием суждений перешел в немецкую мысль их дух, — дух строгой, не останавливающейся ни перед какими выводами логики, не признающей за заблуждением права на уступки, ищущей только чистой истины, какова бы ни была от того судьба наших личных предубеждений и поползновений.

Нелепо было бы нам, людям посторонним, быть безусловными поклонниками немцев и ставить их поэтов и мыслителей идеалами, перед которыми ничтожны, например, поэты и мыслители английские и французские, — сами немцы не впадают в такую ошибку, тем нелепее была бы она у нас. Но беспристрастные люди всех наций согласны в том, что, если, вообще говоря, французские или английские писатели имеют во многих отношениях превосходство над немцами \*, то по смелости взгляда и логичности выводов немцы стоят далеко выше их. Французы с парадоксальным экстазом провозглашают, сами изумляясь своей смелости, такие мысли, наивность которых кажется пресною для немцев; англичане пресерьезно доказывают справедливость понятий, нелепость которых очевидна для немца с первого взгляда, — кроме того, они слишком плохие диалектики сравнительно с немцами. Широта и беспристрастие взгляда чаще встречаются у немца, нежели у кого-нибудь. Несправедливо было бы считать это достоинство особенным качеством немецкой национальности — логическая сила есть общее достояние человеческого ума; но то несомненно, что вследствие привычки к глубокому и беспристрастному мышлению, это

---

\* Мы, конечно, говорим вообще о характере литератур, а не о немногих писателях, составляющих редкие исключения; Гизо, например, в своей «Истории цивилизации» француз только по изложению, а по духу — немец; Гейне — чистый француз; Мальтус — немец по неуклонной логичности выводов.

драгоценное качество сильнее развито в настоящее время в немецкой, нежели в какой бы то ни было другой нации. Нельзя приписывать, конечно, развитие этой привычки исключительно или преимущественно влиянию одного какого-нибудь человека, — оно было следствием общего состояния Германии в половине прошлого века и свойства тех вопросов, на которые первоначально устремились умственные силы немецкого народа. С одной стороны, факты его жизни были так незавидны, что не могли порождать особенного пристрастия к себе: у немцев не было ни блестящей национальной истории, ни блестящих периодов литературы, как у французов и англичан, ни причин гордиться устройством своего внутреннего быта, как у англичан, или умственным владычеством над Европою, как у французов. Они не имели поводов быть пристрастными — не к чему было пристраститься; не имели поводов быть робкими в выводах из опасения коснуться отрицанием чего-нибудь драгоценного — им было нечего беречь и щадить. С другой стороны, первоначальной школою, в которой воспитывалась их мысль, было обсуждение вопросов, более или менее отвлеченных, — литературы, науки, — в этих сферах привыкнуть к смелости и беспристрастию выводов легче, нежели в сфере бытовых и общественных вопросов, где от положительного или отрицательного решения непосредственно зависит все материальное и общественное положение человека. И самая натура вопросов, к которым первоначально обратилась пробуждавшаяся немецкая мысль, и обстоятельства, в которых пробудилась она, развивали в ней наклонность и потом привычку к логичности выводов и широте взгляда. Но того нельзя отрицать, что насколько отдельный факт может иметь влияние на развитие в обществе известных стремлений, настолько «Литературные письма» содействовали образованию в немецкой мысли того драгоценного качества, о котором говорили мы. Эти письма были первым и чрезвычайно блестящим указанием пути, по которому пошла немецкая мысль. Действие, произведенное ими, было очень сильно: все могли учиться из этого примера, все почувствовали желание идти по дороге, в первый раз проложенной Лессингом.

По своей натуре, чрезвычайно живой и пылкой, Лессинг вообще был расположен работать именно только над тем, что не могло быть совершено другими; в нем жило инстинктивное влечение гениальных людей устремлять свои силы только на существеннейшую часть дела, представляя другим второстепенным людям то, что уже по силам для них — именно разработку поставленной руководителем задачи и пользование доставленными им к тому средствами; кроме того, он, как мы видели, имел ту особенность, что не любил держать в зависимости от себя волю и ум других, — ему было противно завидное для столь многих положение главы школы, окруженного последователями, — главное его задачей было возбуждение самостоятельной деятельности в

других, — как скоро истинный путь был указан, деятельность возбуждена, он чувствовал свое дело совершенным, ему скучно и протавно было участвовать в нем долее, стесняя своим превосходством развитие других, — он чувствовал уже влечение обратиться к решению других задач, еще не тронутых. Именно такой характер и был тогда нужен для возрождения немецкой мысли в мыслителе, который был бы предводителем нового движения. Характер Лессинга как человека соответствовал потребности Германии в таком писателе, который возбуждал бы к деятельности, не отнимая работы у пробужденных умов своим неотступным участием, который научал бы, не подчиняя. Ему скучно было долго оставаться на одном месте или в одинаковых отношениях, — ему нужна была перемена обстановки, разнообразие занятий.

Участие его в «Литературных письмах» было очень непродолжительно, — оно длилось не более того, сколько нужно было, чтобы возбудить напряженное внимание общества к новому критическому направлению и образовать его деятелей, поставить, так сказать, на ноги людей, которые могли бы идти по указанному направлению. «Литературные письма» начались с началом 1759 года, они выходили маленькими еженедельными тетрадками, — первые восемь тетрадок были написаны почти исключительно Лессингом (из девятнадцати «Писем», которые составляют их, только одно шестое написано не Лессингом, — все остальные восемнадцать и общее введение принадлежат ему), — потом он писал много, — около третьей доли всех статей, — до конца октября 1759 года, — потом его статьи стали являться уже очень редко, почти случайно, — потом и вовсе прекратилось его участие, и он только пишет, наконец, заключительное (332-е) письмо, которым в 1764 году оканчивается издание журнала, для которого он в первые два месяца работал один, потом несколько более полугода был одним из самых деятельных участников, но после, в течение четырех с половиною лет, уже не считал нужным принимать участие, когда новое, начатое им направление получило уже возможность продолжаться без его помощи.

Внешнею причиною прекращения постоянной работы Лессинга для «Литературных писем» было то, что он, прожив около двух лет в Берлине, уехал из этого города, — отчасти соскучившись жить в нем, отчасти наскучив добывать себе пропитание литературною работою и подумав о том, чтобы обеспечить несколько свое существование, отчасти, наконец, и то, что ему стало скучно общество берлинских друзей.

Вообще, Лессинг не встречал в жизни таких людей, дружба которых долго сохраняла бы силу над его задушевными стремлениями. Он был слишком многим выше самых лучших из тех, с которыми сводило его взаимное расположение и уважение. Слишком короткие сношения с кем бы то ни было скоро становились для него отчасти скучными, отчасти стеснительными, и он

чувствовал потребность изменить свою обстановку, чтобы дружеские отношения не разорвались его утомлением. Эту черту мы замечаем во многих гениальных людях, — можно сказать, во всех тех из числа их, которые не были подвержены пороку мелкой суетности, находящей удовольствие в порабощении себе кружка поклонников, который воскурял бы им фимиам. Это надобно отличать от холодности или эгоизма. Почти каждый испытывал нечто подобное, когда случалось ему жить в постоянном общении с людьми, стоявшими по уму и развитию ниже его, — как бы сильно ни любил он этих людей, общество их мало-помалу становилось для него скучно, и он, сохраняя готовность делать для них все возможное, начинал думать, что свидания с ними были бы приятнее, если бы сделались реже. Чувство, испытываемое случайно, временно многими из нас, почти постоянно испытывается гениальными людьми. Надолго могут быть приятно постоянные, ежедневные беседы только между людьми, равными между собою. А таких людей почти не приходится встречать человеку, который сам составляет редкое исключение. Отсюда склонность к уединению, овладевающая теми из людей гениальных, которые могут довольствоваться уединением.

Лессинг был не таков. Он не мог жить без людей, однако же, всякий кружок скоро утомлял его, — отсюда у него происходило стремление к перемене кружков, — и самым легким средством к достижению были переезды с одного места на другое. Ни к одному из своих друзей не охладевал он, но нигде не мог ужиться долго, и тем душевнее были возвращения его на некоторое время в тот или другой кружок, после двух-трех лет отсутствия, в продолжение которого также поддерживались самые дружеские отношения перепискою. Один только друг не наскучил ему во всю жизнь, — правда и то, что этот единственный незаменимый друг была женщина, мадам Кёниг, сделавшаяся его женою, когда, после пятилетних мучительных хлопот об обеспечении своего положения для семейной жизни, он увидел, наконец, возможность ввести в свой дом ту, которая уже пять лет была его невестою. Тогда Лессинг поселился в Вольфенбюттеле, — а теперь ему не для кого еще было слишком долго оставаться в Берлине. Тем с большею радостью покинул он Берлин, что жил там единственно литературною работою, а этот способ добывать хлеб тяжел казался Лессингу; да и действительно был тогда самым скудным обеспечением. Случайно представилась ему возможность занять место секретаря при генерале Тауэнцине, бреславльском губернаторе, с тем вместе заведывавшем чеканкою монеты. Генерал был любимцем Фридриха, преданный всею душою своему государю и полководцу. Лессинг давно уже хлопотал, чтобы найти себе какое-нибудь место. Он хотел принять даже должность квартирмейстера при одном из прусских полков, — мало того, носились слухи, что он готов даже поступить офицером в один из мили-

ционных батальонов. Тем с большею радостью принял он место секретаря при Тауэнцине, — место с хорошим жалованьем, простиравшимся чуть ли не до тысячи талеров, — место, обещавшее самую разнообразную и живую обстановку, потому что Бреславль был одним из главных центров военного управления и в то время — время Семилетней войны — кипел жизнью; быть может, Лессинг рассчитывал и на лагерную жизнь, которую действительно пришлось ему испытать через несколько времени, когда Тауэнцин вел осаду крепости Швейдница.

По обыкновению Лессинг ни с кем не советовался в этом случае; по обыкновению даже не предупредил друзей о своем отъезде и внезапно исчез из Берлина, как прежде исчезал из Лейпцига, из Виттенберга и т. д., — Николай с Мендельсоном только могли покачать головою при этом сюрпризе, как прежде качал головою Вейссе, неожиданно нашедши опустевшей квартиру своего друга.

Ускакав из Берлина в конце 1760 года, Лессинг был сначала в восторге от перемены своего положения. Но скоро восторг прошел. Сухие должностные обязанности отнимали слишком много времени у нового секретаря, — он думал, что эта механическая работа будет служить ему отдыхом от его ученых и поэтических трудов, — но он тосковал о том времени, когда мог располагать всеми часами дня по своему произволу. Служебные свои обязанности он исполнял, как надобно думать, очень внимательно, потому что оставался на этом месте более четырех лет, и Тауэнцин просил его остаться, когда он решился возвратиться в Берлин, — но они были скучны для него. В материальном отношении служба при Тауэнцине была самым лучшим периодом в жизни Лессинга. Получая значительное (сравнительно с своими привычками) жалованье, он был далек от нужды, напротив, имел даже избыток, который употребил на составление прекрасной библиотеки. Не менее приятны были и его отношения к бреславльскому обществу. Не стесненный денежными недостатками, он мог иметь все развлечения и, как следовало ожидать от его характера, пользовался ими вполне. Почти каждый вечер, окруженный толпою приятелей, он бывал в театре, — потом вечер заканчивался дружескими ужинами у самого Лессинга или у кого-нибудь из его приятелей. Но интереснее ужина и даже веселых или ученых бесед было для Лессинга другое препровождение времени, к которому он пристрастился в Бреславле, — это карты. Лессинг вел большую игру, — в результате, он не проигрался и не разбогател, но выигрывши и проигрывши его часто бывали очень значительны. Любовь к картам он сохранил до конца жизни, хотя впоследствии играл уже не так часто и, будучи менее обеспечен, должен был вести игру осторожнее и умереннее. В Бреславле же он скоро прослыл одним из самых отважных и страстных игроков. Старые берлинские друзья, да и из бреславльских те, которые были

близки к нему, сильно упрекали его за эту страсть, — но Лессинг шутовски отвечал им целыми длинными речами, в которых доказывал тысячами самых основательных доводов, что азартная игра — занятие не только привлекательное, но истинно полезное для души и тела. Для примера вот одно из этих доказательств. По словам Лессинга, карты — превосходное гигиеническое средство. Этим он опровергал известное замечание, что, не говоря о разорительности для кармана, надобно удерживаться от большой игры уже и потому, что ее волнения разрушительны для организма. «Напротив, — говорил он: — я играю именно для здоровья. Волнение оживляет мой организм; оно возвышает энергию всех физиологических отправлений, разгоняет все накапливающиеся дурные соки и т. д. Вы говорите с ужасом о поте, который выступает у меня на лбу при больших ставках — именно этот пот и есть прекрасное лекарство. Вспотев хорошенько, человек исцеляется от всяких болезней». На подобные выдумки в защиту своего любимого развлечения он был неистощим.

Не одним тем, что он пристрастился к игре, были недовольны его старые друзья, — они упрекали его в том, что он для карт и должностных бумаг бросил литературу. В самом деле, во весь период своей бреславльской жизни Лессинг ничего не напечатал; целые пять лет немецкая публика не читала ни одной новой строки, им написанной. Это в самом деле казалось непростительным погребением таланта в землю. Словесным и письменным укоризнам не было конца. Выведенный из терпения, Мендельсон (с которым он был ближе, нежели с кем-нибудь) не удовольствовался даже и этими способами обличения. Издавая в 1763 году собрание своих «Философских сочинений», он при нескольких экземплярах этой книги, — из которых один был послан к Лессингу, а другие розданы общим их друзьям, — припечатал следующее полушутливое, полусерьезное

#### «Посвящение странному человеку

«Писатели, поклоняющиеся публике, жалуются на глухоту этой богини: она требует, чтобы ее читали и умоляли, говорят они, от утра до полудня они взывают к ней — и нет ни гласа, ни ответа на все мольбы. Я приношу мою книгу к стопам идола, имеющего упрямство быть столь же глухим к мольбе. Я взывал к нему, и он не отвечает. Теперь обвиняю его перед глухим судьей, публикою, — судьей, очень часто изрекающим справедливые приговоры, ничего не слыша.

«Насмешники говорят: Вызывай громогласно! он пишет драмы, он занят делами, он уехал в путь или, быть может, он спит, да пробудится он! — О нет! писать драмы он может, но — увы! не хочет; пуститься в путешествие он захотел бы, но не может; спать? — для этого слишком бодр его дух; заниматься делом? — для этого он слишком ленив. Некогда серьезная речь его была оракулом для мудрецов, насмешка его — бичом для глупцов; но теперь замолк оракул, и безнаказанно буйствуют глупцы. Он передал свой бич другим, но они бьют слишком слабо, потому что боятся видеть кровь; а он — если он не слышит и не говорит, не чувствует и не видит — что ж он делает? — играет!

Wenn er nicht hört, noch spricht, nicht fühlt,  
Noch sieht, was thut er denn? — Er spielt».

Но не трогался Лессинг никакими упреками, — он действительно был глух и нем, — ничего не печатал и играл в карты. Сколько уж лет, работая, как почтовая лошадь, он мечтал о таком положении, в котором не был бы принужден писать и писать, чтобы не умереть с голоду! Принужденная литературная работа тяжелее и прискорбнее всякой другой принужденной работы, — отдых после нее кажется отраднее всякого другого. Лессинг наслаждался им. Но не пропали для него как писателя эти годы, в которые, как казалось постороннему зрителю, он покидал свой секретарский стол только для того, чтобы перейти к карточному столу, из-за официального обеда у своего начальника вставал только затем, чтобы ехать в театр или на вечер (кстати, надобно заметить, что Лессинг был отличный танцор) и потом сесть за шумный ужин, — не бесполезно прошли эти годы. Он находил время для ученых занятий, очень разнообразных и серьезных, — в этом отношении он сделал для себя теперь больше, нежели когда-нибудь. Он читал, по обыкновению, страшно много и постоянно переходил от одной отрасли науки к другой, от одного ученого изыскания к другому. Богословие, философия, эстетика, история, законоведение, естественные науки поочередно были изучаемы им вновь. Не пропали и часы, проведенные в обществе — напротив, они были для него как литератора полезнее, нежели вся его прежняя жизнь. Обыкновенно литературная или ученая карьера как-то мало-помалу отдаляет человека от непосредственной жизни в так называемых прозаических, общественных отношениях, а между тем эти отношения составляют основной элемент жизни, ту почву, на которой развивается вся умственная, нравственная, эстетическая и т. п. и т. п. жизнь, — почву, без непосредственного изучения которой все так называемые высшие направления и стремления будут представляться в фальшивом свете. Писатель или ученый, если он принадлежит только цеху своего специального занятия, мало-помалу приучается смотреть на жизнь с своей цеховой точки зрения; а смотреть на мир с цеховой точки вредно для мысли, какому бы цеху ни принадлежала эта точка, — высокому или низкому, пошлому или идеальному. Поэт, рассматривающий людей в артистическом отношении, не менее односторонен и, по правде говоря, не менее пошл, нежели сапожник, рассматривающий их в отношении к сапожному производству. Потому великое счастье для литератора, если он испытал жизнь не только как литератор, а так же как человек многообразных положений, в которые ставит человека прозаическая карьера, — тогда легче ему оторваться от односторонности, понять жизнь во всей ее правде. На последующих драмах Лессинга отразилось то, что он долго имел сношения с людьми не как

литератор, а как секретарь, через руки которого проходили и военные, и гражданские, и финансовые дела.

Всеми критиками это замечено на драме, dokonчив которую, он оставил место при Тауэндине, — знаменитой «Минне фон-Барнгельм».

Из того, что Лессинг ничего не печатал, пока жил в Бреславле, напрасно заключали его недоверчивые друзья, что он бросил литературный труд. Напротив, лишь только отдохнул он от истощающей нравственные и физические силы срочной работы, как с новым жаром и гораздо большею сосредоточенностью, нежели когда-нибудь, принялся за литературу. Отдых от срочной и мелкой работы послужил ему для создания капитальных произведений, из которых одним положил он начало истинно национальной поэтической литературе в Германии, другим основал новую теорию искусства, принципы которой остались навсегда непреложными. В Бреславле написал он драму «Минна фон-Барнгельм» и исследование о характеристических отличиях поэзии от других искусств — «Лаокоон».

В пять лет ему страшно наскучили официальные обязанности, тоска по литературной жизни развивалась все сильнее и сильнее. Он долго оставался на месте, которым скучал, — это потому, что ему хотелось восстановить отдыхом свое здоровье и сбережениями из жалованья несколько обеспечить себе на первое время средства к жизни. Наконец эти цели были достигнуты, — здоровье поправилось; денег он сберег, правда, немного, — всего несколько сот талеров, — но он видел, что при своей беззаботности о деньгах больше он не соберет. Оставаться долее в Бреславле было незачем, и он решился покинуть место секретаря. В материальном отношении промен службы на литературу был не выгоден, — это он знал сам, это говорили ему и родные, уже надеявшиеся было, что он навсегда останется на служебной дороге, обещавшей много выгод, и сожалевшие теперь, что он разрушал их мечты о его будущем высоком ранге, богатстве и т. д., — но ему стало несносно долее тратить часть времени на сухие официальные обязанности, ему до крайности опротивело быть в официальной зависимости. «Большую половину своей жизни я прожил, — писал он отцу, как бы предчувствуя, что не доживет до старости (тогда ему было 34 года), — и не знаю, зачем было бы мне отравлять [рабством] меньшую остающуюся мне половину ее. Пишу (и должен писать) вам это, батюшка, чтобы вам не показалось странно, когда я вдруг (и это будет скоро) откажусь от всяких надежд и притязаний на так называемое прочное счастье. Теперь я тверже, чем когда-нибудь, решился не принимать никакого должностного места, если оно не будет совершенно по моему вкусу». В самом деле, видно, что очень надоели ему официальные обязанности: ему предлагали кафедру словесности в Кёнигсбергском универси-

тете, но он отказался и явился в Берлин (в мае 1765) снова литературным бобылем.

Именно бобылем, потому что, когда он обзавелся хозяйством, он увидел, что из небольшой суммы, сбереженной в Бреславле, не остается у него ровно ничего. Часть денег, — более, нежели мог, — он, по обыкновению, отдал родным, которых постоянно поддерживал, несмотря на собственную нужду, — обзаведение хозяйством обошлось дороже, нежели он рассчитывал — провоз библиотеки стоил дорого, — помог истощению его кошелька и непредвиденный случай: слуга, с которым обращался он чрезвычайно ласково и гуманно, «скорее как с братом, нежели как с слугою», — и которого он отправил раньше себя в Берлин с платьем и вещами, по приезде в Берлин вздумал действительно разыграть роль бесцеремонного брата: оделся в платье Лессинга, нанял квартиру для «себя и своего брата», в качестве брата воспользовался кредитом, который имел Лессинг, набрал себе денег на его имя, потом удалился из Берлина с платьем, вещами и деньгами. Таким образом, пришлось Лессингу не только делать себе платье (в чем он думал долго не иметь нужды), но и платить долги. Огорчился и рассердился он, нашедши в Берлине такой сюрприз, — особенно потому, что теперь должен был приостановиться на некоторое время исполнением разных обещаний сестре, которой хотел послать подарки, и брату, которому хотел дать денег, — но лишь только прошла первая вспышка досады, врожденное добродушие взяло верх, и он не хотел даже подать жалобы на вора. И когда ему сказали, что бреславльский его слуга купил в каком-то городке домик и открыл кофейную, он заметил только: «А, ну так, значит, мои деньги пошли ему впрок».

Много было ему хлопот и нужды, — пришлось отказаться и от обольстительного проекта посетить Италию, и особенно Грецию, чего ему очень хотелось, — пришлось отказаться и от мечты не торопиться срочною литературною работою для денег, а работать только над капитальными произведениями.

Он хотел было ограничиться одною, двумя любимыми отраслями знания (говорит его брат-[биограф], которого он взял к себе, переехав в Берлин). Этого не удалось, тяжело ему было безвыходно сидеть за письменным столом в душном кабинетном воздухе, — что ему представлялось такою приятною перспективою в Бреславле. Тяжело было и работать не так, как хотелось, а по требованию оригинала в типографию. Вот он погрузился в работу — круг его мысли расширяется, надобно сделать новые исследования, внести в сочинение новые взгляды — какое открытие! — как проясняется предмет! Вопрос представляется в новом свете! — Но стучится в дверь рассыльный из типографии и требует продолжения рукописи, которая печатается. Листы для отсылки в типографию были готовы, надобно было только просмотреть их, — поэтому он встал рано и сел просматривать поскорее, — но ему

пришли новые мысли, — он стал писать, рукопись осталась не просмотрена, — «зайди через два-три часа, будет готово» — «ах, как развлеклись мысли, трудно с вниманием просматривать прежнюю рукопись», — но он не встанет с места, пока не приготовит для типографии, — приходит рассылный в назначенное время, — та же история, то же мученье.

«Он ходил по комнате, садился за стол, вставал, бросался на кровать, — опять садился. — Нет, лучше все, что угодно, чем прочитывать к типографскому сроку свою работу! Брат! — говорил он: — быть писателем отвратительнейшее, пошлейшее дело! Мой пример тебе урок!»

Но так или иначе, печатать было нужно, чтобы не быть без гроша денег, — и эта необходимость заставила его неутомимее трудиться над окончательною обработкою «Минны фон-Барн-гельм» и «Лаокоона».

Имя Лессинга как драматурга было уже прославлено драмою «Мисс Сара Сампсон», которая явилась в 1755. Мы не будем рассказывать здесь содержание пьесы, — это мы сделаем после; теперь довольно сказать несколько слов о ее значении в искусстве. Известен переворот, произведенный во французской драме теорию Дидро о том, что драме пора начать, вместо героев и полководцев, изображать человека такого, как мы все, в такой обстановке и таких коллизиях, которые знакомы всем нам из собственного опыта, по собственной радости и скорби, а не из Тита Ливия и Плутарха; известно громадное действие драм, написанных Дидро по этому принципу. Дидро опирался в этом на английских драматургов, — Лессинг, изучивший Дидро (которого он переводил) и английскую драму, проникся тою же теориею, и «Мисс Сара Сампсон» была следствием этого настроения.

В теории первенство остается бесспорно за Дидро. Лессинг сам говорит, что учился у него; но оправдать на деле теорию, — значит, вполне прояснить ее для себя, Лессинг успел раньше, нежели сам изобретатель теории. Первая драма Дидро из быта средних классов (*tragédie bourgeoise*, *drame bourgeois*) явилась двумя годами после «Сары Сампсон». Дидро написал разбор ее в «*Journal étranger*», и, конечно, восхищается блистательным приложением своей теории к делу. В общей истории литературы Дидро, предупредивший Лессинга в одном отношении, был предупрежден им в другом. В истории немецкой литературы «Сара Сампсон» занимает такое же место и произвела такое же действие, как драмы Дидро во французской. Тут в первый раз холодный блеск и пустозвонное величие внешности уступило место истинному патетизму, театральный герой с картонным мечом — действительному человеку. Дидро справедливо заключает свою рецензию драмы Лессинга словами:

«Быть может, искусству нужно еще усовершенствоваться

в Германии; но германский гений уже обратился к природе, — это истинный путь, да идет он по этому пути».

Искусству действительно оставалось еще сделать в Германии несколько шагов, чтобы создавать истинно великое, — через все эти ступени провел его Лессинг последующими своими драмами. Первое требование, которому надобно было удовлетворить после того, как «Сарю Сампсон» введена была в искусство натура, введен был человек и истинный пафос, — первое требование далее было введение в искусство национального и современного содержания. Это было исполнено Лессингом в драме «Минна фон-Барнгельм».

Мы уже говорили, что Лессинг был первым сильным представителем в немецкой литературе того плодотворного влияния иноземной высшей цивилизации, когда народ от слепого подражания внешней форме переходит к пониманию и восприятию духа цивилизации. «Мисс Сара Сампсон» была произведением этого периода. Теория Дидро и практический пример, указанный английскими драматургами, произвели эту пьесу. Мы видели уже, что Дидро узнал в ней плод своей мысли; еще более очевидно в ней влияние английских образцов, которое отразилось на самом сюжете, выбранном для пьесы. Действующие лица в ней — англичане; вся обстановка действия — английская. Немец виден в ней человека, но еще не видел в ней себя. У нас нет оригинального произведения, с которым можно было бы сравнить «Сару Сампсон» по отношению ее к прежней подражательной формалистической и последующей самобытной литературе с национальным содержанием, — наши русские оригинальные произведения соответствующей степени исторического развития слишком ничтожны. Но, хотя посредством другого способа, в другой отрасли поэзии, в гораздо теснейшей односторонности содержания, сделал для русской литературы нечто подобное Жуковский своими переводами и подражаниями. Он познакомил нас в поэзии с человеческими (вообще человеческими, не нашими именно) чувствами, через него мы узнали, что истинная поэзия не в пышных сюжетах и пустозвонной риторике од, не в изображении героев, которые

Ступят на горы — горы трещат,  
Лягут на бездны — воды кипят,

которые берут приступом города и, не удовлетворяясь этим,

Башни за облак рукою кидают, —

а в доступных каждому из нас, более или менее знакомых каждому из нас чувствах девушки, у которой убит милый («Ленора»), юноши, бросающегося на неизбежную почти смерть, чтобы получить руку любимой и любящей девушки («Кубок»), в ревности мужа, тоскливых страданиях жены, полюбившей другого («Замок Смальгольм»), — это еще не мы как русские, но мы как люди.

Внешность явлений, нами сближаемых, совершенно различна: у Лессинга — драма, у Жуковского — лирические стихотворения; у Лессинга — оригинальное создание, у Жуковского — переводы; у Жуковского во всем примесь болезненного романтизма, у Лессинга — здоровое понимание свежей жизни, — сами по себе сближенные нами явления не имеют ни малейшего сходства; нелепо было бы находить и какое-нибудь подобие между ними по внутреннему достоинству. Но в цепи развития литературной мысли, но по действию на публику, деятельность Жуковского соответствует до некоторой степени тому, что сделал для немецкой литературы Лессинг своею «Сарою Сампсон». Это соответствие состоит в том, что в поэзию введен был человек, истинно человеческий пафос вместо подражательной формалистики и холодного блеска обстановки, — но еще не введено было национальное содержание. Введение его должно было составить новый фазис литературного развития.

Это сделано для немецкой литературы Лессингом в следующей драме «Минна фон-Барнгельм». Тут в первый раз увидели немцы себя и свою жизнь предметом художественного воспроизведения.

По принятому плану, мы расскажем содержание «Минны фон-Барнгельм» в отдельном эскизе, а здесь довольно будет заметить, что сюжет пьесы таков: майор фон-Телльгейм, храбрый прусский офицер, при уменьшении состава армии после Семилетней войны, уволен в отставку. У него была невеста, девушка из богатой саксонской фамилии (Минна фон-Барнгельм). Они любят друг друга. Но, оставшись без куска хлеба и без значения в обществе, Телльгейм думает, что бесчестно было бы ему теперь не освободиться от всяких обязательств относительно его девушку, которая дала ему слово при других обстоятельствах. Между тем невеста с дядею своим приезжает в город, где живет он, — так было условлено прежде. Но жених решился скрыться от невесты, — случайно встречает она его в гостинице, в которой остановилась; он говорит: «я теперь должен отказаться от вас, я вам не партия»; дело кончается, конечно, свадьбою вследствие различных коллизий, которых не нужно здесь рассказывать в подробности, — читатели уже видят, что содержание пьесы взято целиком из немецкой жизни и должно касаться живых тогда современных вопросов, — действительно, оно касается их до такой степени, что в Берлине сначала запретили было представление пьесы, но тотчас одумались. Судьба многих храбрых офицеров, оставшихся по окончании войны без куска хлеба, подобно Телльгейму, возбуждала в Пруссии живое участие (это было вскоре по заключении мира). Сюжет пьесы заимствован, по признанию самого Лессинга, из действительного случая, бывшего в Бреславле. Лица и нравы в пьесе — чисто немецкие. Наконец читатели заметят истинно национальную тенденцию пьесы, — любовь саксонки Барнгельм

и пруссак Телльгейма служит как бы символом примирения разорванных немецких племен, соединения их в одном национальном чувстве, и вся пьеса является протестом против племенной вражды, воззванием к примирению, забвению прошлых обид, — воззванием к национальному единству.

В первый раз являлось все это в немецкой поэзии, — эта народность лиц и сюжета, идеи и обстановки. Чтобы живее понять значение «Минны фон-Барнгельм» в развитии немецкой мысли, мы можем припомнить значение «Евгения Онегина» в нашей литературе. Сравнение этих произведений в художественном отношении, или даже по направлению их, было бы нелепо. Но они сходны в том, что составляет их главное значение: оба они были, каждое в своей литературе, первыми произведениями с содержанием, взятым из национальной жизни, и как «Онегиным» в русской, так «Минною фон-Барнгельм» в немецкой литературе вводится новый элемент, начинается новый фазис развития.

Вспомнив громадный успех «Онегина», мы легко можем вообразить себе, каково было впечатление, произведенное «Минною фон-Барнгельм». Оно было огромно. По несколько месяцев каждый день давалась эта пьеса на театрах, — в продолжение десятков следующих лет число ее представлений на каждом из немецких театров надобно считать едва ли не тысячами. Вся литература быстро изменила характер — количество пьес, написанных под влиянием «Минны фон-Барнгельм», было неимоверно. Эти подражания и переделки, по общей судьбе подражаний, мало обогатили немецкую литературу; но открылся литературе новый мир, — мир родной жизни, — быстро развилась в ней самобытность, окрылились этим направлением самобытные гении, и через шесть-семь лет после «Минны фон-Барнгельм» являются уже «Гец фон-Берлихинген» и «Вертер».

После кратких указаний на содержание «Минны фон-Барнгельм» нет надобности говорить, даром ли прошли для Лессинга как поэта годы, которые прожил он секретарем у Тауэнцина, — вся пьеса возникла из той жизни, свидетелем и участником которой Лессинг был в Бреславле. Через восемь лет после «Мисс Сары Сампсон» — «Минна фон-Барнгельм» \*, — какой огромный шаг вперед! Эти пьесы разделены одна от другой тою бездною, какая разделяет, например, «Светлану» или «Людмилу» от пьесы Пушкина «Жених», — берем для сравнения мелкие примеры, за отсутствием более значительных, но вообще отношение Лессинга как автора «Сары» к Лессингу как автору «Минны» таково же, как отношение Жуковского к Пушкину \*\*.

---

\* Эта драма напечатана в 1767 году, но написана в 1763.

\*\* Конечно, мы сравниваем не таланты поэтов, а места, занимаемые ими в развитии той и другой литературы; не достоинство произведений, а элементы жизни, ими обнимаемые. Само собою разумеется, что и в последнем

До того периода, который начался появлением «Минны фон-Барнгельм», немецкая поэзия страдала безжизненностью. Этот недостаток был общим характером и всех тех периодов различных литератур, которые в первой половине XVIII века считались периодами высочайшего развития поэзии, — безжизненностью страдала поэзия римлян и особенно Virgilia, который был идеалом для итальянских поэтов XVI века и французских поэтов XVII века; безжизненностью страдали и эти поэты, в свою очередь; холодная формалистика, из Италии покорившая Францию, в конце XVII и начале XVIII века из Франции распространилась не только на едва возникающую литературу Германии, но овладела даже и модною английскою литературою, подавила предания, завещанные Шекспиром и Мильтоном. При таком всеобщем владычестве недостаток был возведен в теорию, безжизненность, губившая искусство, была поставлена верховным законом его. Неподвижность, отсутствие действия в поэзии проповедывались теориею, лозунгом которой были знаменитые слова Горация: «*Ut pictura poësis*» — слова, понимавшиеся в самом утрированном смысле: «пусть поэзия превратится в живопись, пусть она подражает живописи». Всем поэтам было заповедано стараться превзойти друг друга длиннотою и мелочностью всяких описаний, рассматривающих предмет как неподвижный, бездейственный. Описательная поэзия была повсюду любимым родом; во всех других родах поэзии рисовались бесчисленные длиннейшие ландшафты, портреты красавиц и героев с описанием каждого волоска; из-за ландшафтов поэт забывал о действующих лицах, из-за портретов действующих лиц забывал о их жизни.

Все это делалось по теории. Теория имеет очень сильное влияние на практику. Не довольно было для оживления немецкой поэзии практически ввести в поэзию жизнь: чтобы поданный пример оказал полное влияние на деятелей литературы, надобно было также теоретически разрушить теоретические предрассудки, сбивавшие с толку поэтов. Не довольно было проложить прямой путь, — надобно было также объяснить, что этот путь единственный прямой путь, что кривые пути, казавшиеся прямыми сбившимся с толку людям, действительно кривы. Нужно было создать новую теорию поэзии, разрушив ошибочные теории, на которые опиралась формалистика и безжизненность.

Это сделал Лессинг своим «Лаокооном». Мы не будем излагать здесь содержание этого исследования о верховном принципе поэзии, отлагая подробный обзор его до другого места, — теперь надобно только сказать о том общем принципе, который поставил

---

смысле подобие не есть равенство. Преемственность фазисов развития одинакова; но по степени силы и полноты, с которыми охватывается данный элемент содержания, между параллельными фазисами различных литератур может существовать бесконечное различие.

Лессинг в «Лаокооне» существенным характером поэзии в отличие от других искусств, особенно от живописи, которой прежняя безжизненная теория подчиняла и тем обессиливала поэзию, требуя от нее того, чего не может она дать, и заставляя ее забывать о том, чем она сильна. Предмет поэзии — действие, сказал Лессинг. Не тело, не природу должна она описывать, — в этом она бессильна, это область живописи, недоступная для поэзии, — она может давать нам понятие только о действии. Живопись изображает самые предметы, поэзия изображает действие предметов на человека, — ей никогда не удастся изобразить пейзаж так отчетливо, как то делает живопись, — но действие этого пейзажа на душу человека изобразит она со всею точностью и живостью, — дело, невозможное для живописи, — а зная действие предмета, мы узнаем и самый предмет, — передайте мне впечатление, производимое пейзажем, и пейзаж жив и отчетлив воссоздается моим воображением, хоть он и не описан у вас. Не описывайте мне в стихах красоту, — описание будет бледно и смутно, но покажите действие красоты на людей, и она живо, живет, быть может, чем на картине, обрисуетса моим воображением. Итак, действие, действие — вот что составляет силу поэзии, составляет ее специальный предмет.

Таким образом, человеческая жизнь поставлялась единственным коренным предметом, единственным существенным содержанием поэзии, драматический элемент признавался основною силою ее. Ничего неподвижного, ничего мертвого и отвлеченного не должно быть в поэзии. Она рассказывает только, каким образом действует обстановка на человека и человек действует на окружающий его мир. Поэзия есть драма жизни\*.

Со времен Аристотеля никто не понимал сущность поэзии так верно и глубоко, как Лессинг. Его «Лаокооном», в первый раз в течение двух тысяч лет, были объяснены и оправданы намеки Аристотеля, остававшиеся непонятными до той поры.

Действие, произведенное «Лаокооном» на развитие немецкой литературы, было так же огромно, как действие «Литературных писем» и «Минны фон-Барнхельм». Гёте и потом Шиллер воспитались этою теориею. Сам Гёте, который не любит Лессинга, говорит в своей автобиографии: «Надобно быть юношею, чтобы вообразить себе, какое действие оказал на нас лессингов Лаокоон (Гёте было тогда лет восемнадцать), — он поднял нас из бедной сферы внешних очертаний в свободную область мысли. Разом было низвергнуто искаженное понятие о том, что

---

\* Драматический элемент, конечно, не должно смешивать с драматическою формою. По теории Лессинга, форма рассказа, воспроизводящая все элементы действия полнее и свободнее, нежели односторонняя диалогическая форма драматических сочинений, есть самая совершенная из поэтических форм. В ней более истинного драматизма, нежели в узкой диалогической форме.

поэзия должна подражать живописи. Мы были озарены, как молнией, отбросили все прежние понятия, как ветхую рухлядь, нам казалось, что мы спасены теперь от всякого зла».

Влияние «Лаокоона» на главных поэтических деятелей следующего периода немецкой литературы было так решительно, что даже второстепенные, мелочные замечания Лессинга были строго соблюдаемы ими. Укажем два примера. Лессинг, разбирая места, которые считались примерами поэтической живописи у Гомера (он первый сказал, что если есть руководители в искусстве, то этими руководителями должны считаться Гомер и Шекспир, и в написанной части «Лаокоона» все свои выводы основывает преимущественно на анализе Гомера), объясняет, что это не описания предметов, а рассказы о происхождении и судьбе этих предметов, — Гомер не описывает корабля, а рассказывает, каким образом был построен корабль. Этим примером подтверждает он свою мысль, что, если поэту нужно обрисовать черты и принадлежности предмета, приличнее всего ему не прямо изображать их в неподвижном их состоянии, готовыми, как то делает живописец, а все-таки рассказывать для этой цели о движении, переменах действия. У Гёте постоянно соблюдается этот прием. Далее, Лессинг замечает, что у Гомера нет портретов действующих лиц, — он не говорит нам даже, какого роста и какого характера красоты была Елена, — а между тем все черты лица Елены очень ясны и живы для его читателя, — это потому, что он рассказывает о впечатлениях, которые производило это лицо на видевших его, — и это опять соблюдается у Гёте: у него нет портретов, есть только рассказы о впечатлениях, производимых лицами. После таких примеров ясно, до какой степени «Лаокоон» воспитал поэзию Гёте. Гёте, конечно, никто не станет воображать человеком, который мог останавливаться на внешней зависимости от мелочных правил, — если эти детали лессинговой системы отразились на нем, то, конечно, только потому, что он слишком глубоко проникся духом, из которого возникала необходимость таких деталей.

После «Литературных писем» Лессинг начал считаться первым критиком Германии; после «Лаокоона» утвердился его репутация как великого мыслителя и великого ученого; после «Минны фон-Барнгельм» он был признан знаменитейшим из поэтов. Теперь все видели, что он стоит во главе немецкой литературы.

Он был оракулом молодого поколения. Гёте, Гердер, Мерк, изучая его, готовились выступать на дорогу, им открытую. Какое живительное влияние производило прикосновение его мысли и на людей, которые были старше его летами и ученою славою, но не отжили еще свой век в умственном отношении, показывает случайно сохранившийся анекдот о свидании его с Михаэлисом. Около того времени, о котором мы говорили в

конце статьи, Лессинг ездил из Берлина в Пирмонт отчасти для развлечения, отчасти для поправления здоровья. На обратном пути он заехал в Гёттинген, где жил Михаэлис, основатель новой экзегетики. Михаэлис был, как мы упоминали, знаменитый человек еще в то время, когда Лессинг только еще начинал писать и своею похвалою ободрял юношу. Лессинг чувствовал к нему признательность и навестил его. Разговор склонился на теологические науки, в которых Михаэлис по справедливости считался тогда первым специалистом. Лессинг заметил вообще, что наука в Германии остается до сих пор доступна только записным ученым, которые не заботятся о том, чтобы распространять в массе читателей ее результаты. Например, говорил он, перевод Библии Лютера, конечно, уж мог бы быть заменен лучшим и точнее — этого никто не сделал, а надобно было бы сделать это и издать новый перевод с пояснительными историческими и археологическими примечаниями, которые, имея ученое достоинство, были бы написаны не для одних специалистов, а для всей массы читателей. Михаэлис до того времени и не думал об этом — теперь мысль заронила в его ум, — и следствием визита, сделанного ему Лессингом, было появление знаменитого михаэлисова немецкого перевода Библии по плану, изложенному Лессингом.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Жизнь Лессинга в Берлине по возвращении из Бреславля. — Гамбургский национальный театр. — «Гамбургская драматургия». — Типография. — Клоц. — «Антикварские письма». — Жизнь Лессинга в Гамбурге. — Переселение в Вольфенбюттель. — Лессинг как библиотекарь. — «Эмилия Галотти». — Поэты нового поколения. — Отношения Гёте к Лессингу. — Лессинг покидает беллетристическую деятельность.

1767—1774

Оставив место секретаря при Тауэнцине, около двух лет прожил Лессинг в Берлине, постоянно чувствуя необходимость изменить свое тяжелое положение, но не имея в виду ничего лучшего. Никакая нужда не могла заставить его заняться тем, что называется «приискивать себе место»: ни разу в жизни не похлопотал он никому, не сделал ни одного шагу к сблужению с так называемыми «нужными и полезными людьми». «Кто думает, что я мог быть полезен на каком-нибудь месте, пусть сам придет ко мне и предложит его», — от этого правила не отступал он никогда. Конечно, ему долго приходилось ждать таких предложений. Когда, наконец, приходили и предлагали ему место, опять-таки трудно было угодить ему. Не то чтоб он хотел непременно важного места или места с большим жалованьем, — напротив, он с радостью готов был принять самую скромную должность,

но только тогда, если она удовлетворяла двум условиям: не вовлекать его ни в какие партии, ни в какие интриги и не возлагать на него обязанностей, не сообразных с его убеждениями. Эти два требования не позволяли ему принимать именно тех должностей, которые чаще всего предлагались ему, — именно профессорских мест. Тогдашние немецкие университеты казались Лессингу ремесленными заведениями, в которых господствует педантизм, в которых все делается по интригам мелких партий и могут иметь вес только льстецы и шарлатаны или обскуранты. Сделавшись профессором, он должен был бы принимать участие в интригах, должен был бы отказаться от независимости мнений, потому он всегда наотрез отказывался от предложений занять кафедру в том или другом университете. Скорее он готов был опять взять должность по гражданской службе, но таких случаев ему не представлялось. Так прошло два года. Наконец дождался Лессинг предложения, которое мог принять: его пригласили быть «драматургом» при театре, который устраивался в Гамбурге под громким именем «национального» и во многих пробуждал великолепнейшие надежды.

Образованные любители театра не могли не видеть, что сценическое искусство в Германии находится в жалком положении сравнительно с тем, что представляли парижские и лондонские театры. Германия имела несколько превосходных артистов и артисток, — например, в это время (1765—1770) Экгофа, г-жу Экгоф, Шульц-мать, Бёка, г-жу Гензель, г-жу Мекур; но ни один город не имел постоянного театра, обстановка пьес была плоха. Главною причиною этого недостатка считалось то, что все труппы содержимы были частными антрепренерами, не имевшими больших средств, заботившимися исключительно о своих выгодах и потому переезжавшими из одного города в другой, смотря по тому, где надеялись получить больше прибыли. Мысль о необходимости основать в больших городах постоянные театры, содержимые на общественный счет, естественно представлялась каждому, кто думал об этом положении дел. Около 1765 года нельзя еще было надеяться, чтобы какое-нибудь из германских правительств приняло на себя эту заботу. Дворы хотели иметь только французский театр или итальянскую оперу, о немецком театре и не думали вельможи, все мысли которых были заняты версальскими модами.

Из городов богатейшим, можно сказать единственным, действительно очень богатым, был тогда Гамбург. На нем прежде всех других лежала обязанность помочь усовершенствованию немецкого театра, от которого отказывались дворы. Некто Лёвен, жена которого, урожденная Шенеман, была прекрасною актрисой и который сам, занимая довольно хорошее положение в обществе, очень любил писать для театра, начал около 1766 года сильно хлопотать о том, чтобы составить из гамбургского

купечества общество меценатов, которое основало бы в Гамбурге постоянный театр с богатыми средствами. Случайные обстоятельства помогли его хлопотам; составилось общество, душою которого был Лёвен и которое располагало значительным капиталом. Общество это взяло у прежнего содержателя гамбургской труппы на аренду здание театра и пригласило к бывшей уже труппе многих хороших актеров из других трупп. Лёвен был назначен директором театра. По его мысли, дирекция должна была всеми силами заботиться о развитии вкуса и образованности в актерах. Сам Лёвен хотел читать им лекции о сценическом искусстве. Кроме того, при театре должен был находиться «драматург». По мнению Лёвена, Лессинг был первым драматическим писателем Германии, потому Лессингу и было предложено место «драматурга». Жалованья ему назначалось 800 талеров.

Лессинг принял это приглашение. «Когда, с год тому назад (говорит он в конце своей «Драматургии»), некоторым почтенным людям вздумалось попробовать, нельзя ли поднять немецкий театр, взяв его из власти антрепренеров, — не знаю, каким образом вздумалось этим добрым людям вспомнить и обо мне и вообразить, что я могу быть полезен этому делу. А я в то время стоял на рынке без работы; никто не хотел меня нанять, без сомнения, потому, что я никому ни на что не годился, — только эти друзья предложили мне работу. Всякое занятие было для меня равно в жизни. Никогда я не напрашивался ни на что, но никогда и не отказывался от самого ничтожного дела, если только мне казалось, что его мне предлагают потому, что считают меня годным к этому делу. Потому нечего было мне и задумываться над вопросом: принять ли мне участие в этом деле? Надобно было подумать только о том, могу ли и чем именно могу я быть полезен для основывавшегося в Гамбурге театра?» После этих слов Лессинг говорит, что сочинением драматических пьес он не мог оказать новому театру большой пользы, потому что неспособен писать по тринадцати драм или комедий в год, как Гольдони: «Я долго обдумываю пьесу, и если написал что-нибудь порядочное, то единственно потому, что сам очень подробно и внимательно критиковал свой план и все его подробности, говорит он: только посредством критики производил я поэтические создания, оттого и не могу писать их скоро, как делают другие». — «Наконец придумали, что именно то самое качество, которое делает меня таким медленным, или, по мнению моих друзей, одаренных более живым талантом, таким ленивым работником, — что это самое качество, критику, можно обратить в пользу для театра. Таким-то образом явилась мысль об этих листках» («Гамбургской драматургии»). — «Чем должны были быть эти листки, я говорил в объявлении о них (продолжает Лессинг): они должны были следить за каждым шагом искус-

ства на здешнем театре, как относительно достоинства самых пьес, так и игры актеров».

Зачем приглашаем был Лессинг в Гамбург, этого, кажется, не понимал хорошенько сам Лёвен, пригласивший его; ему казалось вообще полезным, чтобы при театре, от которого ожидали таких великих последствий, находился и первый драматический писатель Германии; он думал, что Лессинг будет писать пьесы для театра; думал и то, что он будет давать советы относительно выбора пьес; думал, вероятно, и то, что он будет участвовать в их постановке; наконец, быть может, думал и то, что Лессинг будет театральным критиком.

Лессинг, приехав в Гамбург, тотчас же решил, что будет издавать театральный листок, в котором станет с равным вниманием разбирать и пьесы, иггранные на театре, и игру актеров. В этом деле он мог быть совершенно независим, между тем как в выборе пьес, кажется, он вовсе не участвовал, — такое решение было сообразно с его характером: он не принимался за дело, которого не мог вести, как ему казалось нужным. От сочинения пьес для театра он вовсе отказался. Таким образом, он, под именем «драматурга», принял на себя обязанности театрального критика.

Скоро, однако, он увидел, что и этого дела нельзя исполнять так, как ему сначала хотелось: актеры и особенно актрисы обижались его замечаниями об их игре; одна из первых актрис, г-жа Мекур, с самого начала потребовала, чтоб о ее игре в лессинговых листках не говорилось совершенно ничего. Эти стеснения и претензии тотчас же надоели Лессингу, и он бросил разбор игры актеров, ограничившись разбором самых пьес.

«Разбирать игру актеров скоро мне наскучило (продолжает Лессинг в последнем номере «Драматургии», после написанного у нас отрывка). Актеры обидчивы. Сколько ни хвали их, им все кажется мало; каждое замечание кажется им уже чрезмерною строгостью».

По своему характеру, Лессинг не любил ничего делать наполовину: он бросил, как мы сказали, заботу об актерах и занялся исключительно пьесами.

Сначала номера «Драматургии» выходили действительно отдельными листками, по два раза в неделю. Но через несколько времени Лессинг узнал, что они перепечатываются каким-то недобросовестным книгопродавцем, и, чтобы прекратить эту кражу, он издал продолжение своей «Драматургии» уж целою книгою, сохранив в ней только счет номеров и обозначение числа и месяца, когда должен был выйти каждый номер. По этому счету (104 номера, от 22 апреля 1767 до 19 апреля 1768 года) издание журнала продолжалось ровно год.

Немногим дольше продолжалось и существование «национального театра». Актеры и потом основатели театра начали

ссориться между собою; публика плохо поддерживала велико-  
лепное предприятие, расходы которого были так велики, что не  
могли покрываться обыкновенными сборами. Театр был открыт  
в конце апреля 1767 года; в декабре дирекция увидела уже не-  
обходимость на зиму перевести труппу в Ганновер, с тем чтобы  
весною снова начать представления в Гамбурге, то есть сделать  
то же самое, что делали антрепренеры, переносившие свои  
представления из города в город, потому что один город не мог  
долго давать полных сборов. Весною труппа действительно во-  
зобновила свои представления в Гамбурге, но денежные дела  
дирекции запутывались все больше и больше, и в ноябре гро-  
мадный замысел кончился банкротством. Акерман, который  
прежде содержал в Гамбурге театр и из труппы которого были  
лучшие актеры в труппе «национального театра», снова сделался  
антрепренером, и гамбургцы были очень рады, что театр их воз-  
вратился к тому самому положению, в каком был за два года.

Единственным результатом пышной, но преждевременной и  
дурно обдуманной в своих подробностях и средствах попытки  
Лёвена остался театральный журнал Лессинга, знаменитая «Гам-  
бургская драматургия». В том, что Лессингу, вместо бесплодных  
и мелочных забот режиссера, вздумалось принять на себя обя-  
занность театрального критика, Лёвен был вовсе не виноват, он  
и не думал об этом, как по всему видно. Мысль издавать теат-  
ральный журнал принадлежала одному Лессингу; ни во что дру-  
гое Лессинг не вмешивался, — и единственное дело, возникшее  
в этом предприятии по его мысли и исполненное им, осталось  
единственной важною стороною предприятия. Правда и то, что  
это дело своею важною далеко превысило все надежды, какие  
возлагались на «гамбургский национальный театр».

«Литературными письмами» Лессинг доказал ничтожность  
прежней немецкой литературы и очистил место для нового зда-  
ния, сломав хилые и гнилые лачуги, отбросив далеко всю гниль,  
которую покрывали они землю. «Лаокооном» он указал вообще,  
в чем должен состоять дух истинной поэзии. «Гамбургская драма-  
тургия» объяснила, в чем должны состоять существенные ка-  
чества того рода поэзии, который должен был господствовать в  
начинающемся с Лессинга периоде немецкой литературы, — дал  
теорию драмы.

В наше время, когда господствующий род поэзии есть рас-  
сказ, повесть, роман, трудно понять, почему когда-нибудь дра-  
матическая форма могла быть важнейшею формою поэзии\*.

---

\* Само собой разумеется, что мы здесь говорим с читателем, который  
судит о вещах так, как понимает их сам, а не с устарелыми теориями, предпо-  
читающими драматическую форму форме рассказа. Конечно, сценическое  
представление есть нечто более живое и сильнее действует на человека,  
нежели чтение книги. Но не должно забывать, что театр существует для  
немногих городов, и в этих городах — для немногих определенных часов.

Признаемся, что мы не умеем сказать, почему в цветущий период немецкой поэзии драма могла иметь живое и законное право на господство в поэзии, почему Шиллер и прежде его Гёте были драматургами, а не романистами, если не объяснять этого пристрастия к драматической форме просто тем, что поэзия новой истории еще не успела в то время выработать себе соответствующей формы, какую выработала теперь в повести и романе, еще не успела понять, что придворная (как у Шекспира, Корнеля и Расина) или праздничная (как у греческих драматургов) одежда сценического искусства недостаточна для нее, будничной подруги каждого из нас. Господство драматической формы в цветущий период немецкой поэзии кажется нам просто делом предания, отпечатком исторической связи новой поэзии с старинною. Но это наше личное мнение, которого мы не хотим навязывать читателям. А другие объяснения этого факта — превосходством драматической формы над эпической или необычайно важным значением театра для немецкой жизни в последней половине прошлого века — решительно не выдерживают критики. Книга тогда для немцев была настолько же важнее сцены, насколько важнее она теперь для немцев, французов, англичан, русских. А в превосходстве драматической формы над рассказом не уверишь читателя нашего времени. Не желая навязывать читателю своего объяснения, быть может ошибочного, не желая обманывать его и себя другими объяснениями, без всякого сом-

Книга проникает повсюду, готова для каждого везде и во всякий час. Театр — редкий праздник для горожан; книга — постоянное достояние всего народа. Сценическое представление, конечно, есть нечто высшее, нежели читаемая поэзия; но оно не принадлежит исключительно поэзии, как отдельному искусству, а само должно считаться особенною формою искусства, соединяющею в себе все силы, которыми каждую в отдельности владеют другие искусства, — скульптура (и даже архитектура, в декорациях), живопись, музыка, поэзия — все соединяется в сценической форме искусства. Печатный текст трагедии или комедии в драматическом спектакле играет роль немногим важнее той, как либретто в опере, — он только один из элементов целого. А если мы возьмем этот элемент (печатную драматическую пьесу), как нечто предназначенное для чтения, и сравним с произведением поэзии, имеющим форму рассказа (повесть, роман), то будем поражены оборванностью, угловатостью, бледностью, натянутостью этой несчастной печатной драмы. Сценическое искусство, принимая в себя словесный текст, страшно обрезывает и уродует его, чтобы втиснуть в рамку диалога все моменты жизни. Театр безжалостен к поэту.

При настоящем состоянии общества, когда нация не есть один город, как было в Афинском государстве; когда поэзия нужна нам не два раза в год, как афинянам, слишком занятым другими делами, а каждый день, — когда для нации книга в тысячу раз нужнее и важнее театрального спектакля, — истинный поэт не должен бы писать для театра: пусть люди второстепенные, пусть таланты, которые способны только к аранжировке, переделывают его рассказы для сценических представлений. Из «Ламмермурской невесты» трагедию сделать так же легко, как и либретто. Превращение романов в драматические пьесы могло бы быть предоставлено тем же людям, которые превращают романы в либретто.

нения ошибочными, мы лучше хотим просто указать голый факт: в цветущий период немецкой поэзии драме суждено было господствовать над поэзией.

В произведениях Лессинга как поэта, кроме лирических стихотворений, мы находим только драмы; все поэты следующего периода «бурных стремлений» (*Sturm und Drang-Periode*) также, кроме лирических стихотворений, писали почти только драмы; Гёте написал только один удачный роман («Вертер») — все остальные его произведения в эпической форме неудачны; у Шиллера нет ни одного такого произведения; слава обоих поэтов основана (кроме лирических стихотворений) на драмах.

Отчего бы это ни происходило, но, во всяком случае, вопрос о драме был самым важным для немецкой поэзии в ее цветущий период. С Лессинга начинается господство драматической формы, которое продолжалось до самого упадка немецкой поэзии и которое отчасти должно быть приписано, кроме влияния Шекспира, примеру, поданному Лессингом, но основание которому лежало, конечно, в духе времени. Надобно было дать и образцы и теорию этой формы искусства, — то и другое сделал Лессинг. «Минна фон-Барнгельм» уже была написана и производила огромное действие; вскоре за нею должна была последовать «Эмилия Галотти», влияние которой было не менее сильно. Теперь по поводу гамбургского театра. Лессинг дал теорию драмы в своей «Драматургии». Нет надобности повторять то, что мы уже сказали по случаю «Лаокоона» о важности теории для практики; нет надобности говорить в частности о том, какое великое значение имела для последующего развития немецкой поэзии «Драматургия», объяснившая теорию важнейшей формы этой поэзии. «Гамбургская драматургия» была кодексом, на основании которого возникли «Гец фон-Берлихинген» и «Фауст», «Разбойники» и «Вильгельм Телль». «Лаокооном» был воспитан общий дух поэзии Гёте и Шиллера; «Гамбургскою драматургиею» даны законы их трагедиям.

Есть в «Драматургии» другая сторона, имевшая не менее значения для немецкой поэзии, но с тем вместе простершая свое влияние далеко за пределы искусства, на всю умственную жизнь германского народа. Чтобы очистить место для истинной теории драмы, Лессинг должен был разрушить прежнюю ложную теорию, показать, что и правила псевдоклассической теории, и произведения, написанные по этим правилам, не выдерживают критики. Таким образом, пришлось ему иметь непосредственное дело с французскими драматургами, которые считались величайшими гениями по своей части, — с Корнелем, Расином и Вольтером. Нечего и говорить о том, с какою беспощадною резкостью разбирал он их произведения, — они были истерзаны и обдерганы до того, что человек, прочитавший «Гамбургскую драматургию», не мог без некоторого презрения подумать о писа-

телях, нелепость произведений которых доказана так ясно и язвительно. Эта безжалостность была необходима для разрушения закоснелого предубеждения, чрезвычайно упорного и наглого. Она достигла своей цели, — не только немцы, но все люди других наций, знакомые с германскою литературою, до последнего времени не могли вспоминать о классической французской драме без презрительной усмешки. Напрасно Шиллер и Гёте, лет через тридцать после «Драматургии», по общему уговору, переводили французские драмы, думая, что уже настала пора отдать справедливость тому, что было в них хорошего. Лессингова насмешка отзывалась в памяти всех, и великие поэты только подвергались осуждению за то, что занялись произведениями, недостойными их таланта. «Гамбургская драматургия» разом похоронила псевдоклассицизм.

Эта полемическая сторона не составляет главного в ней, — Лессинг занимается отвержением псевдоклассической драмы только для того, чтобы очистить место для новых идей, изложение которых и было его существенною целью. Но владычество псевдоклассической драмы было так сильно, что борьба с нею всего сильнее заинтересовала на первый раз умы читателей. Они не могли сомневаться в том, что Корнель и Вольтер (как драматург) совершенно уничтожены Лессингом. Как, немец поразила насмерть величайшие французские авторитеты, перед которыми преклонилась вся Европа! Эта победа чрезвычайно ободрительно подействовала на немецкий ум. Это не то что пустая похвала своей национальности, — нет, это положительное доказательство того, что немцы могут выйти из-под умственной зависимости от иноземцев, — мало того, что немцы могут теперь в свой черед иметь решительный голос в умственной жизни Европы, что Германия должна стать центром умственного движения новой эпохи. Действительно, с той поры совершенно изменяется характер понятия, какое немцы имеют о значении своем между другими народами. «Нам нечего ждать чужих решений, — у нас есть головы, каких нет нигде; уж если прислушиваться к чьему-нибудь мнению, то прислушаемся к тому, что говорят в Гамбурге, в Вольфенбюттеле, в Кенигсберге, в Берлине, в Веймаре, в Иене», — за Лессингом выступают Кант, Гёте, Шиллер, Фихте, — у всех этих людей одно общее чувство: сознание великого своего превосходства над иноземцами, действующими на одном с ними поприще; один общий тон в голосе: тон человека, сознающего, что он идет во главе умственного движения своего времени, что он трудится не для одного своего народа, а для всего цивилизованного света, потому что народ, которому он говорит, должен вести за собою все народы. Это сознание проникает всю нацию. И скоро все остальные нации действительно начинают говорить: «нам нужно учиться у нем-

цев: кто не хочет быть отсталым человеком, должен пройти школу немецких поэтов и мыслителей».

У нас, которые этому сознанию превосходства немецких поэтов и мыслителей не могли противопоставить воспоминаний о каком-нибудь прежнем умственном владычестве нашем над Европою, немецкое влияние утвердилось очень быстро. У англичан и французов, которые имеют в этом случае очень блистательные воспоминания, борьба узкого национального пристрастия с требованиями справедливости должна была быть гораздо упорнее. Она ведется до сих пор, и с каждым годом усиливается в Англии и Франции влияние мыслей, выработанных на немецкой почве. Между тем как сами немцы, уже достигнув результатов, которых искали в области эстетических чувств и философских понятий, уже охладевают к своим прежним поэтам и философам и переносят свои стремления к другим сферам жизни, в которых чувствуют себя отсталыми, — в это время французы и англичане все более и более проникаются сознанием необходимости усвоить себе то, что уже приобретено немцами, и заменить своего Декарта или Локка Кантом и Гегелем.

Странно подумать о том, к каким сферам часто принадлежат факты, оказывающие решительное влияние на развитие народного сознания, и на какие дороги часто становятся историческими отношениями люди, деятельностью которых изменяется понятие целого народа о самом себе. Вопрос о теории драмы был важнейшим случаем, из которого немцы получили гордое сознание своих сил, — а между тем, казалось бы здравому смыслу, что может быть для исторической жизни народа менее важнее такого спора? Но, когда внимательно посмотришь на ход исторического развития, почти всегда видишь, что оно шло по каким-то узким и извилистым путям, там, где прямая и естественная дорога была загромождена непреодолимыми препятствиями.

Надобно заметить одну черту Лессинга, о которой уместнее всего сказать по случаю «Гамбургской драматургии», произведения, начинающего собою эпоху справедливого уважения немецкого народа к самому себе. Писатель, деятельность которого пробудила в Германии патристическую гордость и самое чувство национальности, был решительный космополит и стоял в отрицательном отношении к понятию национальности.

После того как разрушилось предприятие, подавшее повод к изданию «Гамбургской драматургии», Лессинг вновь увидел себя в очень затруднительных обстоятельствах. Когда он переезжал в Гамбург, он имел в виду, кроме места при «национальном театре», еще другое занятие, которым надеялся обеспечить свою будущность. Некто Боде, довольно известный писатель того времени, вздумал основать в Гамбурге типографию и предложил Лессингу, с которым был хорош, сделаться его ком-

паньоном. Лессинг собрал несколько сот талеров, продав с аукциона в Берлине свою обширную библиотеку, которую составил, когда служил в Бреславле, и принялся вместе с Боде за типографское дело, — но дело пошло неудачно, главным образом потому, что у основателей типографии было гораздо меньше денег, нежели было нужно. Отчасти повредило предприятую и то, что Боде и особенно Лессинг жертвовали коммерческим расчетом желанию ввести в типографское дело разные усовершенствования, которые были не под силу им и отвергались книгопродавцами. Типография принесла только убыток и Лессингу и его товарищу.

Давно уже Лессинг не принимал участия в немецкой журналистике: дух партий и котерий был невыносим для него; считаться главою какой-нибудь школы казалось ему несообразным с духом той независимости, которой требовал он для себя и которую всегда хотел он внушить другим. С первых томов «Литературных писем» перестал он писать рецензии, как только показалось ему, что он уже достаточно указал дорогу для нового критического направления. Когда, после «Литературных писем», Николай основал (1765) «Всеобщую немецкую библиотеку» (Allgemeine Deutsche Bibliothek), Лессинг не принял никакого участия в новом журнале, как давно уже перестал участвовать и в «Литературных письмах». Журналы эти, благодаря тому, что первый из них получил направление от Лессинга, сохраняли господство в литературе, тем более, что масса публики все еще предполагала его участие не только в «Литературных письмах» до конца их издания, но и во «Всеобщей библиотеке». Однако же не напрасно жаловался Мендельсон\*, что «безнаказанно стали снова буйствовать глупцы» с тех пор, как Лессинг покинул «Литературные письма». В самом деле, противники, смирившиеся перед Лессингом, почувствовали, что «другие, которым он передал свой бич», «бьют слишком слабо», и, ободрившись, снова попробовали поднять голову. Те люди, которые подверглись ударам Лессинга, уже не могли восстановить своего авторитета, но явились новые люди, вздумавшие действовать в духе прежних партий. Самым сильным из этих людей был Клоц, в короткое время достигший значительности теми же самыми средствами, какие некогда доставили литературное могущество Готтшеду. Клоц был бесспорно человек очень даровитый, но недобросовестный. Ученая и литературная деятельность была для него только средством возвысить свое положение в обществе. Ластивый и наглый, он, сделавшись профессором в Галле, скоро, посредством интриг и шарлатанства, получил значение не только в своем университете, но и во многих других. Людей,

---

\* В посвящении своих сочинений, которое привели мы в предыдущей главе.

которые покровительствовали или служили ему, он превозносил без всякой совести и умел оказывать им услуги. Стоило только молодому человеку примкнуть к нему, и Клоц наверное доставлял ему кафедру в том или другом университете. Он основал два критические журнала, — один на латинском языке, чтобы задавать тон педантам, другой на немецком, чтобы распространять влияние издателя на массу. Кумовство и личные отношения были единственными правилами критики Клоца и его клеветников. Писателей, искавших его покровительства, Клоц хвалил без всякой меры; писателей, заслуживших его немилость, он не только бранил бесстыдно, но и чернил перед публикою, выставя их частную жизнь в грязном виде. Никто не был безопасен от его вражды. Особенно преследовал он «Всеобщую немецкую библиотеку» Николаи из корыстного соперничества.

Клоц был человек очень даровитый; он писал прекрасно, умел выказать себя великим ученым, был в самом деле богат знаниями и еще богаче был шарлатанскими уловками, владел сарказмом с большою ловкостью, в борьбе за своих клиентов или против своих врагов не пренебрегал никакими средствами, имея очень сильные связи в литературе и в обществе, — зато он был оракулом всех простаков, покровителем всех самолюбивых людей, которые превозносили его от души, получая от него плату тою же монетою, и внушал страх всем без исключения. Самые учнейшие люди писали панегирики его учености, самые знаменитые поэты возвышали до небес его критический талант. Такого блестящего положения он успел достичь очень быстро, — ему было всего еще только двадцать девять лет. Нагледцов и шарлатанов много, но редко кто из них так рано достигает своей цели. Клоц был человек, далеко возвышавшийся своими способностями над обыкновенным уровнем.

Клоца боялись все; сам он достиг уже такого положения, что смотрел на всех свысока и чувствовал инстинктивный страх только к одному Лессингу. Когда явился «Лаокоон», галлесский диктатор написал к Лессингу льстивое письмо, в котором, осыпая его похвалами, просил позволения разобрать эту книгу в своем журнале. Лессинг отвечал ему очень учтиво, но под деликатными фразами проницательный Клоц заметил что-то похожее на презрение и был жестоко оскорблен. Всякому другому он дал бы почувствовать свой гнев бесцеремонною печатною бранью, но с Лессингом он не хотел ссориться и скрыл свое чувство, — почел даже нужным вновь заискивать его расположения новым, чрезвычайным доказательством своего уважения. Клоцу вздумалось сделать извлечение из огромной «Всеобщей истории», составленной обществом английских ученых. Один из друзей советовал ему не браться за это дело. Клоц поручил этому приятелю, отправлявшемуся в Берлин (тогда Лессинг жил еще в Берлине), спросить, что думает Лессинг. Лессинг

сказал, что не советует Клоу братья за дело, которое ему не по силам, — и Клоу послушался. Написав разбор «Лаокоона», Клоу послал эту статью Лессингу при льстивом письме. Рецензия проникнута чувством восторга; в некоторых вопросах рецензент высказывает мнение, не согласное с мнением автора, но эти вопросы неважны, замечания изложены самым почтительным образом, и в первом своем письме Клоу уже просил позволения сделать их; они служат только к тому, чтобы еще более возвысить книгу и автора, которому Клоу решительно отдает первое место между всеми знаменитостями Германии — *cui dudum principem inter Germaniae ornamenta locum Musae tribuerunt*, говорит он о Лессинге (рецензия помещена была в латинском журнале Клоу) — «его давно уже музы сделали первым из людей, которыми гордится Германия». Бедный Клоу! Всегда он действовал по расчету, хвалил не по убеждению, а из выгоды, тут только в самом деле говорил от чистой души, — в письме к одному из приятелей, где не было ему нужды притворяться, он так же говорил, что Лессинг, как знаток древностей, выше самого Винкельмана по учености и обладает божественным гением, — быть может, в первый раз он отдавал добросовестно, по искреннему убеждению справедливость чужим заслугам, — и мог ли он ожидать в награду за то безжалостнейшего преследования от единственного человека, которого искренно уважал! Глейм, приятель Лессинга и вместе приятель Клоу, пришел в восторг от рецензии и воображал, что она восхитит Лессинга. А если б он прочел письмо, при котором она была послана к Лессингу, он восхитился бы еще вдвое больше.

Лессинг не отвечал ни слова на его письмо.

Теперь очевидно стало для Клоу, что никакими заискиваниями не войдет он в милость к Лессингу, что Лессинг не хочет иметь с ним сношений, презирает его. Это было в 1766 году.

Лессинг еще не презирал Клоу, потому что не знал литературных проделок галлесского оракула, который вел свои интриги очень хитро, — ему просто не нравился льстивый тон его писем. Но в 1768 году Клоу основал свой немецкий критический журнал и развернулся в нем совершенно бесцеремонно, — Лессинг убедился из многих рецензий, что знаменитый ученый и критик — человек недобросовестный; весной этого года Лессингу случилась надобность быть на лейпцигской пасхальной ярмарке, куда собирались не одни книгопродавцы, но и литераторы; тут он узнал вполне все бессовестные проделки Клоу и воротился в Гамбург с решительным намерением сбить спесь с этого наглеца. «Наслушался я об этом человеке, — пишет Лессинг к Николаи, возвратившись в Гамбург: — он слишком подымает нос. Загляните же в следующие листки здешней «Новой газеты». Но это еще пустяки. Я ему готовлю салют

гораздо погромче...» В «Новой гамбургской газете» начали печататься «Письма антикварского содержания».

Ближайшим поводом к изданию этих писем было то, что в одном из своих новых сочинений, книге «О резных камнях у древних», Клоц сделал три замечания на «Лаокоона», в котором большую часть примеров и доказательств берет Лессинг из истории древнего искусства. Замечания эти выражены в форме деликатной, так что сами по себе никак не могли бы рассердить Лессинга, который вообще не охотник был ни оскорбляться критическими замечаниями, ни возражать на них. Но Лессинг только искал случая, чтобы уничтожить Клоца, и гром разразился над несчастным интригантом, который при всей ненависти, какую питал к Лессингу за предугадываемое его презрение к себе, все-таки, в противность своей привычке, не смел говорить о нем непочтительно.

Лессинг как будто находил удовольствие в том, чтобы терзать Клоца, — на три-четыре вежливые строки он отвечал тремя книгами, — правда, небольшими, но все-таки тремя книгами\*. Резкость тона в этих книгах чрезвычайна. Клоц, и прежде боявшийся Лессинга, теперь совершенно убедился, что ему не под силу бороться с таким противником, и, как человек благоразумный, рассчитал, что ему следует отмолчаться, — о первой части «Антикварских писем» он написал в своем журнале очень смиренную рецензию, говоря, что решительно не понимает, чем мог огорчить Лессинга. Но Лессинг не укротился этим смирением и продолжал писать «Антикварские письма»; Лессинг разбирал в них его антикварские сочинения, доказывая, что он поверхностно знает древности, — Клоц говорил друзьям, что перестанет писать о древностях и займется другими предметами, — и это не должно было спасти его: «Пусть он берется за что угодно, — говорил Лессинг своим приятелям: — раз принявшись за него, не покину я его: хотя бы он ушел в римское право, я и туда пойду за ним».

Независимые ученые и литераторы, боявшиеся, но не уважавшие Клоца, сначала радовались тому, что Лессинг начал школить этого наглеца, но через несколько времени им стало уже казаться, что Лессинг довольно терзал его, что пора прекратить это истязание, им стало жаль бедного Клоца, они стали прямо говорить Лессингу, что чрезмерная жесточенность и продолжительность полемики вредит его собственной репутации, заставляя считать его человеком злобного характера. Мендельсон и Николаи, которые особенно страдали прежде от нападений Клоца, особенно радовались первым «Антикварским письмам», но потом не только Мендельсон, человек мягкого характера, но

---

\* Двумя частями «Антикварских писем» и исследованием «О том. как древние изображали смерть».

и Николаи, суровый и мстительный, жалели Клоца, осуждали Лессинга и советовали ему прекратить эту полемику. Публика, принявшая первую часть «Антикварских писем» с интересом, мало покупала вторую часть\*, — ей уж наскучило это дело. Ничто не останавливало Лессинга, и он с каким-то странным пристрастием работал над продолжением «Антикварских писем», оставив для этого другие занятия, которые должны были бы казаться ему гораздо важнее и привлекательнее. Третья часть «Антикварских писем» готовилась к изданию, когда внезапно умер Клоц, — только этим могло прекратиться ожесточенное преследование со стороны Лессинга. «Умнее он поступил, нежели я ожидал от него, — он умер», — написал Лессинг, получив неожиданное известие: — «не забавно ли? Нет, впрочем, вовсе не забавно, не могу теперь смеяться».

Это неумолимое преследование, которое было прекращено только смертью Клоца, которое казалось слишком продолжительно и жестоко даже друзьям Лессинга и врагам Клоца, которое, наконец, заставило почти всех осуждать непримиримую сварливость Лессинга, — было ведено Лессингом не в увлечении досадою, не в горячем расположении духа, которое, казалось, одно только могло бы служить извинением ожесточению, — нет, совершенно обдуманно, по хладнокровному соображению.

«Г. Клоц предполагает (в рецензии о первой части «Антикварских писем»), что я вооружен против него, — говорит Лессинг в конце второй части этих «Писем»: — вооружен ли я против него, могу ли казаться вооруженным, этого я не знаю. Знаю только, что под влиянием каких бы побуждений я ни писал, пишу очень хладнокровно. Не горячность, не увлечение заставило меня принять тон, которым я говорю с г. Клоцем. Каждое слово против него пишу я с самою спокойною преднамеренностью, с самою внимательною обдуманностью. Встречая у меня какое-нибудь насмешливое, горькое, жесткое слово, пусть не думают, что оно только сорвалось у меня с языка. Я по всевозможном обсуждении решил, что с г. Клоцем нужна насмешливая, горькая, жесткая речь, что ни от одного такого слова из написанных мною я не могу пощадить его, не становясь предателем делу, которое защищаю против него. «Чем был г. Клоц? Чем захотел он стать? Чем он стал?»

Отвечая на этот тройной вопрос, знаменитый в истории немецкой полемики, Лессинг чрезвычайно язвительно доказывает фактами, что Клоц был лстецом, интриганом и пасквилянтом; что он хотел быть верховным судьей в литературе, не имея на то права; что он сделался страшилищем всех честных и независимых людей, стал предводителем шайки бессовестных литературных бандитов.

«Как же нужно поступать с таким человеком? — спрашивает он дальше. — Так, как поступают с ним «Антикварские письма».

Последствия действительно оправдали способ действия и

---

\* Только первые письма были помещены Лессингом в «Новой гамбургской газете», продолжение их стал издавать Лессинг отдельными книгами.

тон, избранный Лессингом. Надобно было раз навсегда положить конец влиянию интригантов и наглецов на литературу, надобно было вырвать с корнем всякую возможность возрождения того порядка дел, какой существовал во времена Готтшеда и Бодмера. «Антикварские письма» сделали это. Уничтожая Клоца, они уничтожили и ту систему, тот дух, в котором действовал этот последний и самый блестящий представитель гнилого и бесстыдного тщеславия, которое прежде управляло немецкою литературою.

Новые люди, проникнутые иным направлением, были навсегда освобождены «Антикварскими письмами» от опеки людей, подобных прежним авторитетам. Гердер, Мерк и Гёте (как рецензент) почувствовали себя самостоятельными и непосредственно после «Антикварских писем» получили решительный голос в критике. Старая привычка поддаваться авторитету интригантов и наглецов была очень сильна. Не говоря уже о писателях прежнего поколения, бывших по времени своего литературного воспитания сверстниками Лессинга, — например, о Гагедорне, Глейме, — даже писатели нового поколения, воспитанные уже «Литературными письмами» Лессинга, все еще не освободились от влияния старой привычки, поддерживаемой всеми прежними поэтами и учеными. До «Антикварских писем» сам Гердер, первый из людей поколения, следовавшего за Лессингом, восхищался знаменитым Клоцем, — а потом тот же Гердер жалел, что Лессинг тратил время на борьбу против «такого ничтожного человека», как Клоц, и на занятие «такими незначительными предметами», как исследование о резных камнях у древних. Он забыл, что сам отбросил вредное чувство уважения к таким «ничтожным» (*armselig*) людям только благодаря лессинговой полемике против Клоца.

Не только противник, но и предмет спора казался через несколько лет Гердеру недостойным Лессинга. В самом деле, главное содержание «Антикварских писем» — изыскания о резных камнях у древних, предмет незначительный, способный скорее занимать сухого специалиста, нежели великого двигателя национальной истории. Но что ж делать? Только дилетанты занимаются тем, что кажется важно именно для них самих; предметы занятий исторического человека определяются духом времени и потребностями окружающей его среды. Мы видели, что уничтожить Клоца было делом нужным. Не любя ничего делать наполовину, Лессинг взялся за свою задачу оригинальным, но совершенно верным образом. Слава Клоца основывалась на его учености; ученость Клоца состояла главнейшим образом в знании антиков. «Клоц и Винкельман» — было в то время обыкновенною фразою. Взявшись за уничтожение авторитета Клоца, Лессинг видел, что не довольно оборвать ветви, — надобно вырвать самый корень этого вредного дерева; не довольно было до-

казать, что Клоц плохой критик; силлогизм, на котором основывалась его репутация, был таков: «он великий знаток древностей, — он великий ученый; а великого ученого надобно слушать с почтением», — надобно было доказать, что он плохой знаток древности, и, с уничтожением этого корня, падали невооруженно все ветви его славы. Репутацию, укоренившуюся прочно, нельзя убить во мнении большинства несколькими замечаниями, как бы метки и решительны ни были они; указать шесть-семь промахов Клоца, как бы грубы они ни были, было недостаточно: масса литераторов и публики, раз проникнувшаяся верою в его ученость, все-таки продолжала бы говорить: «ну, да; в некоторых случаях он ошибался; но все-таки он великий ученый; и на солнце есть пятна». Надобно было просмотреть весь диск этого мнимого солнца и доказать, что нет на нем ни одного места, которое не было бы пятном. Так и сделал Лессинг: взял книгу Клоца, просмотрел ее с начала до конца, показал, что вся она — непрерывный ряд шарлатанских заимствований и промахов. Уничтожив основание славы Клоца, Лессинг не имел уже нужды подробно доказывать ничтожество других его притязаний, — «если он, как это теперь уже доказано, плохо знает даже то, в чем вы предполагали его особенно сильным, то легко вы поймете, как слаб он во всем остальном» — нужно было доказать тезис, а вывод следствий был уже несомнителен для каждого.

Впрочем, раз мы уже заметили, по поводу «Вадемекума для г. Ланге», привычку Лессинга постоянно вплетать в основной ход исследования эпизодические изыскания, предмет которых часто бывает важнее общей темы сочинения, — та же метода соблюдена и здесь. Многие из «Антикварских писем» имеют до сих пор живой интерес, а исследование «о том, как изображалась у древних смерть», возникшее также из «Антикварских писем», есть один из тех трактатов, которые всего более способствовали утверждению истинного взгляда на систему греческих верований.

«Лаокоон» и «Минна фон-Барнгельм» поставили Лессинга выше всех знаменитостей Германии; «Гамбургская драматургия» еще более упрочила его славу. Но попрежнему слава не давала ему хотя бы скромных средств к жизни. С тех пор как упал «национальный театр», постоянною мечтою Лессинга снова сделалось путешествие в Италию, о котором думал он еще в Бреславле; раза три-четыре в год назначал он сроки, когда сядет на корабль или в почтовую карету, чтобы скакать или плыть к желанному югу, — но каждый срок проходил, и мечта все еще оказывалась неисполнимою. Напрасно продавал он книги, которые удержал было как необходимейшие для себя, когда расставался с своею библиотекою, — денег все-таки у него не доставало не только для путешествия, но и для жизни в Гамбурге. «Положе-

ние мое таково, что я должен продать все книги и вещи, которые еще остаются у меня», — писал он, в июле 1769 года, к брату, жившему в Берлине. «Сердце у меня обливается кровью, когда я подумаю о том, что не могу теперь послать денег родным в Каменец; но в настоящую минуту я беднее всех своих родных; они по крайней мере не обременены долгами, а я, при частых недостатках в необходимейшем, по уши в долгу. Как и помочь этому, не знаю». Долги, из которых он не надеется выпутаться, состояли всего в нескольких стах талерах, но для Лессинга и эта сумма была огромна.

Но от своего правила: не искать мест и не принимать предлагаемых мест, если они ему не по сердцу, Лессинг не отступался. Весною 1769 года ему предлагали место драматурга при венском театре с 3 000 гульденов (около 2 000 рублей сер[ебром]) жалованья, — но Лессинг отказался, потому что, присмотревшись в Гамбурге к театральным интригам, не хотел уже иметь никакого дела с театрами. Когда же ему через несколько месяцев было предложено место библиотекаря при знаменитой библиотеке в Вольфенбюттеле, с 600 талеров (550 руб. сер.) жалованья, он с восторгом принял это приглашение, которое действительно спасало его от самых стеснительных обстоятельств.

Место это было предложено ему от имени наследного принца Фердинанда Брауншвейгского, который ждал его приезда с нетерпением. Но более четырех месяцев прошло прежде, нежели Лессинг выехал из Гамбурга. Профессор Эберт, через которого наследный принц сделал приглашение, решительно недоумевал, какие остановки могли так долго задержать его; Лессинг извинял свое промедление то болезнью, то неудобством погоды, то различными другими предложениями; но истинная причина была совершенно другая — Лессинг продавал свои остальные вещи, чтобы собрать небольшую сумму денег, какая нужна для переезда из Гамбурга в Брауншвейг. Наконец кое-как дела были устроены, и в апреле 1770 года Лессинг приехал в Брауншвейг, был представлен ко двору и в мае отправился к своему библиотечарскому месту в Вольфенбюттель.

Первое время новой жизни прошло для Лессинга очень приятно: библиотека очаровала его своим богатством, сотнями тысяч книг и огромною коллекциею рукописей, в числе которых многие были очень важны для науки и совершенно еще неизвестны. Лессинг вступил в должность с твердым намерением сделать все возможное для открытия и обнародования скрывавшихся в ней сокровищ, и поиски его были очень счастливы. В первые же дни по приезде он нашел очень важное для церковной истории XI века сочинение известного богослова Беренгария Турского, до той поры считавшееся утраченным, и немедленно издал обширное историко-теологическое исследование о нем с обзором его содержания. Затем быстро следовали другие

важные открытия и исследования. К каждому издаваемому отрывку или сочинению Лессинг писал предисловие, которое бывало обыкновенно еще важнее самого сочинения, объяснением которому служило.

Но Лессинг был не такой человек, которого могли бы долго удовлетворить старые книги и рукописи. Не прекращая занятий ими, он скоро принялся за обработку давно задуманной трагедии, которая изображала бы среди нового мира коллизию, подобную той, которая известна всем из римской легенды о судьбе Виргинии. В 1772 году явилась «Эмилия Галотти». Мы не будем говорить об успехе, который имела эта пьеса, — заметим только, что в даровитой молодежи произвела она фурор. Через несколько десятков лет, вспоминая о действии «Эмилии Галотти» на тогдашнюю литературу, Гёте сравнивает немецкую поэзию с Латоною, которая, гонимая гневом Геры, долго и напрасно искала себе приюта, и говорит: «Наконец после долгой, многолетней борьбы возникла эта пьеса, как остров Делос, из пучины готтшедо-геллерто-вейсесовского наводнения, чтобы приютно успокоить странствующую богиню. «Эмилия Галотти» ободрила нас, молодых людей; мы были очень много обязаны Лессингу». Сравнение немецкой музыки с Латоною, а «Эмилии Галотти» с островом Делосом, слишком кудрегато, но оно довольно ясно показывает, что Гёте (которому было тогда 23 года и который в следующем году издал своего «Геца») и его литературным друзьям «Эмилия Галотти» представилась как явление, до той поры небывалое, беспрецедентное в немецкой поэзии, как достижение цели, к которой стремилось все многолетнее развитие немецкой поэзии, что на поэтов молодого поколения (и в том числе Гёте) эта трагедия имела сильнейшее влияние. Заметим здесь кстати слова: «она ободрила нас, молодых людей», — они напомним читателю то, что мы говорили о существенном характере влияния Лессинга: оно развязывало руки талантливым людям, оно вызывало на самостоятельную деятельность, — редкое, как мы уже говорили, исключение из обыкновенного порядка дел, по которому гений, возвышая вас до себя, с тем вместе поработывает вас себе. У Лессинга была не такая натура: независимость была его задушевным желанием для себя и для других; подчинять себе других было ему так же противно, как и подчиняться другим. Черта, отличавшая характер человека, отразилась на духе и действии его произведений.

Гёте и его друзья 1770-ых годов не ошибались, видя в «Эмилии Галотти» явление, небывалое до той поры. Этою трагедиею начинается новый период немецкой поэзии. Мы видели, что уже через два фазиса развития провел немецкую поэзию Лессинг своими двумя прежними драмами: «Сара Сампсон» ввела в поэзию патетизм и человека, вместо прежней пустозвон-

ной шумихи и деревянных героев; «Минна фон-Барнгельм» ввела в немецкую поэзию национальный элемент. Оставалось поэзии совершить еще один шаг, чтобы занять положение, приличное ей в национальной жизни, — оставалось ей принять в себя такое содержание, которое ставило ее произведения в гармонию с великими историческими интересами национального развития. Пример тому, «ободривший нас, молодых людей», как признается за себя и своих друзей Гёте, был показан «Эмилией Галотти».

Мы не будем пересказывать здесь сюжет «Эмили Галотти», отлагая это до другого места. Довольно заметить, что эта трагедия — история Виргинии, совершающаяся при итальянском дворе в XVI, или, пожалуй, XVII, или, еще вернее, в XVIII веке. Просим читателей вспомнить, что мы говорили о Германии XVIII века в нашей первой главе, и для них будет ясно, какое отношение имел такой сюжет к фактам, совершавшимся в глазах тогдашней немецкой публики. «Гец фон-Берлихинген», «Эгмонт», «Разбойники», «Дон Карлос», «Коварство и любовь», «Вильгельм Телль» — все это драмы того разряда, который начинается «Эмилией Галотти» \*.

«Эмилия Галотти» в поэзии стоит на границе между эпохами деятельности двух различных поколений; точно так же стоит на границе между эпохами деятельности двух различных поколений «Гамбургская драматургия» в литературной критике. До сих пор все ряды, все партии литературы состояли из людей, бывших сверстниками Лессинга или старше его. Он, человек, далеко опередивший свое поколение, был нравственно одинок между ними. Правда, многие из них были воспитаны им; почти все остальные сильно были переделаны его влиянием. Но истинно в плоть и кровь обращаются идеи воспитателя только у того, кто воспитан им с самого детства. Из всех друзей Лессинга ближайшим был Мендельсон; его развитие подвергалось постоянному действию Лессинга с более ранней поры, нежели развитие кого-нибудь другого; до появления на сцену новых людей Лессинг называл его «лучшею головою», какую только знает; по своему исключительному положению в обществе Мен-

---

\* Мы проводили параллель между фазисами немецкой литературы, ознаменованными появлением «Сары Сампсон» и «Минны фон-Барнгельм», и соответствующими фазисами русской литературы. Появлением «Эмили Галотти» прекращается возможность такого сравнения, потому что в русской литературе подобного периода мы не находим. Нам могут указать на Гоголя и его продолжателей. Не уступая никому в уважении к этим писателям, мы должны, однако же, признать, что, по широте изображаемых сюжетов, сравнивать их произведения с произведениями, названными нами в тексте, невозможно. Когда смотришь на поэзию с исторической точки зрения, то нельзя не заметить, что обстановка, среди которой совершается в поэтическом произведении действие, есть элемент чрезвычайно важный для значения произведения.

Мендельсон был скорее всего готов к принятию новых идей. И, однако же, Мендельсон, в течение многих лет ежедневно беседуя с ним, не понял Лессинга так хорошо, как человек нового поколения, Якоби, который провел с Лессингом всего только несколько вечеров. А между тем Якоби, по своей натуре, был гораздо ниже Мендельсона и, между людьми нового поколения, был одним наименее способным понимать Лессинга. Между своими сверстниками Лессинг был совершенно одинок.

Но вот воспиталось новое поколение, — в критике появляются Гердер, Мерк, Лихтенберг, Гёте; в поэзии — Гёте, Ленц, Клингер, Лейзевиц и, в одно время с ними, около начала 1770-х годов все бесчисленные критики и поэты периода «бурных стремлений». Все они воспитаны преимущественно Лессингом, многие — исключительно Лессингом. Каково-то будет отношение учителя к ним, каково-то будет отношение их к учителю?

Именно тут и обнаружилась самым ярким и редким образом его натура, удивительная по своей необыкновенности, совершенно нормальная по своей разумности. Когда они выступили на сцену, он совершенно сошел с этой сцены, вполне уступая им место. Он перестал работать для поэзии, для литературной критики. «Теперь и без меня довольно исправных работников на этих полях, — мое дело кончено, я стал бы только мешать им; они и без меня сделают все, что нужно, — они умеют и хотят работать, пусть же трудятся, как умеют и как хотят». Роль воспитателя должна кончаться, когда воспитанники совершенно подготовлены.

Значило ли это, что он вполне ими был доволен? Значило ли это, что он увидел себя бессильным побороть их, если не был доволен ими? Или это значило, что он устал работать и рад был случаю бросить работу? В известных отношениях на все эти вопросы надобно отвечать: «да», в других отношениях — «нет».

Новые деятели поэзии и критики сильно возбуждали мысль своего народа, все были проникнуты любовью к добру и истине, многие из них были чрезвычайно даровиты, некоторые — гениальны: во всех этих отношениях Лессинг мог быть совершенно доволен ими. Еще важнее было то, что они были люди независимых мнений и самостоятельных стремлений; их нельзя было ни запугать, ни ослепить авторитетом, они проверяли самым строгим образом каждый авторитет и скорее расположены были, лишь бы только допустила истина, воспротивиться, чем последовать ему, — в таком настроении умственной жизни была существеннейшая историческая потребность, оно требовалось и натурой самого Лессинга, — в этом отношении он мог гордиться своими наследниками. Каждый из них шел по тому пути, какой сам считал лучшим, — но по какому бы пути ни шел кто из них, Лессинг мог видеть, что этот путь в числе многих других

путей указан и проложен им, Лессингом. Каждый из них разрабатывал общее поле по-своему, но поле это было то самое, которое указал Лессинг, и цель у всех была общая, та самая, для которой трудился и он — пробуждение сознания в немецком народе, пробуждение энергии и прямоты в умственной жизни народа.

Люди нового поколения были воспитанники Лессинга и работали, вообще говоря, сообразно примеру, поданному общим учителем. Конечно, мы не можем здесь перечислять все признаки, которыми отразилось изучение его произведений на каждом из этих новых деятелей, — но пусть представителями родовой связи будут два значительнейшие из них, Гердер и Гёте, которые, оставаясь каждый очень многосторонним, все-таки как бы разделили между собою деятельность, обнимавшую у Лессинга равно все стороны литературы, и сделались знамениты, один — по преимуществу теоретическими трудами, другой — осуществлением теории в художественных произведениях.

Гердер до такой степени был пропитан сочинениями Лессинга, что из теоретических произведений учителя не осталось почти ни одного, которое не подало бы ученику случая к сочинению в том же роде, на ту же тему. Лессинг писал «Защитения» (Rettungen — изыскания с целью восстановить добрую славу о характере и нравственных правилах того или другого знаменитого старого писателя, по неосновательным обвинениям прославившего дурным человеком), между прочим «Защитение Горация» — и Гердер написал «Защитение Горация»; Лессинг написал исследование об эпиграмме — и Гердер написал исследование об эпиграмме; Лессинг написал исследование о басне — и Гердер написал исследование о басне; различные рассуждения или отдельные мысли Лессинга породили исследования Гердера «О знании и незнании», «Взгляды на будущность человечества», «Полингенезия» и т. д. «Литературными письмами» Лессинга были порождены «Отрывки для немецкой литературы» Гердера; «Лаокооном» и «Антикварскими письмами» Лессинга — «Критические леса» Гердера и т. д.\*. Недаром говорил Гердер, что «как он ни бьется, а все-таки единственный человек, интересующий его, — Лессинг». Мы по необходимости указываем только некоторые из тех случаев, когда целое сочинение Гердера все целиком возникло из сочинения, написанного Лессингом; рассматривать связь идей Гердера с идеями Лессинга было бы слишком долго и неуместно здесь, — но легко угадать, до какой степени воззрения Гердера обуславливались мыслями, указанными ему Лессингом, если большая часть его сочинений прямо написаны на темы, данные ему Лес-

---

\* Гервинус.

сингом. И не надобно воображать, чтобы такое отношение существовало только в первый период деятельности Гердера, — нет, оно не изменялось до конца его жизни.

Случайно мы уже приводили несколько суждений Гёте о действии некоторых сочинений Лессинга на развитие самого Гёте, — мы уже видели, как он сам признавался, что «Лаокоон» «озарил его, как молния», и овладел его мыслью на многие годы, что «Эмилия Галотти» «ободрила» его, — прибавим к этому слова Гёте о «Минне фон-Барнгельм»: «Очень сильно подействовала на нас эта пьеса. Действительно, она была блестящим метеором в те темные времена. Она дала нам понять, что существует нечто высшее всего того, о чем знала тогдашняя эпоха». Мы видели также, какой сильный отпечаток на манеру Гёте положили даже второстепенные замечания Лессинга, например, хотя бы о том, что описание предмета должно в поэзии заменяться рассказом его происхождения и судьбы. Число этих примеров легко было бы умножить \*. Но мы лучше хотим заменить их несколькими чертами сходства между Лессингом и не одним Гёте, а всеми поэтами той эпохи, которой по духу и манере принадлежат «Вертер» и «Гец фон-Берлихинген».

Лессинг осмеял знаменитое правило о соблюдении в драме трех единств, указал на Шекспира, как поэта, произведения которого должны вечно быть в памяти каждого драматурга, — тотчас после этого является поклонение Шекспиру, подражание Шекспиру, забота о том, чтобы не показаться соблюдающим какое-нибудь из трех единств; преимущественно влиянию Лессинга надобно приписать и преобладание драмы в тот период немецкой литературы; Лессинг писал исключительно драмы, и все начали писать драмы и драмы.

То же самое было и с литераторами, которые действовали на ученом поприще: Лессинг был полигистор, и все захотели быть полигисторами, трудиться не для одной какой-нибудь науки, а для всех гуманических наук зараз, от эстетики и философии до древностей и теологии. Лессинг писал все только отрывки, никогда не доканчивая всего сочинения, как сначала хотел написать его, — и все начали писать отрывки, и явилось в немецкой литературе целое племя «фрагментаристов»; Лессинг восставал против цеховой учености и педантизма, — и все начали восставать против цеховой учености и педантизма. Наконец — общая черта, в которой соединялись и поэты и мыслители периода, следовавшего за «Гамбургской драматургиею» и «Эмилией Галотти»; Лессинг говорил о самостоятельности, о строжайшем переисследовании всего, что внушается авторитетами, завещано преда-

---

\* Например: Гёте, когда был в Италии, почел необходимостью написать исследование о статуе Лаокоона; перевел сочинения Дидро, на которые указал Лессинг, и проч.

нием, о проверке собственным анализом всех правил, всего, что принято нами с детства как аксиома, — независимость мнений стояла для него выше всего, — и самым горячим стремлением периода, начавшегося с 1770 годами, было стремление к проверке, к переисследованию всех правил, всех авторитетов, непринимание ничего на-слово, общим лозунгом всех была самостоятельность и оригинальность.

Сильно было его влияние на эту эпоху и всех лучших ее деятелей: если иметь в виду только общие черты этих людей, то они все сходятся в том, что вышли из Лессинга. Но их крик о самобытности не был пустою претензией: действительно, развившись благодаря Лессингу, ни один из них не утратил через это воспитание ни одной черты, принадлежавшей его личности. Укажем опять на одного из двух главных представителей того времени, на Гердера. О Гёте нечего и говорить: каждому из читателей, конечно, очевидно, что он нимало не напоминает собою Лессинга; о подчиненности его как поэта Лессингу не может быть и речи: он несравненно выше своего воспитателя по поэтическому таланту. Но Гердер, всем обязанный Лессингу, напоминает собою, однако же, вовсе не Лессинга, а другого своего учителя, известного полигистора Гаманна, который недолго любил Лессинга и составлял решительную противоположность с ним: тот же фосфорический блеск отдельных мыслей, но и тот же восточный тон восторженной речи, та же беспорядочность в воззрениях, то же фантазерство, та же раздражительность ипохондрического самолюбия, тот же оттенок чего-то вроде юнгштиллингизма или лафатерщины, — вообще в манере и в воззрениях что-то похожее на Шатобриана. Отчасти превосходством натуры, отчасти влиянием Лессинга значительно сгладились в Гердере эти недостатки и угловатости, но все-таки они остались еще очень резки. Вот один из примеров, по которым можно судить о том, до какой степени отличались следствия лессингова влияния от обыкновенных следствий, какими впечатывается на человеке подчинение чьему-нибудь влиянию: Гаманн, гораздо менее Лессинга содействовавший развитию Гердера, отразился в нем со всеми своими недостатками; Лессинг, давший ему все, не навязал ему ничего чуждого его натуре. Не говорим уже о том, что Гаманну Гердер до конца только поддакивал, как авторитету, а с Лессингом с самого начала спорил, как с простым человеком, нимало не стесняясь, — а пробуждение такой независимости и было существенной потребностью истории, главною задачею Лессинга.

Итак — возвращаемся к нашим вопросам — Лессинг мог быть вполне доволен людьми, которым совершенно уступал критическое и поэтическое поприще? Быть может, именно потому он и сошел с этого поприща, что иного и лучшего, нежели делали они, и не мог желать сделать? — Не совсем.

Все вместе, как одно целое, люди молодого поколения были верны Лессингу. Но в частности каждый из них по кругу своих воззрений и сочувствий был гораздо одностороннее его \*. Таков естественный ход исторического развития во всех сферах, что первоначальное равновесие различных элементов, обнимаемых вновь возникшим стремлением, разрушается при дальнейшем движении этого стремления, так что одна сторона его берет перевес над другими, и основное единство распадается на множество направлений, из которых одно, наиболее благоприятствуемое историческими обстоятельствами, становится господствующим, оттесняя все другие на задний план.

Было бы слишком долго и неуместно говорить здесь, почему сильнейшие люди нового поколения, Гердер и Гёте, склонились на ту, а не на другую сторону. Довольно сказать, что сторона, к которой склонялись они, была антипатична Лессингу. У Гердера слабою стороною было излишнее преобладание воображения над рассудком, у Гёте (в ту эпоху, эпоху «Вертера» и увлечения поддельными оссиановскими песнями) сентиментальность. Отсюда происходило пристрастие Гердера к Гаманну, пристрастие Гёте к людям, подобным Лафатеру, уживчивость его с людьми, подобными Юнгу-Штиллингу. Такие предпочтения казались Лессингу неразумными и вредными, и произведения, написанные в этом направлении, фальшивыми. Чтобы не растягивать нашего рассказа, приведем только один пример — суждение Лессинга о «Вертере». Читатели знают, что сюжет этого романа дан Гёте действительным событием — судьбою Иерусалема (сына известного теолога), который лишил себя жизни. Вот знаменитое письмо Лессинга к Эшенбургу об этом романе:

«Чрезвычайно благодарен вам, любезный Эшенбург, за удовольствие, которое доставили вы мне, одолжив роман Гёте. Возвращаю вам его днем раньше условленного срока, чтобы другие поскорее могли насладиться этим удовольствием.

«Но как вам кажется: чтобы не наделать больше вреда, нежели пользы, не должно бы это столь теплое произведение иметь коротенький холодный эпилог? Нужно бы несколько слов о том, как развился в Вертере такой странный характер; как другой юноша с подобными наклонностями может уберечь себя от этого. Ведь он, пожалуй, может принять поэтическую красоту за нравственную и вообразить, что если этот человек столь сильно возбуждает наше участие, то значит, что он был *хорош*. А он вовсе не был хорош.

---

\* Мы говорим о духе, проникавшем систему воззрений того или другого из новых деятелей, а не о широте круга их занятий, — занятия могли бы быть разделены между различными людьми без вреда для всесторонности духа, их оживлявшего, — но эта всесторонность и была утрачена; а круг занятий у многих из людей нового поколения был чрезвычайно многосторонен. Гёте был в этом отношении даже универсальнее Лессинга, обнимая, кроме тех отраслей знания или мысли, для которых трудился Лессинг, и естественные науки, которые лежали вне круга деятельности Лессинга, хотя и бывшего, подобно Шиллеру, в молодости медиком.

И если бы наш Иерузалем\* был совершенно в таком душевном состоянии, то я... почти что презирал бы его. Скажите, греческий или римский юноша лишил ли бы себя жизни так и из-за такой причины? Наверно, нет. О, они умели не поддаваться фантазерству в любви, и во времена Сократа такую *ex erôtos katochê* (коллизии от любви), доводящую до *ti tolmâin para phusin* (до лишения себя жизни), простили бы разве какой-нибудь девчонке. Производить таких мелко-великих, презренно-милых оригиналов было предоставлено только нашему ново-европейскому воспитанию, которое так отлично умеет превращать физическую потребность в душевное совершенство. Итак, любезный Гёте, прибавьте в конце еще маленькую главу, и чем циничнее, тем лучше».

Лессинг хотел очистить память своего молодого друга от «презренной слабости», которую взводил на него роман, — для этого он издал сочинения Иерузалема сына, с предисловием, в котором изображал покойного как человека с мужественным характером и светлой головой. Лессинг так сильно возмущался «Вертером» Гёте, что у него однажды мелькнула даже мысль развить эту тему с здоровой мужественной точки зрения: сохранился листок, на котором он набросал в нескольких строках план первой сцены для драмы «*Werther, der bessere*» — «Вертер, более достойный уважения».

Нет надобности доказывать, что Лессинг был прав в своем недовольстве тенденциею, отразившеюся на «Вертере»; он верно предугадал, что роман этот будет иметь вредное влияние на молодежь, выставляя в идеальном свете болезненное малодушие своего героя.

Не был доволен Лессинг и тем направлением, какое получила драма в период «бурных стремлений». Он внушал уважение к Шекспиру, — но молодежь, с обыкновенною своею склонностью доводить всякое чувство до крайностей, дошла в энтузиазме к Шекспиру до нелепостей и старалась как можно ближе подражать даже тому, что вовсе не важно в Шекспире и, скорее, составляет его недостаток, нежели достоинство: эксцентричность выражений и другие особенности, объясняемые только вкусом века, в котором жил Шекспир, казались этим драматургам столько же драгоценными и необходимыми принадлежностями «гениальности», как действительные достоинства шекспировых драм. Тогда-то возникло понятие о качествах поэта и его произведений, известное нам по преданиям романтизма: только тот истинный поэт, кто растрепан, кто с пренебрежением смотрит на людей, ведущих себя благоприлично, кто старается каждою строкою своих произведений шокировать рассудительных людей. Это все называлось «гениальностью». Такие эксцентричные замашки сильно не нравились Лессингу, который смотрел на искусство, как древний грек.

Молодежь инстинктивно предчувствовала, что Лессинг не может сочувствовать ее односторонним излишества, и если

\* Лессинг любил этого несчастного юношу.

многие из новых деятелей литературы — например, Гердер и Лейзевиц — лично были в дружеских отношениях с Лессингом, то иные как-то чуждались его. Любопытное свидетельство последнего оставил Гёте о себе и своих лейпцигских друзьях в своей автобиографии. Весною 1768 года Лессинг приезжал в Лейпциг, — Гёте был тогда студентом Лейпцигского университета (ему было 19 лет). «Бог знает, что такое было у нас тогда в голове, — рассказывает он: — нам вздумалось не только не искать случая видеть Лессинга, напротив, избегать тех мест, где могли бы мы встретить его. Это временное дурачество, которое нередко находит на самолюбивых и капризных юношей, было впоследствии наказано тем, что я уже никогда не имел случая узнать в лицо этого великого и чрезвычайно уважаемого мною человека».

Радуюсь вообще пробуждению свежих и могучих сил, стремившихся вообще к целям, которые были также и его целями, Лессинг замечал в деятельности главных людей молодого поколения и важные ошибки, от которых предвидел дурные следствия, — как то и исполнилось на деле возникновением романтической школы: Шлегели, Тик и проч. произошли из односторонностей, которым поддались Гёте, Гердер и их друзья. Почему же он не боролся против этих уклонений?

Борьба человека старого поколения против молодого поколения всегда бывает безуспешна, хотя бы этот человек и говорил правду. Исторические увлечения не могут быть побеждаемы в самом начале своим отвлеченными рассуждениями, — только тогда они отвергаются обществом, когда они принесут плоды, по которым испытает общество их ошибочность и вредность. С успехом начать борьбу против увлечений сентиментализма и фантазерства можно было только тогда, когда романтизм уже выказал, каковы последствия этих наклонностей, являвшихся вначале идеально-прекрасными, возвышенными и очаровательными, — уже только в наши времена, а не в 1770-ых годах.

Чего невозможно сделать, за то и не принимался Лессинг. Дух века, все живые симпатии нации, все даровитые люди молодого поколения были бы против него, если б он начал борьбу против направления, которое наложило свою печать на «Верттера» и «Гецца фон-Берлихингена». Напрасны были бы его усилия — а натура его была такова, что он не делал ничего напрасного. Не в его характере было бороться против нового, он по природе своей был расположен только готовить его. А когда оно было приготовлено его трудом, когда он видел своих воспитанников, которые были уже в силах осуществить его мысль, — он уже терял охоту наблюдать за тем, чтобы эта мысль была во всех подробностях исполнена именно так, как ему казалось лучше, — довольно того, что она исполняется — надобно же дать волю людям; нравственная опека, предохраняя от

ошибок, убивает и энергию и разум, если будет простирается далее, нежели надлежит ей по закону природы. В историческом развитии неизбежны увлечения и ошибки — кто хотел бы непременно воспрепятствовать им, воспрепятствовал бы вместе с ними всякое развитие, хотел бы убивать жизнь.

Натура Лессинга была такова, что работа становилась для него утомительна, как скоро он видел, что она может быть удовлетворительно исполнена другими, как скоро он чувствовал, что поставил вопрос в надлежащем свете и вызвал людей для его разрешения. Ему скучно стало писать для «Литературных писем», когда его трудами были уже достаточно приготовлены люди, могшие продолжать это дело; и теперь, когда были приготовлены люди, могшие продолжать дело, начатое его драмами, «Лаокооном» и «Гамбургскою драматургиею», ему скучно стало писать драмы и заниматься литературною критикою. Эти занятия утомили его, опротивели ему — много раз он отказывался от всяких предложений вновь заняться при том или другом театре делом, которое столь блистательно исполнил при гамбургском национальном театре; после издания «Эмили Галотти» он во всех письмах говорит, что потерял всякое расположение и всякую способность писать драмы и никогда уже ничего не думает писать в этом роде. Правда, через несколько лет написал еще драму, которая стоит выше всех прежних, которую немцы ставят выше всех произведений самого Гёте, кроме «Фауста», — но она была внушена ему мыслями, уже совершенно чуждыми любви к театру или желанию трудиться для искусства. У ней была другая цель.

Лессинг устал работать — но только для тех целей, достижение которых было теперь обеспечено. Не работать он не мог. Мы знаем, что такое называется в Северо-Американских Штатах колонистом «Дальнего Запада» — это человек, которому скучно жить и работать на тех заселенных полях, обработка которых стала уже доступна силам каждого; он уходит далеко за границы поселений, в неведомые пустыни, прокладывает дорогу среди болот и лесов, поселяется одинок среди диких зверей и враждебных дикарей, прогоняет их, очищает землю от них и открывает для цивилизации обширные, обильные области. Сколько битв выдержал он, сколько лишений перенес он, сколько опасностей и затруднений преодолел он! Но вот безопасен стал занятый им округ, дает уже богатую жатву, — тогда, привлеченные молвою, приходят по проложенной им дороге толпы людей, селятся вокруг него, привольно работают, без всяких лишений, в безопасности начинают веселую и сладкую жизнь. И он мог бы наслаждаться всем, чем наслаждаются они, — именно ему больше всех и должно было бы наслаждаться, потому что все окружающее его благоденствие возникло благодаря его предприимчивости, мужеству и силе. Но нет, ему уже скучно и противно

жить на этом привольном, безопасном, роскошном месте,— натура влечет туда, куда еще нет путей, где каждый шаг соединен с лишениями, опасностями и борьбою,— и он, покидая спокойное село, опять идет в пустыню, дальше и дальше, прокладывая путь цивилизации...

Таков был Лессинг. Его трудами была открыта и очищена почва, на которой могла возникнуть богатая литература. Его дело было совершено в этой области. Он устремился к завоеванию новых областей для народной жизни.

Один период в истории немецкого развития был подготовлен и вызван к жизни его трудами. Он начал работать для приготовления следующего периода.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

Жизнь Лессинга в Вольфенбюттеле. — Г-жа Кениг. — Препятствия к браку. — Отношения Лессинга к Брауншвейгскому двору. — Поездка в Вену и путешествие по Италии. — Отношения Лессинга к тогдашним немецким нравам. — Брак. — Кончина супруги. — Лессинг изнемогает. — Новый период его литературной деятельности. — «Отрывки из Вольфенбюттельского анонима». — Борьба против обеих враждующих между собою и с католиками протестантских партий. — Отрывки из полемических статей. — Следствия этой борьбы. — Отношения Лессинга к последующей немецкой философии. — Отношения к нравственно-политическим наукам. — «Разговоры между Эрнстом и Фальком». — Общий характер деятельности Лессинга. — Его личный характер.

1771—1781

Новому периоду в литературной деятельности Лессинга соответствовало изменение характера и частной его жизни. До сих пор он был скитальцем и, едва основавшись в одном городе, уже переезжал в другой, чтобы также скоро покинуть его. Из Лейпцига переселялся он в Берлин, из Берлина в Виттенберг, из Виттенберга снова в Берлин, из Берлина в Бреславль, потом опять в Берлин, потом в Гамбург. Но, переселившись из Гамбурга в Вольфенбюттель, он становится оседлым человеком и живет в этом городе около одиннадцати лет, до самой своей смерти. Оседлость не была у него следствием довольства Вольфенбюттелем; напротив, он постоянно и, как увидим, справедливо жаловался на положение своих дел и отношений к людям в этом месте. Не была она и следствием неподвижности, которая обыкновенно овладевает человеком, достигшим зрелых лет: несмотря на то, что, поселяясь в Вольфенбюттеле, Лессинг был уже не молод (в 1770 году ему исполнилось сорок один год), он сохранял всю прежнюю пылкость характера и постоянно пыривался переселиться из Вольфенбюттеля то в Вену, то в Мангейм. Но теперь он уж не мог так беззаботно, как прежде, менять немного верное, что имел, на совершенно неверное, чтобы

совершенно сызнова, «с ничего» начинать жизнь в новых отношениях. Прежде, не будучи связан ничем, он мог поступать подобно своему дервишу Аль-Хафи (в «Натане Мудром»), который без котомки за плечами, только с посохом в руке, идет с Иордана на Гангес. Теперь он должен был действовать осторожнее.

В Гамбурге, из числа его знакомых, самым близким был негоциант Кениг, в доме которого собирались замечательнейшие литераторы и ученые Гамбурга. Уезжая по торговым делам в Австрию и Италию, Кениг поручил свое семейство заботливости Лессинга. Лессинг свято исполнял поручение друга. Через несколько времени получено было известие, что в Венеции Кениг внезапно умер. Коммерческие дела его фирмы были, как обыкновенно, расстроены этим несчастием. Теперь настало время доказать вполне искренность своей дружбы осиротевшему семейству, — Лессинг, разумеется, был не такой человек, чтобы изменить этой обязанности. Таким образом, он все более и более сближался с г-жою Кениг, одною из образованнейших и лучших женщин своего времени. Она чувствовала признательность к нему особенно за его нежную заботливость о ее детях. Дружба эта продолжалась более года. Переселившись в Вольфенбюттель, Лессинг почувствовал, что дороже всего в Гамбурге была для него г-жа Кениг. Осенью 1771 года он поехал в Гамбург, чтобы сказать ей о своих чувствах, и узнал, что она также сильно расположена к нему. Они дали слово друг другу, — но каждый из них с своей стороны прибавлял, что настоящее затруднительное положение его дел не позволяет ему вовлекать любимого человека в свои неприятности и что, имея теперь согласие на брак, он потребует исполнения этого слова только тогда, когда устроит свои дела. Каждый из них говорил, что затруднения, которыми останавливается другой, вовсе не кажутся тяжелыми для него. Г-жа Кениг уверяла, что бедность, которую она должна была бы теперь разделять с Лессингом, готова она переносить с радостью, но не хочет обременять его своими детьми, состояние которых теперь еще неверно. Лессинг говорил, что всякие заботы и жертвы для ее детей будут ему не обременением, а радостью, но что он не хочет заставлять терпеть нужду любимую женщину. Оба они говорили правду и доказали это впоследствии, — она действительно была совершенно довольна его скудными средствами к жизни, он заботился о ее детях с такою же любовью, как мать. И тогда они были уверены в искренности друг друга. Но, будучи равно готовы на пожертвования друг для друга, равно не могли преодолеть в себе благородной деликатности, запрещавшей пользоваться этою готовностью, и решились ждать того времени, когда препятствия, полагаемые взаимною деликатностью будут устранены их энергическими усилиями для устройства своих дел. Оба они думали, что каждый из них скоро упра-

вится с своими делами, но месяц проходил за месяцем, и в му-  
чительных хлопотах прошло около шести лет.

Это было одно из тех положений, которые в вымышленном  
рассказе казались бы натянутыми и неправдоподобными, как  
слишком высокая идеализация чувств, но которые нередко встре-  
чаются в действительной жизни, и в хорошем, как в дурном,  
далеко превосходящей границы поэтического правдоподобия, как  
то испытал на себе почти каждый. Лессинг и г-жа Кениг, хорошо  
понимая друг друга, знали один в другом невозможность посту-  
пить иначе, как упорно отказываться от предлагаемых пожерт-  
вований, хотя бы то стоило отсрочки самого драгоценного жела-  
ния. Их привязанность друг к другу была чрезвычайно сильна,  
хотя, разумеется, вовсе не имела сентиментального оттенка, ко-  
торый не только не был бы сообразен с их летами, но и в моло-  
дости был чужд их характеру. Переписка их сохранилась (они,  
после отъезда Лессинга в Вольфенбюттель, до самой свадьбы  
виделись всего три-четыре раза, — дела удерживали их вдали  
друг от друга); в ней нет ни малейшего следа какого-нибудь  
нежничанья, — они даже не говорят друг другу «ты», но зато  
господствует полное уважение и доверие друг к другу. Содержа-  
ние и тон писем вообще таковы, как между старинными друзьями,  
которым нет ни нужды, ни охоты уверять друг друга в своих  
чувствах. Речь идет о делах, предположениях, важных и мелоч-  
ных событиях жизни, но в каждом слове видна самая нежная  
взаимная заботливость.

Со стороны Лессинга сила привязанности доказывается уже  
тем, что свои поступки он обыкновенно сообразует с мнением  
г-жи Кениг. До сих пор никто никогда не имел влияния на его  
образ действий. Не только не слушал, но и не спрашивал он ни  
у кого совета, как поступить ему в том или другом случае. Мы  
видели, что важнейшие шаги в своей жизни он делал, не считая  
нужным заранее говорить о своих намерениях даже самым  
близким друзьям. Вейссе узнал о его отъезде из Лейпцига в  
Берлин, — иначе сказать, о решимости бросить ученую карьеру  
для литературной, — потом Мендельсон узнал о его отъезде из  
Берлина в Бреславль, — иначе сказать, о его решимости испы-  
тать, не лучше ли добывать себе средства к жизни служебными,  
а не литературными занятиями, — только тогда, когда опустела  
квартира уехавшего друга. Отношения Лессинга к г-же Кениг  
были не таковы: он слушал ее советы, как ему поступить в том  
или другом деле, потому что она совершенно понимала его ха-  
рактер и одна из всех его друзей смотрела на вещи теми же са-  
мыми глазами, как он, но обладала большим житейским благо-  
разумием, нежели он. Он слушался ее, потому что она не сове-  
товала ему ничего, не согласного с его правилами, как то делали  
другие, не имевшие чрезвычайно щекотливого чувства благород-  
ной гордости, каким отличался он. Подчиняясь влиянию г-жи Ке-

ниг, Лессинг со времени своего переселения в Вольфенбюттель поступал в своих отношениях с людьми благоразумнее прежнего, и главным образом ее советы удерживали его в Вольфенбюттеле. Она доказывала ему, что трудно где-нибудь в другом месте найти человека, который так искренно расположен был бы к нему, как наследный принц Фердинанд Брауншвейгский, пригласивший его в Вольфенбюттель и сохранивший с ним постоянные сношения; что если кто-нибудь, то скорее всех принц Фердинанд может дать ему положение, которым устранялось бы важнейшее препятствие их браку — недостаточность средств Лессинга для семейной жизни.

Действительно, принц Фердинанд был расположен к Лессингу, и Лессинг делал все, что позволял его характер, для того, чтобы упрочить и улучшить свое положение в Вольфенбюттеле. Г-жа Кениг также неутомимо хлопотала о приведении своих дел в порядок. И, однако же, около шести лет прошло прежде, нежели препятствия были устранены. Такая медленность в достижении цели, о которой заботилась г-жа Кениг, не имеет ничего удивительного: привести в порядок запутанные и расстроенные коммерческие дела — задача, требующая очень много времени. Но странным должно казаться, что Лессинг, при благосклонности принца Фердинанда, так долго не мог выйти из затруднений, в сущности ничтожных: все дело состояло в нескольких лишних сотнях талеров жалованья, — этому желанию принц Фердинанд, повидимому, мог бы удовлетворить без всяких затруднений, потому что жалованье, получаемое Лессингом по должности библиотекаря, действительно было скудно и очевидно нуждалось в увеличении; особенно странно покажется неисполнение такого справедливого желания, когда мы скажем, что при брауншвейгском дворе часто открывались должности, которые желал получить Лессинг и из которых иные даже без всякой просьбы Лессинга предназначалось поручить ему. Но загадка эта очень легко объясняется тем, что мы уже знаем о Лессинге: у него был характер, с которым никогда нельзя было возвыситься при тогдашнем немецком порядке дел, когда все зависело от умения пользоваться людьми. Гордому бедняку не поможет никакое благоразумие, не поможет даже никакое благорасположение сильных людей. Все, на что Лессинг имел полное право, проходило мимо него, обидным и тяжелым для него, незаметным для принца Фердинанда образом, и год за годом шел, нимало не улучшая его положения. Утомительно было бы пересказывать все эти мелкие неудачи и разочарования. Скажем только о двух-трех случаях, соединенных с единственным биографическим фактом, о котором надобно упомянуть, говоря об этом времени, — именно о поездке Лессинга в Италию.

Положение Лессинга в Вольфенбюттеле было тяжело. В маленьком городке скучно было бы ему, если б даже не стеснялся

он недостаточностью своего жалованья. Он привык жить в Берлине и Гамбурге, самых больших и оживленных городах тогдашней Германии, центрах умственной деятельности всей страны; привык проводить вечера в большом и разнообразном обществе. Кроме того, и жалованье, получаемое Лессингом по должности библиотекаря, всего 600 талеров, было незначительно. Поэтому большою радостью для Лессинга было известие, что Иосиф II, думая учредить в Вене Академию наук, желает знать, примет ли он место академика в Вене. Особенно приятно это предложение было для Лессинга потому, что г-жа Кениг, по своим делам, тогда жила также в Вене. Но скоро обнаружилось, что намерение Иосифа не одобряется Мариєю-Терезиею, которая не соглашалась терпеть в Вене протестантских ученых, опасаясь за католическую религию, которой она была чрезвычайно предана. Однако же Лессинг бросил бы Вольфенбюттель, если б не удержали его советы г-жи Кениг, предвидевшей, что в Вене Лессинг не получит ничего. Действительно, переговоры об Академии тянулись без всякого результата, и наконец Иосиф должен был отказаться от своего намерения. В то время, когда была еще некоторая надежда, что проект основать Академию в Вене исполнится, Лессинг был вызван из Вольфенбюттеля в Брауншвейг принцем Фердинандом. Открылась вакансия брауншвейгского историографа, и наследный принц, управлявший государственными делами по дряхлости царствующего герцога, предложил Лессингу занять эту должность с сохранением должности библиотекаря в Вольфенбюттеле. «Таким образом, ваше положение при нашем дворе упрочится, — прибавлял принц: — и притом, от вас самих будет зависеть, удовольствуетесь ли вы вашею ученою карьерою, или изберете себе другую». — Этими словами принц, очевидно, выражал, что готов открыть Лессингу дорогу к высоким государственным почестям, как через несколько времени была она открыта для Гёте герцогом Веймарским. Не видно, чтобы Лессинг желал или надеялся быть министром; но, по крайней мере, несомненно было, что он получает место историографа, которое давало бы ему возможность начать семейную жизнь, о чем он так долго мечтал. Но через несколько дней принц Фердинанд уехал в Потсдам для свидания с Фридрихом II, в службе которого находился. Недели через две он хотел возвратиться, но прожил в Потсдаме около двух месяцев. Дело Лессинга не двигалось вперед. Принц возвратился — оно не двигалось вперед; и наконец Лессинг увидел, что не получит места, которое без всякой просьбы с его стороны вздумал было так положительно обещать ему принц. Его неудовольствие было очень сильно. Он хотел уехать из Вольфенбюттеля и только советы г-жи Кениг удержали его. — «Я взбешен, — писал он ей. — Без всякого моего искательства призывают меня, дают мне нежнейшие обещания, — и потом поступают так, как

будто ни о чем не было и помину. Два раза ездил я в Брауншвейг; меня видели во дворце, я спрашивал, в каком положении мое дело. Ответа нет, или такой ответ, из которого ничего не поймешь. Я воротился в Вольфенбюттель и поклялся, что нога моя не будет в Брауншвейге, пока сами они не порешат этого дела. Лишь только я кончу свои начатые работы, которых не могу кончить без Вольфенбюттельской библиотеки, ничто в мире не удержит меня здесь. Я думаю, что везде могу найти то, что брошу здесь, — а если бы не нашел, то лучше буду просить милостыню под окнами, чем позволю поступать с собою таким образом!» — Три месяца Лессинг не выходил из своей комнаты никуда, кроме библиотеки, — так велико было его негодование и его желание скорее кончить начатые работы, чтобы уехать из Вольфенбюттеля. Но г-жа Кениг доказала ему, что все-таки благоразумие требует остаться в Вольфенбюттеле, пока нет в виду ничего лучшего, чем надежды на принца Фердинанда. «Со мною поступают нестерпимо, — отвечал Лессинг г-же Кениг, — и только ваше положительное запрещение могло удержать меня от недуманного шага, решиться на который я, однако же, каждую минуту чувствую искушение. И не должен ли я буду, наконец, сделать его? Потому что, клянусь богом, я не могу дольше выносить этого». — Через полгода он пишет ей: «Четыре месяца я, можно сказать, безвыходно сидел в своем проклятом замке. Только два раза ездил в Брауншвейг, и то на несколько часов, потому что дал себе зарок не ночевать в Брауншвейге \*, где поступают со мною (вы знаете, о ком я говорю) невыносимо для меня; да и не стал бы я в другое время, в других обстоятельствах, ни за что в мире выносить этого. Потому я и не хочу подвергаться опасности встретить его \*\*. В январе будет год, как он сам сделал мне это предложение, — до той поры я подожду, и потом напишу ему свое мнение так горько, как наверное никто еще не писал ни одному из его собратий. Мне ничего не остается, как только похорониться под своими книгами, чтобы, сколько можно, забыть все мысли о будущем. Давно уж не писал я ни к кому в мире, кроме вас, мой друг, — не отвечал ни братьям, ни матери, никому. Лучше всего было бы мне разослать ко всем знакомым циркуляр, чтоб они считали меня умершим, потому что, мой друг, я совершенно не в силах писать». Потом четыре месяца не писал он и к г-же Кениг. Она успела, однако же, убедить его не ссориться с Фердинандом и не отказываться от вольфенбюттельской должности, не имея в виду ничего другого. Так прошел еще год. Наконец Лессинг чувствовал, что должен

---

\* Конечно, для того, чтобы не быть обязанным являться на придворные вечера.

\*\* Т. е. Фердинанда, потому что не удержался бы от упреков при встрече с ним.

хотя на время уехать из Вольфенбюттеля, чтобы сколько-нибудь развлечься. Он взял отпуск и через Берлин и Дрезден проехал в Вену, где жила г-жа Кениг, — он хотел дождаться совершенного окончания ее дел, которые были уже приведены в порядок; потом они вступили бы в брак и вместе отправились бы в Вольфенбюттель. Но едва прожил Лессинг несколько дней в Вене, как туда приехал принц Брауншвейгский Леопольд, думавший сделать путешествие в Италию, и стал просить Лессинга быть его спутником. Отказаться от такого приглашения значило бы — разорвать все связи с Брауншвейгом, и Лессинг должен был ехать, — так, против его воли, исполнилась давняя мечта его посетить Италию. Путешествие длилось более полугода, и в начале 1776 года Лессинг возвратился в Вену, посетив вместе с принцем Леопольдом Венецию, Рим и Неаполь. Между тем г-жа Кениг должна была, по своим делам, переехать из Вены в Гамбург, и Лессинг через Дрезден и Каменец, где провел несколько дней с матерью (отец его умер в 1770 году), возвратился в Вольфенбюттель. Дела, которые г-жа Кениг хотела привести в порядок прежде, нежели вступит во второй брак, приближались к концу, и Лессинг торопился устроить свое положение в Вольфенбюттеле так, чтобы не замедлять свадьбы. После долгих переговоров принц Фердинанд прибавил ему 200 талеров жалованья, выдал 300 талеров, которые следовало Лессингу получить в счет жалованья еще за прежние годы, дал вперед в счет жалованья еще от 800 до 1000 талеров и назначил более просторную квартиру — из-за этих жалких вознаграждений тянулось дело около полугода. Наконец Лессинг имел в руках несколько сот талеров, чтобы обзавестись домашним хозяйством на семейную ногу, назначена была ему и квартира, в которой мог он поместиться с женою и ее детьми от первого брака; все было готово к свадьбе; и 6-го октября 1776 года Лессинг приехал в Гамбург, где жила г-жа Кениг, а через два дня совершен был обряд бракосочетания, без всякой церемониальности: Лессинг не сделал себе к свадьбе даже нового платья. Через несколько дней, так же тихо, он ввел жену в свой вольфенбюттельский дом.

Эти немногие примеры довольно показывают, каково было положение Лессинга в Вольфенбюттеле; а между тем брауншвейгский двор очень хорошо понимал, какую честь приносит маленькой брауншвейгской земле то, что в ней поселился писатель, которому удивляется вся Германия. Принц Фердинанд, всегда имевший большое влияние на дела, а в последнее время управлявший государством лично, был расположен к Лессингу: принц сам пригласил его в Вольфенбюттель, сам потом предлагал открыть ему дорогу к государственным почестям; часто беседовал с ним дружески, брал у него читать различные рукописи, защищал его, когда впоследствии издание одной из этих рукопи-

сей навлекло неприятности на Лессинга. Желание Фердинанда сделать что-нибудь полезное для Лессинга доводило иногда до странных споров, из которых особенно любопытен один: когда перед свадьбою Лессинг требовал прибавки жалованья, брауншвейгское правительство непременно хотело, сверх денежных наград, наградить его чином гоф-рата; Лессинг, вообще не желая носить никаких титулов, не хотел принимать этого ранга, почетного в немецком чиновничестве, и возникли жаркие прения; наконец доброжелательное правительство восторжествовало, и Лессинг против воли принужден был сделаться важным чиновником. После всех этих знаков благорасположения странно могло казаться, что нескольких сот талеров, которые нужны были Лессингу, он должен был дожидаться несколько лет и до конца жизни оставаться, с житейской точки зрения, в незавидном положении. Но по отрывкам из писем, которые приведены выше, читатель видит уже, что это и не могло быть иначе. У принца Фердинанда было, конечно, много других дел, кроме забот о Лессинге. Принц предложил ему место, потом, развлеченный более важными делами, вероятно, и забыл о своем обещании. Лессинг, как видим, не сказал сам, или хотя бы через кого-нибудь другого, ни одного слова, чтобы напомнить Фердинанду о его обещании. Мало того: очень может быть, что кто-нибудь другой сказал Фердинанду что-нибудь, помешавшее исполнению обещания, — или похлопотал за какого-нибудь другого кандидата на место историографа или намекнул принцу, что Лессинг недоволен этим предложением; последнее было тем легче, что Лессинг, конечно, приняв предложение Фердинанда, не рассыпаясь в выражениях своей радости и благодарности, — таково уже было его правило. Кроме того, вообще надобно сказать, что правила и образ действий Лессинга совершенно не подходили к тогдашнему порядку немецкой жизни, тем менее годились для жизни в придворном или аристократическом кругу. Уже одно дело о титуле гоф-рата может быть доказательством тому, а таких анекдотов сохранилось довольно много, несмотря на скудость биографических известий о Лессинге. Все, что мы знаем о нем, заставляет полагать, что подобные случаи, при тогдашних немецких нравах, представлялись ему ежедневно. Положительно нам говорят его современники, что он чувствовал себя хорошо только в кругу равных ему людей, — сюда принадлежали также все низшие, потому что он обращался с ними, как с равными, и, действительно, не считал их низшими себя. Мы уже упоминали, что с своим слугою он обходится «как с братом», по выражению его биографа. Ему приятно было держать себя с людьми низшего звания так, чтобы они забывали разницу его и их состояния. Это относится не только к общественному положению, к которому еще могут быть равнодушны люди, чувствующие, что главное право их на общее уважение — ум, талант или звание (хотя и

они редко возвышаются до такого чувства), но и к умственному превосходству, отказываться от которого гораздо труднее: Лессингу несносно было затмевать своего собеседника, тяжело было даже, когда начинался ученый или литературный спор, одерживать верх над своим собеседником. Он старался, против обыкновенного правила всех споров, не доказывать, что его противник ошибается, а, напротив, придавать его словам самый разумный смысл, объяснять их так, чтобы они как можно ближе подошли к истине; собеседник его, мало-помалу принуждаемый исправлять свое ошибочное мнение, сам не замечал того, что исправляет свои прежние слова при помощи Лессинга: ему казалось, напротив, что Лессинг во всем или почти во всем должен был соглашаться с ним. Это не было только следствием редкой мягкости обращения, которою отличался Лессинг, по словам всех знавших его: тут было и нечто другое, именно желание не унижить, а возвысить своего собеседника в глазах присутствующих, потребность явиться не высшим, а только равным ему. Такой характер никогда не поведет к особенно выгодной житейской обстановке, но, по крайней мере, он не будет неуместным, например, в нынешней Франции или в Северо-Американских Штатах; а в Германии XVIII века он совершенно противоречил всему заведенному порядку общежития. В Лессинге жила иной дух, нимало не подходивший под норму немецких отношений того времени, и это чувствовалось всеми, с кем он имел дело. Не то чтоб он нарушал какие-нибудь формы общежития, — напротив, он соблюдал их, как только может соблюдать человек мягкого, непритязательного характера, желающий в частной жизни одного только — добрых отношений со всеми окружающими. Не то чтобы он высказывал какие-нибудь мнения, не согласные с тогдашним порядком гражданского устройства в Германии: напротив, в его письмах к друзьям нет ничего относящегося к современным государственным событиям или к каким бы то ни было политическим теориям; сколько можно судить по дошедшим до нас известиям, и разговоры его не касались этих предметов.

Да если б и не дошло до нас известий о том, какие вопросы были любимыми предметами разговоров Лессинга, всякий, знакомый с его сочинениями и перепискою, мог бы быть уверен, что гражданские отношения и государственное устройство не были в числе этих предметов: к каким бы отраслям умственной деятельности ни влекли его собственные наклонности, но говорил и писал он только о том, к чему была устремлена или готова была устремиться умственная жизнь его народа. Все, что не могло иметь современного значения для нации, как бы ни было интересно для него самого, не было предметом ни сочинений, ни разговоров его. Приведем один пример. Без всякого сомнения, если был в Германии до Канта человек, не менее одарен-

ный природою для философии, то это был Лессинг. Сам Лейбниц, при всей своей гениальности, при всей своей привычке к математическому методу, далеко не имел той необычайно строгой диалектики, той способности определительно созерцать понятия и точно отличать их друг от друга, какою постоянно удивляет своего читателя Лессинг. Недаром Лессинг особенно любил Аристотеля, — он был родственен стагириту по названным нами качествам. Прибавим, что и та особенность в ходе мысли, которая у немногих мыслителей была так сильна, как у Лессинга, — эта неудержимая склонность от частного вопроса переходить в область общих соображений, каждый факт возводить к основным принципам науки, в падении яблока видеть закон тяготения, постоянно с необычайною силою влекла Лессинга от специальных вопросов частных наук в сферу философского созерцания. Если был когда-нибудь человек, по устройству головы предназначенный для философии, то это был Лессинг. А между тем он почти ни одного слова не написал собственно о философии, ни одной страницы не посвятил ей в своих сочинениях, и в письмах своих говорит о ней почти только с Мендельсоном, да и то только в ответ на вопросы, затрогиваемые Мендельсоном, ограничиваясь тем, что нужно было для Мендельсона. Неужели, в самом деле, лично он сам, наперекор своей натуре, так мало интересовался философиею? Напротив: он выдал нам, чем была занята лично его мысль, когда чертил на даче Глейма классическое «*hen kai pan*» (единое и все) — а между тем он толковал с Глеймом о его «Песнях гренадера» и о его поэме «Халладат». Дело в том, что не время еще было чистой философии стать живым средоточием немецкой умственной жизни, — и Лессинг молчал о философии; умы современников были готовы оживиться поэзиею, а не были еще готовы к философии, — и Лессинг писал драмы и толковал о поэзии. Не тяжелое ли самоотречение было это с его стороны? С первого взгляда может показаться так. Тому, в ком есть философский дух и кто раз увлекся в область философии, трудно оторваться от ее великих вопросов для мелочных, сравнительно с ними, вопросов частных наук, и если эти науки имеют для него какую-нибудь занимательность, то обыкновенно только ради отношений своих к задачам философии. Но для натур, подобных Лессингу, существует служение, более милое, нежели служение любимой науке, — это служение развитию своего народа. И если какой-нибудь «Лаокоон» или какая-нибудь «Гамбургская драматургия» приходится более на пользу нации, нежели система метафизики или онтологическая теория, такой человек молчит о метафизике, с любовью разбирая литературные вопросы, хотя с абсолютной научной точки зрения виргилиева «Энеида» и вольтерова «Семирамида» — предметы мелкие и почти пустые для ума, способного созерцать основные законы человеческой жизни.

Как молчал Лессинг о философии, точно так же молчал он и о вопросах государственной жизни, — потому что умы его современников были еще слишком слабы для того, чтобы возбуждаться к жизни философиею или государственными науками. Живым вопросом эпохи до сих пор была для Германии литература. Лессинг служил ей и молчал о том, что не нужно еще было той эпохе. Не делая ничего наполовину, он, если молчать, то уже молчал. Без случайного разговора с Якоби, случайно вызванного самим Якоби, который и не предчувствовал, что с Лессингом можно говорить об этом, и который также случайно вздумал сделать этот разговор эпизодом одного из своих сочинений, мы только по догадкам могли бы судить о том, каков был хотя главный принцип философской системы, таившейся в мысли Лессинга, — ни в сочинениях, ни в переписке самого Лессинга мы не имели бы ясных указаний даже на этот принцип (не говоря уже о подробностях системы, донныне остающихся мало известными), — и никто из знакомых Лессинга не мог припомнить, чтобы имел с ним разговор, подобный записанному у Якоби.

Точно так же Лессинг почти ничего не писал и почти никогда не говорил о гражданских отношениях, — почти все, что мы знаем положительного относительно его понятий об этих предметах, основывается на некоторых страницах его «Разговоров между Эрнстом и Фальком», изданных уже под конец его жизни, на двух-трех фразах, случайно попавшихся ему под перо в переписке с друзьями, на нескольких мелочных замечаниях, сделанных двумя или тремя из друзей, писавших о нем. Только в последние годы своей жизни он увидел, что немцы могут интересоваться наукою государственного устройства; до того времени говорить об этих вопросах ему казалось преждевременно, немецкая нация казалась ему еще недостаточно приготовленной, чтобы живо заниматься теориями гражданского общества, и он молчал. Но когда убеждения человека составляют его натуру, а не бывают мнениями, принадлежащими только голове и не совпадающими с его характером, вся личность такого человека, как бы, повидимому, ни сообразовался он с обычаями, внушает людям, имеющим с ним сношения, то же самое чувство, какое внушали бы его мысли, которых они не знают и, быть может, не предугадывают. В Брауншвейге никто не предполагал, чтобы Лессинг думал что-нибудь особенное о порядке дел, существовавшем в Германии его времени. Но все инстинктивно чувствовали, что Лессинг как человек не приходится к этому порядку, против которого он, повидимому, ничего не имеет даже в мысли, не только не восстает на деле. Никто не мог указать, почему бы он не годился для придворной жизни в Брауншвейге или каком бы то ни было другом немецком владении: он соблюдал обычный этикет, он соблюдал обычаи обращения, какие гос-

подтверждали относительно каждого ранга; он одобрял, повидимому, все, что мог одобрять каждый благоразумный человек, он меньше, нежели кто-нибудь, говорил о злоупотреблениях и недостатках, — и однако же все чувствовали, что он вообще не подходит к той сфере, в которой живет так мирно, которою, повидимому, доволен точно так же, как и все. Потому-то, при всем своем расположении к Лессингу, принц Фердинанд и не мог ничего сделать для Лессинга.

Вступив в брак с г-жою Кениг, Лессинг и не желал никакого изменения к лучшему в своих обстоятельствах. Глубокая симпатия, существовавшая между мужем и женою, делала их счастливыми. Люди, посещавшие Лессинга в это время, не могли говорить без восторга о характере и качествах г-жи Лессинг и о тихой жизни в их доме. Осталось любопытное письмо Шпиттлера, впоследствии сделавшегося знаменитым историком. Он в 1777 году, готовясь начать свою ученую карьеру, прожил несколько времени в Вольфенбюттеле, занимаясь в тамошней библиотеке, и каждый день бывал у Лессинга.

«Я пробыл в Вольфенбюттеле около трех недель, — писал Шпиттлер Мейзелю, который не принадлежал к числу друзей Лессинга: — это были три счастливейшие и поучительнейшие недели в моей жизни. Не знаю, знакомы ли вы лично с Лессингом. Уверяю вас, это величайший друг человечества, снисходительнейший ободритель всякого знания. Незаметно с ним сближаешься до того, что неизбежно забываешь, с каким великим человеком говоришь. И если бы возможно было найти в ком-нибудь более любви к людям, более искренней готовности сделать добро каждому, то разве в его супруге. Я не надеюсь никогда в жизни встретить другую такую женщину. Безыскусственная доброта ее сердца, вечно полного кротким спокойствием, сообщается очаровательнейшею симпатиею всем, кто имеет счастье находиться в ее обществе. Знакомство с этою женщиною высокого благородства \* бесконечно возвысило мои понятия о женщинах».

Но краток был счастливый период в жизни Лессинга: через год жена его умерла от родов после тяжелых страданий. Вот отрывки писем, сохранившихся от времени страшного удара, которым приблизилась могила и для самого Лессинга, — писем из этого времени, исполненного переходов от радости к отчаянию, от отчаяния к надежде, от надежды к нравственному осуждению при роковом ударе.

(К Эшенбургу, 3 января 1778 г.) «Ловлю минуту, когда жена моя лежит совершенно без памяти, чтобы благодарить вас за ваше доброе участие. Моя радость была коротка. Грустно мне было терять сына, — но он был слишком умен, — он не хотел рождаться на свет, — железными щипцами заставили его явиться в жизнь; он чувствовал, как гнусна жизнь, и расстался с нею... Но он увлечет за собою и мать свою. Мало мне надежды сохранить ее. Вздумал я: дай же я буду иметь радость в жизни, как другие люди. Но

---

\* Шпиттлер выражается еще сильнее: dieser grossen Frau, — «этою великою женщиною».

дурно пришлось мне счастье. Ich wollte es auch einmal so gut haben, wie andere Menschen. Aber es ist mir schlecht bekommen».

(5 января, к брату). «Четырнадцать печальнейших дней в моей жизни прожил я. Была мне опасность потерять жену, потеря которой горько отравила бы весь остаток моей жизни. Она родила мне хорошенького мальчика, здорового и бодрого. Но он прожил только двадцать часов, — он не перенес жестокой операции, — или он мало радости ожидал от пиршества жизни, к которому насильно пригласили его?.. Мать лежала без памяти целых девять или десять дней, и каждый день, каждую ночь несколько раз прогоняли меня от ее постели, говоря, что мой вид только делает тяжелее последнюю минуту ее. Потому что она и в беспамятстве узнавала меня. Наконец миновался кризис ее болезни, и с третьего дня я верно надеюсь, что сохранию ту, жизнь которой с каждым часом становится необходимее мне».

(7 января, к Эшенбургу). «Должно быть, трагическое письмо написал я вам; не помню, что я писал. Стыжусь, если в нем было отчаяние... Надежда на выздоровление моей жены опять ослабевает; я теперь надеюсь только того, что скоро опять можно будет надеяться».

(Эшенбургу, 10 января). «Жена моя умерла. И этот опыт не миновал меня. Радуюсь я, что уж не остается мне таких опытов, и мне легко...»

(Брату, 12 января). «Моя жена умерла. Если б ты ее знал!.. Не буду ничего говорить о ней. Но если б ты ее знал!..»

С лишком через полгода, в сентябре 1778, он пишет Элизе Реймарус, подруге своей покойной жены:

«О, как часто готов я бываю проклинать то, что хотел быть счастливым, как другие люди. Но я слишком горд, чтобы считать себя несчастным; я скрежещу зубами и оставляю мой челнок плыть, как хотят ветер и погода. Довольно того, что я сам не хочу опрокинуть его!»

Смерть жены нанесла решительный удар самому Лессингу. Он подрыхлел, казался утомленным, сделался задумчив до рассеянности. Часто в обществе, когда кругом шел живой разговор, в котором прежде он был бы самым живым участником, он сидел, до того задумавшись, что казался дремлющим, и вдруг, как бы очнувшись, спрашивал: «ну, что же такое?» Здоровье его быстро разрушалось. Летом 1779 года он часто был болен так, что лежал в постели. На следующую зиму (1779—1780) здоровье его было еще хуже. «Эта зима очень печальна для меня, — писал он в конце ее: — из одной болезни я впадаю в другую; ни одна из них не смертельна, но каждая мешает мне владеть моими душевными силами». Лето не поправило его здоровья.

Но именно к этим последним трем годам жизни Лессинга, когда он, сокрушенный потерей жены, изнемогал телом и жаловался, что от болезней изнемогают и духовные силы его, относится самая сильная и блистательная деятельность его как писателя. Все прежние победы его как мыслителя затмеваются его последним торжеством, все прежние его поэтические произведения далеко уступают в художественном достоинстве и историческом значении его последней драме.

Начался уже блистательный период немецкой литературы, подготовленный его трудами. Воспитав поэтов и критиков для

своего народа, увидев людей, способных продолжать его литературное дело, он уступил им дальнейшую разработку очищенной и вспаханной им почвы и пошел далее с своим плугом, принялся очищать и вспахивать новую местность, на которую должна была перенестись после литературной области жизнь немецкого народа. За Гердером и Гёте должны были явиться руководителями немецкого народа в историческом движении Кант и Фихте, за поэзией философия. И тут первым человеком был Лессинг. Приготовив период поэзии, он занялся трудами, которые приготовили период философии. За сознанием единства по племени должно было следовать в немецком народе водворение единства в общих убеждениях, — положив основание первому, Лессинг теперь полагал основание второму. И насколько второй период был выше первого по историческому содержанию, настолько же труднее и блистательнее было его приготовление, совершаемое теперь Лессингом.

Так оканчивали мы предыдущую главу. В начале этой мы упомянули о факте, который, повидимому, находится в странном противоречии с мыслью о приготовлении Лессингом философского периода в умственной жизни Германии: Лессинг почти ничего не писал по собственно так называемой философии, и метафизическая система его (да и то только в общем очерке) положительно сделалась известна уже несколько лет спустя после его смерти, из случайно напечатанного другим ученым воспоминания о случайном разговоре с ним. И однако ж действительно это было так: человек, не писавший чисто философских сочинений, действительно положил своими сочинениями основание всей новой немецкой философии.

Начиная эту биографию, мы сказали, что хотим представить эпизод из истории немецкой литературы, а не из истории немецкой философии или теологии, что безмерно расширило бы объем нашего очерка, и без того уже слишком длинного. И здесь мы коснемся философско-теологической деятельности Лессинга только вскользь, насколько это нужно, чтобы дополнить изображение личности Лессинга. О самом предмете его теологической полемики мы не будем говорить ничего и расскажем только чисто биографические факты, и то как можно короче.

Издавая различные рукописи, найденные им в Вольфенбюттельской библиотеке, Лессинг, между прочим, начал печатать отрывки из сочинения, автор которого был в то время неизвестен и которое имело предметом своим евангельскую и отчасти ветхозаветную историю. Сочинение это, принадлежащее, как впоследствии открылось, известному натуралисту и врачу Реймарусу, жившему в Гамбурге и умершему около того времени, когда Лессинг поселился в Гамбурге, было написано в духе английских деистов XVII века, враждебном христианству. Написано оно было с такою ученостью, что далеко превосходило в научном от-

ношении не только поверхностные теологические сочинения Вольтера, но и английских деистов, из которых заимствовал свою ученость Вольтер. В рукописи оно известно было нескольким лицам и распространялось все более и более. Английский деизм, проникавший в Германию через протестантских богословов, и французский вольтерианизм, находивший себе последователей и в Германии, как повсюду, между людьми светского образования, приготавливали читавших эту рукопись к тому, чтобы безусловно соглашаться с мнениями автора. Протестантские и католические богословы, оставшиеся верными символам своих исповеданий, писали множество возражений против Вольтера и английских деистов, но рукописи Реймаруса они не касались, и потому человек, знавший ее, естественно приходил к мысли, что мнения, изложенные Реймарусом с большею ученою силою и полнотою, нежели каким-нибудь другим противником христианства, остаются неопровержимы: «Вы опровергаете Вольтера и Толанда, думал он: — что ж из этого? есть другое сочинение, гораздо более ученое, нежели Вольтер и Толанд, и, вероятно, оно неопровержимо, если вы молчите о нем».

Лессинг думал вовсе не так. Он вовсе не считал мнения Реймаруса справедливыми, — издавая отрывки из его рукописи, он снабжал каждый отрывок предисловием, в котором подробно объяснял, в чем и как ошибался Реймарус, и доказывал, что на предмет разысканий Реймаруса надобно смотреть совершенно с иной точки зрения, нежели как смотрели деисты. Зачем же он издавал рукопись, выводы которой сам признавал ошибочными? — у него были на то свои причины. Умственная жизнь его нации готовилась от литературных вопросов перейти к ученым, и из них прежде всего и больше всего заняться теологическими (действительно, во всей последующей немецкой философии важнейшая сторона — та, которая имеет отношение к теологии). Натура Лессинга требовала, чтобы он приготовил нацию к этому новому периоду, подал бы свой решительный голос, который бы и очистил поприще для следующих трудов и дал бы им точное направление. В протестантской Германии приготавлилось развитие философии; эта философия должна была иметь главным предметом своим теологические вопросы, — и Лессинг начал говорить о протестантской теологии, в которой были тогда две враждебные школы: старо-лютеранская и рационалистская.

Как ученый Лессинг не был доволен мнениями лютеранских богословов, слепо повторявших каждое слово Лютера и не обращающих внимания на успехи наук и цивилизации; ему казалось, что они своею закоснелостью в понятиях, которых не стал бы защищать сам Лютер, если бы жил во второй половине XVIII века, вредят и делу протестантства и успехам немецкого развития. Еще менее был он доволен Вольтером, его

учителями, английскими деистами, и последователями Вольтера и английских деистов в Германии. Ему казалось, что мнения этих [так называемых рационалистов] не последовательны и не могут выдержать строгой научной критики. Как человек жизни он, кроме ученых побуждений не соглашаться ни с протестантскими богословами, повторявшими Лютера, ни с нововводителями, имел и другие, более живые причины желать, чтобы оба эти враждующие направления уступили место другому, более основательному взгляду, который господствовал в первобытной христианской церкви.

Реформа Лютера, принесшая много пользы и католической и протестантской Европе, имела также и свои вредные следствия для исторического развития, которые особенно тяжело легли на Германию и в XVII и XVIII веках оказывались уже чрезвычайно пагубными для благосостояния немецкого народа. Реформа Лютера разделила Германию на две половины, католическую и протестантскую; этим враждебным разделением отнималась всякая возможность национального единодушия; оно было сильнейшим препятствием к национальному единству. С этой точки зрения, обе партии протестантской теологии, о которых мы говорили, равно были виноваты: обе они одинаково были враждебны католичеству, обе одинаково отталкивали пристрастными насмешками над католичеством почти половину немецкого народа от сочувствия образованным стремлениям другой половины, потому что при всяком случае колоди католикам глаза так называвшимся на их языке «католическим суеверием». Цивилизация и национальное единство представлялись немецким католикам чем-то враждебным, потому что представлялись чем-то неразрывно связанным с лютеранскими предубеждениями против них самих.

Лессинг решился провозгласить и доказать, что должен быть другой взгляд, при котором исчезла бы вражда между католиками и протестантами. Так как непосредственно он имел дело с протестантскою половиною Германии, то он занялся преимущественно протестантскими предубеждениями и предпринял дело, которое смутило своим величием обе протестантские партии и послужило залогом примирению католиков с протестантами и основанием новой науки.

Тем протестантским теологам, которые закоснели во мнениях Лютера, он начал говорить: «Оружием Лютера вы можете бороться только с католиками; но есть у вас другие, гораздо более сильные противники, от которых не защитит вас Лютер; эти противники — деисты. Вы думаете, что успешно опровергаете их нападения доказательствами, которые были удовлетворительны для борьбы с католиками. Вы ошибаетесь; — напротив, вы отдаетесь им в руки беззащитными: не послужат вам в пользу аргументы, годные против католиков — напротив, все

эти аргументы обращаются против вас деистами. Вы уже бессильны против Толанда и Вольтера, против Михаэлиса и Землера, и эта битва, которой вы теперь уже не можете выдерживать, еще ничтожна в сравнении с теми, которые вскоре должны начаться против вас: теперь вы имеете дело еще только с одними застрельщиками, с одною легкою конницею — за нею двинутся на вас плотные колонны строевой пехоты с тяжелою артиллериею — бессильные при всем напряжении ваших сил в авангардном деле, как устоите вы в генеральной битве? Вы воображаете, что все силы противников выставлены против вас Вольтером, Толандом и Михаэлисом; нет, деизм выведет против вас людей, гораздо более сильных и искусных. Вы думаете, что мои предсказания — робость или обман? — вот вам доказательство, что это будет так: я издаю отрывки из рукописи, которая ходит по рукам в протестантской Германии, — рукописи, о которой до сих пор вы не хотели подумать: сравните эти отрывки с тем, что казалось вам до сих пор замечательнейшим между сочинениями деистов, — вы увидите, что перед этим неизвестным автором ее Вольтер не более, как шаловливый школьник, Михаэлис — не более, как трусливый заяц. Лисица и волк были сильнее вас — трудно ли будет растерзать вас льву? Но и он — не последнее слово, не сильнейший ратник деизма. Вы дождетесь того, что новые поколения воспитают еще сильнейших. Одна возможность вам победить этих новых противников лютеранства: мнений Лютера не защитить вам против деистов; попробуйте защищать учение Христа, проповеданное рыбакам и младенцам, и это учение защитит вас. Оно недоступно никаким насмешкам остроумия, никаким возражениям учености. Оружие врагов опустится перед учением Христа, и они назовут вас братьями своими и благословят вас. Но помните, что «тою мерою, которою мерите вы, будет возмерено вам», по учению Христа: то, что деисты восстают против вас, есть только следствие того, что вы сами восстаете против всех христиан, не признающих, подобно вам, каждое слово Лютера за непогрешительное, — например, против католиков. Вы ругаетесь над ними — и деисты поругались и поругаются над вами; вы устремляете все силы ваши на то, чтоб уничтожить их — и деисты уничтожают вас. Вы поднимаете нож против собратий ваших — помните же, что Христос сказал: «всякий, поднимающий нож, ножом погибнет». Если вы хотите, чтобы проклятия против вас обратились в благословение, сами «благословляйте, а не кляните» — благословлять, а не клясть учил Христос.

«Оставления вражды против католиков требует от вас благоразумие, — говорил Лессинг протестантским богословам, оставшимся верными учению Лютера, — требует учение Христа; когда вы проникнетесь духом этого учения, вы увидите, что того же требуют истина и справедливость; вы все толкуете о том, что католики верят папе, а вы не верите папе, вы верите Лютеру,

а они не верят Лютеру, и забываете, что вы одинаково с ними верите Христу. До сих пор вы обращали свое внимание на черты различия между исповеданиями, оставляя в тени черты единства, — а последние гораздо многочисленнее и драгоценнее первых и для вас и для них. Христос не спрашивал пришедшего к нему иоанну, саддукейскую или фарисейскую секту считает он справедливою, — он требовал от него любви к богу и ближнему, — а в признании этих заповедей вы совершенно сойдетесь с католиками».

Так говорил он одной партии протестантских богословов, закосневшей во мнениях Лютера. Противной партии, партии деистов и рационалистов, он говорил:

«Вы торжествуете победу над вашими старо-лютеранскими и иезуитскими противниками, — но победа эта достается вам легко, слишком легко для того, чтобы можно было вам торжествовать ее, чтобы можно было положиться на действительность ее. Вы видите, что укрепления, воздвигнутые против вас, разрушаются от мелкой дробы, пускаемой в них вашим Вольтером, от камней, бросаемых из-за угла вашим Михаэлисом; но ведь эти старо-лютеранские и иезуитские форты воздвигнуты недавно, людьми, плохо знающими свое дело, отсталыми по науке, узкими фанатиками по сердцу; а за ними скрывается древний замок, которого строители не были похожи на ваших жалких противников, — этот замок до сих пор оставался вне ваших выстрелов; его мирные жители — все те миллионы христиан, которые не знают ни по-еврейски, ни даже по-латыни, эти младенцы душою, которых признавал Христос истинными детьми своими, — они и не слышали грома ваших битв, они не только не побеждены вами, они даже не знают вас — рано же вам торжествовать победу. Нападая на отсталые мнения нескольких старо-лютеранских пасторов или иезуитов, вы имеете дело только с ними, а не с религиею Христа — эту религию, живущую не в лютеровом катехизисе и не в буллах папы, а в сердцах миллионов людей, не так легко поколебать, как вы воображаете; она глубже и тверже ваших теорий. Но вы не верите тому, что она ближе к человеческому сердцу и прочнее ваших теорий, как не верят и старо-лютеранские пасторы, что их мнения могут подвергнуться в близком будущем нападению людей, более сильных, нежели вы. Я вам докажу, что ваши теории и аргументы бессильны против религиозного чувства, и докажу на том же самом сочинении, которое выставляю для усмирения гордости ваших противников. Никогда еще ваша партия не производила ничего столь глубокомысленного и ученого, как это сочинение, — и никто из нас не в состоянии изложить в такой строгой форме таких сильных доказательств в пользу вашей теории. При той методе обороны, которой держатся доньше ваши противники, они сокрушаются под бременем неотразимых ударов, — я покажу вам, что эти удары не только не опасны для религии Христа, что они даже не касаются ее. Вы уверены, что на вашей стороне наука и логика, я докажу, что логики нет в вашей теории, что наука, на которую вы, по вашим словам, опираетесь, свидетельствует против вас, что вы или не умеете или боитесь узнать истину. Я беру сочинение, которое далеко оставляет за собою все другие ваши сочинения силою мысли и знания, — и я докажу, что ни один вывод этого сочинения не выдерживает строгой научной критики, что основной взгляд его противоречит требованиям человеческого разума, а толкования фактов, на которые опирается этот взгляд, противоречат историческим аксиомам.

«На этом решительном испытании вы увидите, что, если вы легко можете уничтожать несколько отсталых от науки педантов из старо-лютеранских пасторов или из иезуитских хитрецов, то против религиозного чувства миллионов вы бессильны и даже неправы, как неправы перед логикою и наукою, что система вашей борьбы не ведет вас к торжеству. Вы увидите, что благоразумие требует, чтобы вы оставили эту систему. Но с тем вместе вы увидите, что того же требует от вас и справедливость. Вы теперь, по чувствам своим относительно религии, разделяетесь на два разряда: одни из вас, как Землер,

хотят переделать протестантство сообразно с своими теориями, другие, как английские деисты, враждуют к религии. Первые убедятся, что, насколько их поправки учение отстали от науки мнений старо-протестантских пасторов и иезуитов, настолько же учение религии, исповедуемой христианами, возвышеннее и почтеннее этих нелогических поправок, и они потеряют всякую охоту переделывать его. Вторые убедятся, что враждебные чувства, возбуждаемые в них узкими или фанатическими мнениями старо-лютеранских пасторов и иезуитов, нисколько не возбуждаются тою религиею миллионов христиан, невинность которой от всех деистических и рационалистских нападений докажу я, а что, напротив, эта религия в каждом беспристрастном и любящем людей человеке необходимо возбуждает уважение и любовь к себе, как скоро он поймет дух ее; и они потеряют всякую охоту враждовать против нее, — напротив, будут чувствовать влечение к ней и в исповедующих ее увидят братьев своих».

Чтобы дать читателям хотя небольшие примеры знаменитых статей Лессинга об этом предмете, — статей, с которыми по силе мысли и изложения могут быть сравнены разве «Провинциальные письма» Паскаля, мы приведем по отрывку из двух его листков. Один, называющийся «Завещанием Иоанна», написан в ответ на замечание Шуманна и направлен против старо-лютеранских теологов, забывавших о христианской любви в своей ревности сохранить неприкосновенным каждое слово Лютера. «Отрывок, приводимый нами из другого листка, озаглавленного «Парабола, с маленькою просьбою и, на случай надобности, прощальным письмом к г. пастору Геце», — направлен главным образом против рационалистов, желавших переделывать учение церкви сообразно своим личным теориям.

## ЗАВЕЩАНИЕ ИОАННА

— qui in pectus Domini recubuit et de purissimo fonte hausit revulum doctrinarum.

*Hieronymus.*

(— который на персях господи возлежал и из чистейшего источника почерпнул поток учений.

*Блаж. Иероним.)*

## Разговор

### ОН и Я

Он. Очень вы затруднялись этим листом \*, но это и видно по самому листу.

Я. Неужели?

Он. Прежде вы писали яснее.

---

\* Предыдущую полемическую брошюру по этому же спору она называется «О доказательстве духа и силы». Он, т. е. Шуманн, воображает, что поставил Лессинга в затруднительное положение и что Лессингу было тяжело разрушить его возражения.

Я. В наивеличайшей ясности была для меня всегда величайшая красота.

Он. Нет, я вижу, что вы начинаете склоняться на нашу сторону\*, только вы хотите отделаться намеками на вещи, которые известны разве одному из сотни читателей, да и вам стали известны, быть может, только за день или за два\*\*.

Я. Например?

Он. Не касаюсь вашей учености.

Я. Например?

Он. Та загадка, которую оканчивается ваш листок — ваше «Завещание Иоанна»\*\*\* — я напрасно искал его у себя в Грабиусе и Фабрициусе\*\*\*\*.

Я. Да разве кроме книг нет ничего на свете?\*\*\*\*\*

Он. Так не книга это завещание Иоанна? Что ж это такое?

Я. Последняя воля Иоанна; последние замечательные, много раз повторенные слова умирающего Иоанна, — ведь это тоже может называться завещанием? Может?

Он. Конечно, может. Но теперь уж мне не так это любопытно. А, впрочем, что ж это за слова? Я мало знаком с Абдиею\*\*\*\*\* и тому подобными сочинениями, откуда они, конечно, взяты.

Я. Нет, они взяты у писателя, менее подозрительного. Иеороним сохранил их нам в своем толковании на послание апостола Павла к галатам. Поищите их там. Я не полагаю, чтоб они вам понравились\*\*\*\*\*.

\* Статья Шуманна против Лессинга была написана умеренным тоном; потому и первый ответ Лессинга был очень деликатен; некоторые вообразили, что эта мягкость тона — следствие слабости, и в похвалах, делаемых Лессингом умеренности своего противника, увидели уступки его мнениям.

\*\* Он намекает на то, что Лессинг щеголяет ученостью, которую собирает наскоро из словарей и т. п. справочных книг. Со времен Ланге противники Лессинга любили твердить, что ученость Лессинга заимствована вся из «Словаря» Бэйля и т. д. В самом деле, тогдашним специалистам, не занимавшимся ничем, кроме своей специальной науки, очень трудно было понять, каким образом человек, писавший о двадцати предметах, в каждом предмете обладает знаниями, чрезвычайно редкими и в специалисте, который всю жизнь трудился над одним предметом. В наше время, когда педагогство ослабло, это понимается легче, и никто не скажет о Гумбольдте или лорде Бруме, что «они наскоро набираются своей мнимой учености».

\*\*\* Предшествовавшая брошюра Лессинга, о которой ведется речь, заключается словами: «Оканчиваю, желая: да соединит Завещание Иоанна всех разделенных!»

\*\*\*\* Грабиус и Фабрициус — авторы библиографических сочинений. Фабрициусовы «Bibliotheca Graeca» и «Bibliotheca latina» служат до сих пор справочными книгами, содержат полнейшие перечни греческих и латинских авторов и сочинений.

\*\*\*\*\* Чтобы понять иронию этого оборота, надобно вспомнить, что, по учению строгих лютеран, церковное предание и учение церкви не имеет никакой важности. Они не хотят знать ничего, кроме библии. Католическая церковь, верная в этом случае учению первобытной церкви (сохранившемуся в православной церкви), признавая всю важность библии, с тем вместе говорит, что христианская религия основывается не на одной только библии, а «как на библии, так и на учении церкви и предании церковном». Лессинг говорил, что в этом случае учение католической (и греческой) церкви вернее исторической истины и полнее одностороннего протестантского учения.

\*\*\*\*\* Одна из апокрифических книг Нового завета, которая рассказывает апостольскую историю и приписывается Абдии, или Авдию, первому епископу вавилонскому. Известно, что и греческая, и католическая, и протестантская церкви признают подобные книги не заслуживающими веры, как подложные и еретические. Он намекает, что Лессинг любит еретиков и сам еретик.

\*\*\*\*\* Намек, который объяснится, когда будут сказаны эти слова Иоанна Богослова. Читатель вспомнит, что, забывая для догматики о христиан-

Он. Почему знать? — Скажите же, что это за слова.

Я. На память? С обстоятельствами, которые мне теперь памяты или кажутся памятными?

Он. Разумеется.

Я. Иоанн, тот благой Иоанн, который не хотел никогда разлучаться с паствой, собранной им в Эфесе, которому эта паства казалась достаточно великим поприщем его поучительных чудес и его чудотворного учения — этот Иоанн стал стар, так стар...

Он. Что благочестивое простодушие думало, что он не умрет.

Я. Хотя каждый с каждым днем видел, что он все более приближается к смерти.

Он. Суеверие иногда слишком много, иногда слишком мало верит чувствам. Уж и тогда, когда Иоанн умер, суеверие все полагало, что он не может умереть, что он спит, а не умер.

Я. Как близко иногда подходит суеверие к истине!

Он. Продолжайте рассказ. Мне тяжело слышать, что вы застываетесь за суеверие \*.

Я. Неохотно и с радостью, как друг покидает объятия друга, чтобы поспешить в объятия своей подруги, постепенно, но быстро, видимо разлучалась чистая душа Иоанна от столь же чистого, но изнемогавшего тела. Скоро его ученики едва могли носить его даже и в церковь.

И, однако же, Иоанну не хотелось пропустить ни одного собрания, и не пропуская он ни одного собрания паствы, не сказав назидания пастве, которой легче было бы лишиться насущного хлеба, нежели этого назидания.

Он. В котором, вероятно, часто недоставало искусственной обработки.

Я. А вы любите искусственную обработку? \*\*

Он. Смотря по тому, какова она.

Я. Наверное, назидание Иоанна никогда не имело искусственной обработки потому, что оно все шло от сердца; потому, что оно всегда было просто и кратко \*\*\* и с каждым днем становилось проще и короче, до того, что наконец сократилось в несколько слов.

Он. Каких же?

Я. «Милые дети мои, любите друг друга!»

Он. Немного слов, но хорошие слова.

Я. Действительно, хорошие, по вашему мнению? Но и хорошее, и наилучшее скоро утомляет, когда становится ежедневным. В первом собрании паствы, когда Иоанн не мог сказать ничего больше, как: «милые дети мои, любите друг друга!» — слова эти чрезвычайно понравились пастве. Они еще

---

ской любви, лютеранские богословы должны были чрезвычайно разгневаться (и действительно разгневались), когда Лессинг стал напоминать им, какое важное место в религии Христа должна занимать христианская любовь — за это особенно и стали осыпать его проклятиями обе протестантские партии.

\* Старо-лютеранские богословы, а тем более рационалисты, находили, что Лессинг отдает суеверию предпочтение перед просвещением, доказывая, что некоторые католические догматы, отвергнутые протестантством, принадлежали первобытной церкви (они сохранились в греческой церкви) и содержат в себе истины, более глубокие, нежели какие содержатся в догматах, которыми заменило протестантство. Например, Лессинг говорил это о том догмате первобытной церкви, что христианская религия основана не на одной только библии, но с тем вместе и на предании церковном.

\*\* Иронический намек на то, что протестантские богословы обрабатывали догматику по системе очень искусственной и, ставя в том величайшую заслугу, забывали оживить свои системы духом христианской любви.

\*\*\* Опять намек на то, что не слишком верные духу первобытной церкви протестантские богословы, излагающие систему веры в громадных фолиантах, наполненных страшною ученостью, так делают вероучение доступным только для специальных ученых.

понравились и во втором, и в третьем, и в четвертом собрании, потому что паства говорила: слабый старец не может сказать ничего больше этих слов. Но и когда старец от времени до времени чувствовал себя довольно бодрым, и, однако ж, не говорил ничего больше этих слов и все отпускал свою паству только с назиданием: «милые дети мои, любите друг друга!» — когда увидели, что старец не то, чтобы только не мог сказать ничего больше, что он преднамеренно и не хочет сказать ничего больше этих слов, — то эти слова: «милые дети мои, любите друг друга!» показались слабыми, малозначительными. Братья и ученики стали скучать и наконец осмелились спросить благочестивого старца: «Но, учитель, почему же ты вечно повторяешь одно и то же?»

О н. Ну, что ж Иоанн?

Я. Иоанн отвечал: «Потому, что это повелел господь; потому, что этого одного, если оно исполняется, довольно, — и достаточно».

О н. Так вот что! Так вот в чем ваше заветное слово Иоанна?

Я. Да.

О н. Гм! Гм!

Я. «Милые дети мои, любите друг друга!»

О н. Да, да!

Я. Это «Заветное слово Иоанна» поставил некогда символом своего учения Некто, Который был *соль земли*.

О н. Так всегда отговариваются от беды некоторые господа!..

*Hieronymus in Epist. ad Galatas, cap. 6.*

Beatus Ioannes Evangelista, cum Ephesi moraretur usque ad ultimam senectutem, et vix inter discipulorum manus ad Ecclesiam deferretur, nec posset in plura vocem verba contexere, nihil aliud per singulas solebat proferre collectas nisi hoc: Filioli, diligite, alterutrum. Tandem discipuli et fratres, taedio affecti, quod eadem semper audirent, dixerunt: magister, quare semper hoc loqueris? Qui respondit dignam Ioanne sententiam: Quia praeceptum Domini est, et si solum fiat, sufficit\*.

## ПАРАБОЛА

«Мудрый и деятельный царь большого, большого государства имел в своей столице дворец неизмеримого объема, совершенно особенной архитектуры.

«Неизмерим был объем, потому что царь собрал во дворце вокруг себя всех, которые были помощниками или орудиями его правления.

«Странна была архитектура, потому что противоречила, можно сказать, всем принятым правилам; но она нравилась и соответствовала цели.

«Она нравилась, — преимущественно тем, что возбуждала удивление, которое внушают простота и величие, когда кажутся скорее презревшими богатство и украшение, нежели не имеющими их.

«Она соответствовала цели, — прочностью и удобством. Прошло много, много лет, а весь дворец стоял все в той же чистоте и целости, в какой довершен был строителем, снаружи немного непонятный, но внутри повсюду светлый и связный.

\* Блаженный Иоанн евангелист дожил в Эфесе до глубочайшей старости, так что ученики едва могли на руках приносить его в церковь, и, не имея силы сказать более долгой речи, он в собрании паствы каждый раз ничего не говорил, кроме следующих слов: «Милые дети мои, любите друг друга!» Наконец, ученики и братья, наскучив тем, что вечно слышали одно и то же, сказали: «Учитель, почему каждый раз говоришь ты одно и то же?» На то он дал им ответ, достойный Иоанна: «Потому, что это заповедь господня, и если ее одну исполнять, то и довольно».

«Всякий, кто воображал себя знатоком в архитектуре, особенно недоволен был наружными стенами дворца, которые имели мало окон, разбросанных здесь и там, больших и маленьких, круглых и четырехугольных, но тем больше зато имели дверей и ворот различной формы и величины.

«Непонятно этим людям было, как через столь малочисленные окна в столь многочисленные покои может проходить достаточно света. Что главнейшие из этих покоев получали свой свет сверху, не приходило почти никому в голову.

«Они не понимали, зачем нужно столько и столь разнородных входов, когда гораздо красивее было бы сделать большой один портал с каждой стороны, — он, казалось им, удовлетворил бы потребности. Потому что почти никому не приходило в голову, что через многочисленные маленькие входы самым коротким и безошибочным путем каждый, призываемый во дворец, может приходиться туда, где он надобен.

«И, таким образом, возникли между мнимыми знатоками многочисленные споры, — споры эти обыкновенно велись жарче всего теми, которые всего менее имели случай ознакомиться с внутренностью дворца.

«И было одно обстоятельство, о котором на первый взгляд можно было подумать, что оно необходимо очень облегчит и сократит споры, но которое именно и запутывало их больше всего, которое именно давало им богатейшую пищу для упорнейшего продолжения. Именно, полагали, что есть различные древние планы, которые приписывались первым строителям дворца; но эти планы оказались покрыты словами и знаками, язык и значение которых были почти совершенно потеряны.

«Потому каждый объяснял эти слова и знаки по собственному желанию. Потому каждый из этих древних планов составлял новый, какой ему хотелось, и нередко тот или другой составитель так увлеклся своим новым планом, что не только сам считал его непреложным, но то уговаривал, то принуждал и других считать его непреложным.

«Только немногие говорили: «какое нам дело до ваших планов? — они все для нас равны. Довольно того, что мы каждую минуту убеждаемся опытом, что преблагоу мудростью исполнен весь дворец, и что из него разливается по всей стране красота, порядок и благоденствие».

«Часто плохо приходилось этим немногим! Потому что, когда, улыбаясь, они начинали несколько ближе исследовать тот или другой из отдельных планов, то люди, считавшие этот план непреложным, с воплем объявляли их поджигателями и разорителями дворца.

«Но они не останавливались этими криками, именно через то становились достойны причисления к людям, трудившимся внутри дворца и не имевшим ни времени, ни охоты вмешиваться в распри, которые и не касались их.

«Однажды, когда спор о планах не столько был примирен, сколько ослаблен утомлением, — однажды около полуночи, раздался внезапно голос сторожей: пожар! пожар во дворце!

«Что же тогда произошло? Каждый вскочил тогда с постели, и как будто пожар не во дворце, а в собственном доме, схватил то, что казалось ему драгоценнейшим из своего достояния, — свой план. «Надобно только спасти план! — думал он: — если дворец и сгорит, то он тут, как есть, сохранится на бумаге!»

«И каждый выбежал с своим планом на улицу, и там, прежде того, нежели оказывать помощь дворцу, один стал показывать другому на своем плане, в каком месте, по его соображению, горит дворец. «Посмотри, сосед, — вот где горит он! Отсюда вот лучше всего гасить огонь?» — «Нет, сосед, вернее сказать, что вот здесь горит он!»

Таков был дух и характер борьбы, начатой Лессингом в одно и то же время против закоснелых старо-лютеранских па-

сторов, считавших вечною истиною каждое слово Лютера, и против нелогических нововводителей, вздумавших перетолковывать догматы и факты религии по своему личному соображению. Теперь надобно сказать хотя два-три слова о том, как началась и развилась эта борьба и к каким результатам привела она немецкую нацию.

По привычке своей всегда начинать с какого-нибудь частного случая, с какого-нибудь данного факта развитие общих мыслей, Лессинг воспользовался сочинением Реймаруса как поводом для изложения своих мыслей о двух борющихся в лютеранстве партиях. В своих «Материалах для истории и литературы из сокровищ Вольфенбюттельской библиотеки» (Beiträge zur Geschichte und Literatur) он, в числе многих других найденных им в этой библиотеке сочинений, стал печатать и отрывки из рукописи Реймаруса, к каждому отрывку прибавляя свое предисловие, как то делал при каждом сочинении, печатаемом в этих «Материалах». Имени автора рукописи он не сообщил, не имея на то разрешения от его детей, потому и самое сочинение Реймаруса осталось известно под именем «Вольфенбюттельской рукописи» или «Рукописи вольфенбюттельского неизвестного». Первый отрывок был напечатан в третьем томе «Материалов», в 1774 году. Он не возбудил никаких воплей против Лессинга, потому что никто еще не понял цели, которую имел в виду Лессинг. Издание отрывка из сочинения, написанного в духе, враждебном христианству, не могло никого удивить в Германии, давно уже познакомившейся с сочинениями Бэля, Вольтера, энциклопедистов и их немецких последователей. При том даже те из лютеранских теологов, которые были закоснелыми фанатиками лютеранства, были уже настолько благоразумны, что понимали, что сочинения, подобные Реймарусу, теряют часть своей опасности для их учения, когда издаются публично, вместо того, чтобы распространяться в рукописях: тогда они становятся доступны опровержениям, которым недоступны, пока таятся под секретом. Они помнили пример Иеронима, на которого впоследствии сослался Лессинг и который даже перевел сам на латинский язык сочинение Оригена «Peri archón» и доказал, что это дело полезно для истинной религии. «Когда Иероним перевел с греческого чрезвычайно вредное, по его собственному мнению, истинной христианской религии сочинение Оригена «Peri archón» — заметьте, перевёл! — а перевесть нечто более, нежели просто издать (говорил Лессинг, защищаясь против Геце), — когда он перевел это опасное сочинение с тою целью, чтобы охранить его от переправок и искажений другого переводчика, Руфина, то есть чтобы сообщить это сочинение латинскому миру именно во всей его силе и во всей его искусительности, — и когда ему за то некоторые люди стали делать упреки, будто бы он взял преступный соблазн на свою душу —

каков был тогда ответ Иеронима? — *O impudentiam singularem! Accusant medicum, quod venena prodiderit.* — «О, удивительное бесстыдство! они упрекают врача за то, что он обнаружил тайный яд!» — Зная этот пример, многие из ревностнейших защитников старого лютеранства, которому была особенно враждебна «Вольфенбюттельская рукопись», даже выражали свою признательность Лессингу за то, что он начал знакомить их с этим сочинением.

Но чувства эти совершенно изменились, когда (1777) в 4-м томе «Материалов» Лессинг издал еще пять отрывков из рукописи Реймаруса, с обширным предисловием, в котором более обнаружили мнения Лессинга. Обе протестантские партии, враждовавшие между собою, поднялись против него.

Прежде всего с особенною жестокостью восстали старо-лютеранские ревнители, и во главе их Геце, имя которого приобрело несчастное бессмертие благодаря его излишней охоте вступать в неравную борьбу. Главным содержанием предисловий Лессинга к издаваемым отрывкам было строгое рассмотрение нападений Реймаруса на христианство, с целью доказать, что все эти возражения не могут поколебать той веры, которая живет в сердцах народов, — и, однако же, лютеранские ревнители возмутились не жестокими нападениями Реймаруса на христианство, а теми опровержениями, которые противопоставляет ему Лессинг, доказывая непоколебимость религии с той точки зрения, которую указали мы выше. Нападать на защитника жесточе, нежели на врага — это казалось беспристрастным людям так естественно, что они предполагали безумными или недобросовестными этих фанатиков лютеранства. Однако же, на самом деле, эти фанатики действовали очень логично: рукопись нападала на христианство, — это не касалось их ближайшим образом; но предисловие к рукописи, защищая религию Христа, положительно признавало, что не хочет и не может защищать лютеранства, — это уже прямым образом было нестерпимую опасностью для лютеран.

После закоснелых лютеран восстали против Лессинга и нововводители — это было совершенно понятно, потому что он положительным образом доказывал несостоятельность их ученых истолкований.

Горячая полемика закипела в Германии. Шум поднялся страшный, и опять, как в деле Клоца, все сверстники Лессинга осуждали Лессинга, — одни за то, что он не признает учение Христа тождественным с учением Лютера, другие за то, что он признает несправедливой вражду против христианства, какую проникнуты издаваемые им отрывки — и снова Лессинг, не слушая никаких предостережений и советов, неуклонно шел к предположенной цели. Первые нападения на него за его предисловия к отрывкам издаваемой им рукописи появились около вре-

мени смерти его жены, — и, жестоко пораженный своею утратою, он, быстрыми шагами приближаясь к могиле, выказал в этой борьбе, что если слабело его тело, то ум его сохранил всю свежесть молодости, — и не только всю свежесть, — нет, и всю юношескую силу итти вперед и вперед. Он издавал один листок за другим против бесчисленных статей, брошюр и книг, нападавших на него, — и каждый из этих листков волновал умы Германии, как никогда ничто еще не волновало их, и каждый листок был блистательным торжеством его гения.

Среди этой борьбы он вспомнил о плане драмы, некогда задуманной им, и решился написать эту драму, служащую поэтическим воплощением мысли, которую защищал он против закоснелых лютеран. Эта драма «Натан Мудрый», выше которого в немецкой литературе по колоссальному значению стоит только «Фауст» Гёте, явилась в 1779 году, за полтора года до кончины Лессинга, и написана им среди страданий всякого рода.

Результаты борьбы, веденной Лессингом в последние три года его жизни, были промадны. Она приготовила направление последующей немецкой философии, которая только в последнем периоде своего развития стала на ту высоту мысли, которая была указана ей Лессингом, но с самого начала была верна духу, проникавшему его сочинения, написанные по поводу «Вольфенбюттельской рукописи» и споров, ею возбужденных. По плану нашего очерка, имеющего главным предметом одну литературную сторону деятельности Лессинга, мы только в двух-трех словах коснемся отношения между Лессингом и последующими немецкими философами.

Прямым учеником его не был ни один из знаменитых философов, — все они считают своим родоначальником Канта; Фихте говорит, что его система — довершение системы Канта, Шеллинг был продолжателем Фихте, Гегель продолжателем Шеллинга, новая философия произошла из системы Гегеля. Но если мы сравним все эти системы между собою, то увидим, что дух их совершенно различен, — это потому, что у Фихте, Шеллинга и Гегеля были другие учителя, кроме Канта. Они сами признаются, что очень многим обязаны Гердеру и Гёте, под влиянием которых воспиталось их воззрение на мир, — через Гердера и Гёте имел на них влияние и Лессинг, который так могущественно господствовал над развитием Гердера и Гёте. Уж эта одна сторона его действия на них имеет чрезвычайную важность. Но еще гораздо сильнее было то влияние, которое имел он на развитие немецкой философии не посредством того или другого из воспитанных им знаменитых писателей, а силою направления, развитого им в умственной жизни всего народа, среди которого возникли эти философы. Часто, когда говорят об истории философии, имеют в виду только связь философских систем между собою, забывая о связи их с духом времени и об-

щества, в котором они развились, а между тем это забываемое отношение обнаруживало всегда самое решительное влияние на их характер. О философии, в которой общие стремления человечества находят самое прямое выражение, надобно сказать скорее, нежели о какой-нибудь частной науке, что она всегда бывает дочерью эпохи и нации, среди которой возникает.

Из многих сторон родства всех философских систем, возникших после Канта в Германии, с духом, проникавшим сочинения Лессинга, мы заметим только две, связь которых с характером мнений Лессинга особенно ясна будет после того, что имели мы случай сказать выше о его стремлениях.

До Лессинга немецкая философия вообще имела протестантский характер, даже в случаях, когда являлась враждебною христианству. После Лессинга, хотя попрежнему все главные деятели ее принадлежали протестантской половине Германии, она становится столь же независимо от одностороннего протестантского оттенка, как прежде было независимо от католического. Из достояния протестантской половины Германии философия становится делом общенациональным.

При всем различии в своих принципах и выводах, все немецкие философские системы сходятся в том, что ни одна из них не имеет враждебности против христианства, какою отличались системы некоторых английских и французских философов. Каковы бы ни были понятия того или другого немецкого философа об общей системе мира, но каждый из них на религию смотрит с уважением, высоко ценя важность ее. Все они чужды того сурового ожесточения против религии, которое заметно, например, у Гоббеса, или той насмешки, которая видна у Вольтера. Все они смотрят на религию с серьезностью, полною уважения.

Эти две черты сходства уже достаточно показывают тесное родство последующей немецкой философии с теми стремлениями, которыми одушевлен был Лессинг в своей последней борьбе. Но вполне оценить гениальность его взгляда и силу его влияния может только тот, кто знаком с новейшими немецкими философскими системами, сменившими систему Гегеля: <sup>15</sup> они чрезвычайно близки к тем понятиям, какие были выражены Лессингом. Мы ограничиваемся этими немногими словами, потому что рассмотрение развития философии в Германии не составляет прямого предмета этой биографии; но тот, кто захотел бы заняться отношениями Лессинга к последующим немецким философам, нашел бы гораздо более признаков его сильного влияния на их системы.

Впрочем, все это не составляет еще главного значения деятельности Лессинга в последние годы его жизни. Еще важнее, нежели влияние его на характер последующих философских систем, было то, что он приготовил ум своего народа для приня-

тия философской мысли. До того времени философия была делом школы, которого чуждалось и пугалось общество, как чего-то не только таинственного, но и ужасного, — философские мысли, как скоро из тесного кружка записных ученых проникали до сведения людей, не имевших науки своею профессиею, были отвергаемы ими как что-то противное всем убеждениям их и всем условиям жизни. Через двадцать лет не так была принята обществом философия Фихте и потом Шеллинга, — напротив, общество встречало философские учения с живым сочувствием, они быстро распространялись в публике и переходили в ее убеждения. Эту перемену надобно отнести всего более к действию статей, написанных Лессингом в последние годы его жизни: они приучили немецкую публику к духу философского исследования.

От замечаний о развитии умственной жизни в Германии, обращаясь к прямому влиянию последнего периода деятельности Лессинга на общественную жизнь, надобно сказать, что оно было также решительно: с той поры начинается заметное и постоянное ослабление неприязни, существовавшей между католиками и протестантами. Главною причиною, поддерживавшею эту неприязнь, надобно считать презрение протестантов к католикам, как людям, зараженным грубейшими суевериями. До Лессинга едва ли кто из протестантов смотрел на особенности, которыми отличалось католичество от протестантизма, иначе как на невежественные предрассудки, унижительные для ума человеческого. Нововводители, последователи французских энциклопедистов и английских деистов, были в этом отношении не лучше, а может быть, даже хуже других протестантов. Лессинг стал говорить о католичестве беспристрастно, всегда с уважением, иногда с сочувствием. Это простиралось до того, что многие из его противников обвиняли его в измене лютеранству для католичества, а сам он, когда протестантские богословы ему грозили запрещением писать и юридическим осуждением его сочинений, был уверен, что если бы дело дошло до такой крайности, то он нашел бы защиту от католиков, перенеся дело на решение Имперского совета, в котором католические члены станут на его стороне, когда он им объяснит, что осуждать его значило бы осуждать всех католиков. Пример, авторитет и доказательства Лессинга открыли глаза большинству образованных протестантов, и с того времени насмешки над католиками ослабевают, ослабевает и возбуждаемое ими нерасположение католиков к протестантам, и место неприязни занимает терпимость и взаимное уважение. Мало того: Лессинг развивал перед немцами воззрение, в котором должны сойтись, как братья, и католики и протестанты, и доказывал, что это воззрение, будучи одно достойно человека по своему благородству, в то же время одно только и должно считаться справедливым, потому что оно одно логично, оно одно внушается потребностями человеческой природы и одно может

выдержать строгую научную критику. Эта сторона влияния, конечно, казалось самою важною и для Лессинга. Именно желание дать примирительное направление народной жизни и руководило Лессингом в выборе теологических вопросов предметом своей деятельности.

Но, будучи по преимуществу человеком жизни, почему не предпочел он вопросов, более близких к жизни, почему не писал юридических и политических сочинений? По той же самой причине, по которой не писал и чисто философских сочинений, потому, что умственная жизнь его нации не достигла еще в его время той зрелости, чтобы живо интересоваться этими вопросами. Лет двадцать прошло после его смерти до той поры, когда настал для Германии период философских интересов; еще позднее началась для нее пора юридических и гражданских стремлений.

Только в одном месте одного из своих сочинений и писем Лессинг несколько касается понятий об общественных отношениях, — именно во втором из своих «Разговоров между Эрнстом и Фальком», которые издал только за несколько месяцев до смерти. Предмет этих разговоров — масонство. Эрнст, услышав, что его приятель Фальк вступил в число масонов, начинает расспрашивать его о том, что такое масонство, о котором все говорят и о котором ни от кого нельзя добиться правды. Фальк, связанный обещанием не открывать тайн масонства, отвечает ему на этот вопрос косвенным образом, развитием понятий Эрнста об общественном быте, доводя его до заключения, что собственно целью масонства могло бы быть облегчение неудобств жизни, но что эта цель или не понимается масонами, или понимается ребяческим образом, [так что знаменитое масонство — праздное препровождение времени, ребяческая игра в пустые фразы, под загадочностью которых не скрывается никаких дельных стремлений. Эрнст не замечает этих последних намеков, воображает, будто Фальк выставляет ему масонство исполнением всех благих помыслов благородного человека и вступает в масонскую ложу. Через несколько времени, встречаясь с Фальком, он грустно говорит ему: «Ты обманул меня, я совершенно разочарован; масонство — это ребячество и вздор».

«А разве я говорил тебе не то же самое? — отвечает Фальк: — вольно же тебе было не вслушиваться в мои слова».

Для нас интересен второй разговор, в котором кратко излагаются мнения Фалька о происхождении и цели гражданского союза. В первом разговоре Эрнст говорит, что ему очень хотелось бы узнать, в чем состоит масонство, потому что о масонах рассказывают очень много хорошего. Фальк уклончиво отвечает, что не всему можно верить. Тем кончается первый разговор. В начале второго разговора, сцена которого за городом в поле, Эрнст лежит на траве и смотрит на муравейник.

«Ты помешал мне, — говорит он Фальку, который подходит к нему: — садись и смотри».

Фальк. Что же смотреть?

Эрнст. Жизнь и хлопоты в этом муравейнике. Какая деятельность и какой порядок! Каждый из них несет, тащит, пристроивает что-нибудь и ни один не мешает другому. Посмотри, они даже помогают друг другу!

Ф. Муравьи живут обществом, как пчелы.

Э. И общество их еще удивительнее, нежели улей. Потому что у них нет никакого общего управления.

Ф. Стало быть, порядок может быть и без управления?

Э. Конечно, если каждый умеет управлять самим собою.

Ф. Будет ли так когда-нибудь с людьми?

Э. Едва ли!

Ф. Жаль.

Э. Разумеется, жаль.

Ф. Однако, вставай, пойдем отсюда, а то муравьи заползут на тебя. Да и мне пришлось в голову спросить тебя по этому случаю, — я ведь еще не знаю, что ты об этом думаешь?

Э. О чем?

Ф. Да вообще о гражданском человеческом обществе. Как ты его понимаешь?

Э. Как учреждение очень полезное.

Ф. Бесспорно. Но как цель или как средство ты его понимаешь?

Э. Я тебя не понимаю.

Ф. Думаешь ли ты, что человек создан для государства, или государства существуют для человека?

Э. Некоторые держатся первого мнения, но второе по всей вероятности справедливее.

Ф. То же кажется и мне. Государство соединяет людей для того, чтобы в этом соединении и посредством него каждый отдельный человек тем лучше и вернее мог наслаждаться своею долей счастья. Сумма того счастья, которым наслаждается каждый отдельный член, есть счастье государства, — счастье государства только в том и состоит. И всякое другое государственное счастье, от которого страдают, и не случайно страдают, хотя бы немногие отдельные члены его, есть только прикрытие насилия, и больше ничего.

Э. Я не советовал бы много говорить об этом.

Ф. Почему же?

Э. Истина, которую каждый может перетолковывать сообразно своему положению, легко может быть употреблена во зло.

Ф. Знаешь ли, мой друг? Ты наполовину уж масон.

Э. Я масон?

Ф. Да; ты уж думаешь, что есть истины, о которых лучше молчать.

Э. Но о которых, однако, позволительно говорить.

Ф. Мудрец никогда не позволяет себе говорить о том, о чем лучше молчать.

Э. Ну, как хочешь. Не станем же возвращаться к масонам. Я не позволяю себе ничего расспрашивать о них.

Ф. Не сердись. Ты видишь, что я по крайней мере готов говорить о них.

Э. Ты смеешься. Ну, хорошо. Жизнь людей в гражданском обществе, и какое бы то ни было государственное устройство — только средство для человеческого счастья. Что далее?

Ф. Только средство и средство, придуманное человеком, хотя и приroda, я в том согласен, устроила все так, что человеку очень легко было придумать это средство.

Э. Потому-то некоторые и считали гражданское общество целью природы, — именно потому, что все наши страсти и потребности, все ведет к этому обществу, стало быть, оно и есть последняя цель стремлений при-

роды. Так рассуждали они, как будто природа не имеет и средств своими целями, — как будто бы природа более имела целью счастье отвлеченного понятия — например, государство, отечество и т. п. — нежели счастье каждого действительно отдельного существа.

Ф. Хорошо! Ты сам идешь по дороге, по которой я хочу тебя вести. Скажи теперь мне: если государство есть средство, и средство, создаваемое человеком, то неужели оно одно должно быть изъято от судьбы человеческих средств.

Э. Но что такое понимаешь ты под «судьбою человеческих средств»?

Ф. То, что неразлучно соединено с человеческими средствами, — то, чем отличаются они от божественных непреложных средств.

Э. Ну, что ж такое именно?

Ф. То, что они не непреложны. То, что они не только часто не соответствуют своей цели, но и производят именно противоположное этой цели.

Э. Например, — если у тебя есть в виду пример.

Ф. Так, например, мореплавание и корабли — средство для того, чтобы ездить в отдаленные земли; и это же самое средство бывает причиною, что многие не приедут никогда в те земли, куда хотели приехать.

Э. Да, те, которые потерпят кораблекрушение и утонут. Теперь, кажется, я тебя понимаю. Но ведь известно, отчего происходит то, что многие отдельные [лица] не приобретают счастья себе посредством государства. Государств много; устройство их различно; одно из этих устройств лучше, другое хуже, иное очень неудовлетворительно, очевидно не соответствует своей цели; а наилучшее, говорят нам, быть может, еще только когда-нибудь будет найдено.

Ф. Это само собой; я говорю не о том. Положим, что наилучшее устройство, какое только вообразимо, уже найдено; положим, что все люди в целом мире приняли это лучшее государственное устройство: как ты думаешь, не должны ли даже из этого наилучшего устройства происходить вещи, которые очень невыгодны для человеческого счастья и которых человек в состоянии природы решительно не знал бы.

Э. Я думаю, что если б такие вещи происходили из наилучшего государственного устройства, то оно не было бы наилучшим.

Ф. И было бы возможно еще лучше? В таком случае я принимаю это лучшее за наилучшее и повторяю прежний вопрос.

Э. Ты, кажется, просто умничаешь на основании того предубеждения, что каждое средство, придуманное человеком, — а к этим средствам ты относишь всякое государственное устройство, — непременно должно быть ошибочно.

Ф. Нет, не на основании одного предубеждения.

Э. Но ведь тебе было бы трудно указать хотя одно из тех невыгодных следствий.

Ф. Которые необходимо возникают и из наилучшего государственного устройства? Не одно, десять готов указать тебе.

Э. Укажи сначала одно.

Ф. Итак, мы принимаем, что найдено наилучшее государственное устройство; мы принимаем, что все люди в мире живут под этим наилучшим устройством, — ну, что ж? Будут ли в таком случае все люди в целом мире составлять одно государство?

Э. Едва ли; управление столь огромным государством было бы совершенно невозможно. Потому это государство должно было бы разделиться на многие государства меньшего объема, которые управлялись бы по одинаковым законам.

Ф. То есть: люди и тогда были бы попрежнему немцами и французами, голландцами и испанцами, русскими и шведами и т. д.

Э. Разумеется.

Ф. Вот у нас одно уж и есть. Не правда ли, каждое из этих государств имело бы свой собственный интерес, и члены его защищали бы интерес своего государства?

Э. Ну, конечно.

Ф. Эти различные интересы часто приходили бы в столкновение, и два члена различных государств встречались бы друг с другом вовсе не без предубеждения, точно так, как теперь немец с французом, француз с англичанином.

Э. Очень вероятно.

Ф. Я хочу сказать вот что: когда теперь немец встречается с французом, француз с англичанином, то встречается уже не *просто* человек *просто* с человеком, которых бы одинаковость природы влекла друг к другу, а *известного* рода человек с человеком *другого* рода и оба они сознают различие своих направлений, что делает их холодными, несообщительными, недоверчивыми друг к другу, прежде, нежели они, как отдельные личности, начнут между собою какое-нибудь дело или дележ.

Э. Это, к сожалению, правда.

Ф. Стало быть, правда и то, что средство, соединяющее людей для обеспечения их счастья соединением, с тем вместе и разделяет людей.

Э. По-твоему, выходит так.

Ф. Ступи еще на шаг дальше. Многие из государств будут иметь совершенно различный климат, стало быть, совершенно различные потребности и способы удовлетворять им; следовательно, совершенно различные обычаи и нравы; стало быть, совершенно различные понятия — так ли?

Э. Это большой шаг!

Ф. Люди и тогда останутся евреями, мусульманами и проч.

Э. Не решаюсь сказать: нет.

Ф. А если так, то как бы они ни назывались, они все-таки будут обращаться друг с другом, как искони обращались турки с евреями и наоборот. Не как *просто* люди с *просто* людьми, но как люди *известного* рода с людьми *другого* рода, которые спорят между собою об известном нравственном преимуществе и основывают на том права, которые никогда не могли бы притти в голову естественному человеку.

Э. Это очень грустно, но, к сожалению, очень правдоподобно.

Ф. Только правдоподобно?

Э. Но ведь я, разумеется, думал, что если ты предположишь все государства имеющими одинаковое устройство, то предполагается в них и одна религия. Я не понимаю возможности единства в государственном устройстве без одинаковости в религии.

Ф. И я также не понимаю. Я и предположил эту разницу только для того, чтобы отнять у тебя всякую отговорку. Одно точно так же невозможно, как и другое. Если есть одно государство — значит, есть различные государства; есть различные государства, — значит, устройство их различно; различно устройство, значит, различны и религии.

Э. Да, да; кажется, так.

Ф. Так. Теперь вот другая невыгода, которую производит гражданское общество, в совершенном противоречии со своей целью. Оно не может соединять людей, не разделяя их; не может разделять их, не отгораживая их стенами друг от друга.

Э. И часто как трудно бывает перебираться через эти стены!

Ф. Позволь мне прибавить еще третье. Мало того, что гражданское общество разделяет людей на различные народы. Это разделение на немногие большие части, из которых каждая сама по себе становится целым, все-таки было бы лучше, нежели отсутствие всякого единства. Нет, гражданское общество и в каждой из этих частей продолжает свое деление, можно сказать до бесконечности.

Э. Как же это?

Ф. Скажи, можно ли представить себе государство без различия сословий? Дурно или хорошо общество, близко к совершенству или далеко от него, все-таки невозможно, чтобы все члены его находились в одинаковом отношении между собою. Если они даже все имели бы участие в законодательстве, то не все будут иметь одинаковое участие, по крайней мере не

все одинаково непосредственное участие. Итак, будут члены более важные, и члены менее важные. Если бы сначала имущества были равно разделены между всеми, то этот равный раздел не может удержаться и на два поколения. Один будет лучше пользоваться своею собственностью, нежели другой; тому, который худо пользовался своею собственностью, придется, однако же, быть может, разделить ее между большим числом наследников, нежели тому, кто пользовался ею лучше. И потому явятся бедные и богатые члены общества.

Э. Разумеется.

Ф. Подумай же, сколько зла на свете происходит от этого различия состояний!

Э. О, если б можно было спорить против этого! Но какая мне надобность вообще спорить с тобой? Ну, да, люди могут соединяться только разделением! Только постоянным делением может сохраняться их соединение! На том уже стоит свет. Иначе и быть не может.

Ф. И я говорю то же самое.

Э. Так чего же ты хочешь? Заставить меня ненавидеть гражданское общество? Заставить меня сказать: о, лучше бы никогда не приходила в голову людям мысль соединиться в гражданские общества!

Ф. Неужели ты можешь так ошибаться в моих мыслях? Если б гражданское общество имело одну ту выгодную сторону, что только в нем может развиваться человеческий ум; и тогда я благословлял бы гражданское общество, хотя бы оно соединено было с бедствиями в десять раз более тяжелыми, нежели теперь.

Э. Wer des Feuers geniessen will, говорит пословица, muss sich den Rauch gefallen lassen. (У огня греться, так и дым нюхать — у нас этой пословице соответствует: любишь кататься, люби и санки возить.)

Ф. Неупремно! Но если дым неразлучен с огнем, то следует ли из того, что не должно позаботиться об устройстве трубы, отводящей дым? И следует ли, что тот, кто изобрел трубу, был враг огня? Видишь, к чему кончилась моя речь.

Э. К чему же? Все еще не вижу.

Ф. А сравнение было очень точно. Если люди не могут соединяться в гражданских обществах иначе, как разделяясь, то становится ли оттого благом самое разделение?

Э. Конечно, нет.

Ф. Становятся ли через то священными эти разделения?

Э. В каком же смысле: «священными»?

Ф. В таком, чтобы преступно было восставать против них.

Э. Зачем же?

Ф. Затем, чтоб они не возрастали больше, нежели требует необходимость; затем, чтобы устранять по возможности вред, ими приносимый].

«Во все времена все благородные и гуманные люди, заключает Фальк, заботились об устранении и смягчении неудобств, порождаемых устройством всех гражданских обществ». — Эрнст, под влиянием своей мысли о масонах, воображает [как мы видели], что Фальк этими словами указывает ему главное стремление масона. Обольщенный таким высоким понятием о них, он вступает в орден масонов — и, совершенно разочаровавшись в своих ожиданиях, возвращается с упреками к Фальку. «Я думал найти в масонских ложах заботу о благе человечества, а нашел только одну праздную игру в таинственные фразы и церемонии, под которыми нет ровно ничего серьезного и полезного», — говорит он своему другу. «Но ведь я намекал тебе об этом, сколько мог, не нарушая положительным образом обещания хранить

тайну ордена, — отвечает Фальк: — вольно же тебе было не замечать моих намеков, довольно ясных. [(Намеки эти находятся в первом разговоре)]. Но теперь ты человек, посвященный в тайны, я могу говорить с тобою прямо». Фальк начинает рассказывать историю масонского ордена, — на том и останавливается пятый разговор. Далее, как мы говорили, следовало бы, конечно, описание тогдашнего состояния масонских лож в Германии, — и из того возникали бы или размышления о переменах, какие должны быть произведены в организации и стремлениях ордена для того, чтобы он действительно приносил пользу обществу, или, что вероятнее, Фальк доказал бы, что никакие перемены и улучшения не поведут ни к чему дельному, потому что истинно великие и полезные цели всегда достигаются путем прямым и открытым образом действий, а не косвенными путями тайных обществ, всегда оказывавшихся и повинствуемых оказываться бессильными, и разговоры кончались бы провозглашением, что немцы должны, покинув пустую игру в масоны, подумать о приобретении гражданских добродетелей и действительном улучшении своего национального быта. Так надобно полагать, судя по ходу первых пяти разговоров и действительному образу мыслей Лессинга о масонах, сохраненному несколькими анекдотами. В Гамбурге он вздумал поступить в масонский орден, чтобы удостовериться, действительно ли справедливы его предположения о пустоте масонства, и скоро вышел из ордена, совершенно убедившись в том. Когда один из магистров масонской гамбургской ложи, по принятии Лессинга в число ее членов, спросил его: «ну что, не правда ли, вы не нашли в масонстве ничего противного государству и церкви?» — Лессинг отвечал: «не только противного чему-нибудь, но и ровно ничего не нашел». Через несколько времени Мендельсон расспрашивал его о масонстве и, не слыша от своего друга ничего дельного о целях ордена, сказал ему: «Вы, вероятно, боитесь разглашать тайны масонства?» — Лессинг расхохотался и отвечал: «О, перестаньте, Мендельсон! — в этом отношении орден совершенно беспопасен».

Предмет, подавший Лессингу предлог к разговорам Эрнста и Фалька, сам по себе был незначителен в глазах Лессинга, очевидно, хотевшего воспользоваться общим интересом, какой пробуждался в Германии толками о масонстве, единственно для того, чтобы, обнаружив пустоту этой забавы, обратить внимание, ею развлеченное, на предметы, более достойные мысли гражданина. [Потому в пяти написанных Лессингом разговорах между Эрнстом и Фальком важная часть — та, где излагаются понятия самого Лессинга о гражданском обществе; мы привели этот отрывок.] Эти разговоры имеют большую важность в биографии Лессинга не по отношению к масонству, которое служило ему только предлогом и казалось ему, совершенно справед-

ливо, предметом незначительным, но как сочинение, которым обнаруживается намерение Лессинга сделать еще новый шаг в приготовлении развития немецкой жизни как выражение намерения перейти от философско-теологических вопросов к вопросам общественным. Только перед самою кончиною своею Лессинг увидел возможность обратить к этим вопросам внимание немецкой публики, — два последние разговора Эрнста и Фалька были напечатаны им за несколько месяцев до кончины; кончина застигла его раньше, нежели успел он написать объяснительные и дополнительные примечания к пятому разговору, которыми занимался в последнее время жизни, и напечатанные им разговоры остались только свидетельством того, что в последние месяцы жизни, среди физических страданий и борьбы с Геце, он задумал новое дело, столь же важное, как два прежние, им совершенные: руководитель немецкой нации сначала в литературной, потом в научной жизни, он перед кончиною становился уже руководителем своей нации в общественной жизни. Неудержимо стремилась вперед могущественная мысль этого человека.

Границы действию этой мысли полагались не степенью силы ее, а степенью готовности немецкого общества живо принимать те или другие впечатления, интересоваться теми или другими вопросами. Другие писатели говорили о таких предметах, которыми сами они особенно интересовались или в которых были особенно сильны. Лессинг говорил о том, что было наиболее доступно разумению и интересам его публики в данную эпоху. Умственная жизнь его публики была очень тесна и слаба. Он употреблял все силы свои на то, чтобы постепенно расширять круг этой жизни, усиливать ее деятельность, возводить ее от одних интересов к другим, более живым и важным. Смерть застала его при самом начале одного из таких фазисов, и мы видим, что при каждом новом фазисе он становился сильнее, обнаруживал все более гениальности, что могущество его мысли все только яснее и полнее охватывало предмет, по мере того, как предметы его деятельности становились выше и значительнее. На чем остановился бы этот процесс, нельзя знать. Мы видим смерть его среди возрастания могущества его мысли, но не видим признаков того, чтобы какая-нибудь из разрешенных им доселе задач поглотила все его силы или удовлетворила его. Мы видим, что по мере возвышения важности вопросов, за которые он брался, ближе к его сердцу становились эти вопросы, но не видим еще, из всех представлявшихся ему, ни одного вопроса, который бы являлся личным задушевным его вопросом, разрешением которого удовлетворялась бы потребность его личной натуры. Мы знаем только, чем до сих пор позволяла являться Лессингу степень развития его публики, — поэтом, критиком, ученым, теологом, — но не знаем, до какой степени исчерпывалась этими проявлениями его натура.

Половины того не сказал Лессинг, что мог сказать, что сказал бы, если бы прожил десятью — пятнадцатью годами более. Приближались исторические события, которые должны были сильно содействовать пробуждению немецкого племени. Государственные перевороты во Франции, потом войны германских держав с Франциею и владычество Наполеона в Германии, — все это сделало немцев восприимчивыми к многим понятиям, которыми до тех пор не интересовались они. Положение Германии было очень затруднительно; более, нежели когда-нибудь, нуждалась она тогда в руководителе. Почти все известные сверстники Лессинга дожили до этого времени: Рамлер до 1798 года, Вейссе до 1804 года, Николай до 1811 года, Виланд до 1813; дожили до этих событий и люди, бывшие старше Лессинга: Клопшток, родившийся пятью, и Глейм, родившийся десятью годами ранее Лессинга, дожили до 1803 года. Лессинг был одарен от природы телосложением более крепким, нежели все эти люди. Но слишком тяжела была его жизнь, и он один, в котором более всех нуждалась Германия, не дожидаясь той поры, когда его ясный ум и могущественное слово наиболее нужны были для его народа. Всего только пятьдесят лет было ему, но его крепкий организм уже изнемогал под бременем зла, не подозреваемого в нем медиками, потому что оно не свойственно было его годам, и принадлежит только периоду глубокой старости, — источником его болезни было отвердение хрящей, как узнали врачи после его смерти, — то самое отвердение, которое бывает причиною смерти столетних стариков, когда организм совершенно ветшает от продолжительной жизни. Он в свои немногие годы пережил и перенес слишком много: нравственная сторона его существа выдержала все, оставалась бодр и свежа до последней минуты; но физический организм сокрушился.

Со времени кончины своей супруги Лессинг изнемогал; с каждым годом он становился хилее и хилее; симптомы одной болезни сменялись симптомами другой, все усиливаясь; но оставалась при всех других болезнях одна, служившая основанием для всех других, — тяжелое удушье, становившееся все сильнее и сильнее. Друзья и доктора его опасались паралича. Он чувствовал тяжесть во всем организме, утомление, доводившее его до летаргической дремоты. В конце 1780 и начале 1781 годов это отяжеление организма усилилось до такой степени, что с открытыми глазами он иногда терял сознание, не находил или забывал слово для окончания фразы в разговоре, не был иногда в состоянии правильно написать двух строк; зрение его затмевалось порою, так что он не мог читать, вместо одной буквы писал другую. Полагая, что скука одинокой вольфенбюттельской жизни губит его, он, в начале февраля 1781 года, поехал в Брауншвейг, чтобы несколько развлечь себя обществом. Но в Брауншвейге болезнь усилилась так, что друзья увидели ее

смертельность. До сих пор припадки удушья и летаргии миновались в несколько минут; но 13-го февраля, рано вечером возвратившись из дружеской беседы, он почувствовал чрезвычайно тяжелый и продолжительный припадок удушья, так что долго не мог сказать ни слова. Однако же он не хотел послать за доктором и велел прислуге оставить его одного в комнате, которую приказал запереть. Ночь провел он очень дурно; однако же, на другой день поутру, стал одеваться, чтобы ехать домой, в Вольфенбюттель. Другьям стоило большого труда убедить его, что поездка эта была бы выше его сил в настоящее время, и уговорить его послать за лейб-медиком Брикманом, его приятелем. Брикман тотчас же пустил ему кровь, и страдания больного облегчились. Другья послали в Вольфенбюттель за падчерицею Лессинга, Амалиею Кениг. Она поспешила приехать. Припадки удушья часто возобновлялись, то сильнее, то слабее. Иногда казалось, что смерть очень близка, иногда надежда оживлялась в другьях. Брикман и Зоммер, другой доктор, надеялись, что победят болезнь. Но сам он знал, что приближается минута смерти. Ночь с 14-го на 15-е была опять очень тяжела, но поутру Лессинг стал чувствовать себя хорошо. Он мог поддерживать разговор с другьями, иногда даже начинал шутить с Брикманом и другими, даже вставал с постели. Вечером Амалия сидела в зале, перед комнатою больного, и плакала, — ее просили уходить из его комнаты, когда она не могла удерживаться от слез. В зал вошли несколько знакомых, чтобы узнать о здоровье Лессинга; ему сказали это. Он встал, — отворилась дверь его комнаты, он вошел в зал, страшно бледный, поклонился, встречая гостей, — молча пожал руку дочери, с выражением нежной любви во взгляде, — и упал. Его поддерживали, отнесли на кровать. Тихо, спокойно закрыл он глаза, — он уже скончался; выражение любви и спокойной радости еще сохранялось на лице его.

Это было 15-го февраля 1781 года, в 9 часов вечера. Лессинг скончался на 52 году жизни.

Не пышно было погребение, совершенное 20-го февраля, — да и хорошо, что не пышно было оно, потому что издержки, сделанные на этот предмет брауншвейгским придворным ведомством, — 154 талера с несколькими грошами, были потом, как следует, вычтены из суммы, следовавшей в выдачу от казны наследникам Лессинга.

На берлинском театре 24 февраля, на гамбургском театре 9 марта, потом на других немецких театрах даны были траурные спектакли по случаю смерти первого драматурга Германии. После траурных прологов играли «Эмилию Галотти» на сцене, обитой черным сукном. Актеры выходили на сцену в траурном платье.

Были вырезаны две медали в память покойного; одна, в Брауншвейге, Круллем, другая, в Берлине, Абрамсоном.

Лицевая сторона обеих медалей одинакова: бюст Лессинга; кругом бюста «*Gotthold Ephraim Lessing*», внизу: «*Natus MDCCXXIX*». На обороте брауншвейгской медали: «*Poëta, Philosophus, Philologus, Criticus, Germaniae Decus, Musarum et Amicorum dum vivebat amor, nunc desiderium sempiternum*». На обороте берлинской медали — погребальная урна; над урной склоняются Истина, с опрокинутым факелом в руке, и Природа, с лицом, закрытым траурною вуалью; кругом идет надпись: «*Veritas Amicum luget, Aemulum Natura*»; на пьедестале урны: «*Nathan der Weise*»: внизу: «*Denatus MDCCCLXXXI*» \*.

В 1853 году воздвигнут, по национальной подписке, памятник Лессингу в Брауншвейге.

Лессинг был человек высокого роста, крепкого сложения, широкой кости, так что казался плотным, хотя никогда не имел полноты. Ласковое выражение пронизательных темноглубых глаз придавало его правильному лицу особенную прелесть. Взгляд его, обыкновенно кроткий и чрезвычайно спокойный, был в то же время так выразителен, что, говорят, будто не только вблизи, но еще на очень дальнем расстоянии собеседники чувствовали его силу. Под конец его жизни распространилась мода носить парики, но он никогда не следовал ей, жалея своих густых, прекрасных темнорусых волос, в которых рано начала показываться седина. Походка и манеры его были непринужденны; едва ли не первый из немецких ученых и поэтов он умел держать себя, как светский человек. Одевался он изыщно, хотя всегда очень скромно. Одною из особенных привычек его было то, что зимою никогда не носил он плаща, и круглый год ходил в летнем платье, — привычка, свидетельствующая о чрезвычайной крепости здоровья. Ни в наружности, ни в манерах Лессинга не было ничего такого, что называется поразительным или особенно замечательным. Но каждый, встречаясь с ним, хотя бы не знал его имени, чувствовал, что видит перед собою человека необыкновенного. В записках Тьебо, француза, долго жившего в Берлине и оставившего нам очень любопытные наблюдения о тогдашней жизни в столице Пруссии, сохранился анекдот, довольно любопытный. «Однажды, — говорит Тьебо, — я пошел к Зульцеву и застал его с другим знакомым, Бегленом, перед большою, только что конченною картиною. Картина эта произвела на меня замечательное впечатление. Мы сидели и говорили, но мои глаза невольно все обращались на картину. На ней была изображена фигура мужчины. «Кажется, это картина очень занимает вас? — сказал Беглен. — Что вы скажете о

\* Надписи: на брауншвейгской медали: «Поэт, Философ, Филолог, Критик, честь Германии, при жизни любовь, ныне вечноскорбная утрата муз и друзей». На берлинской: «Истина оплакивает в нем друга, природа — соперника. — Натан Мудрый. — Скончался 1781».

ней?» — «Бьюсь об заклад, — сказал я, — что это чей-нибудь портрет, и портрет, должно быть, очень похожий». — «Почему же вы так думаете?» — «Потому что в лице очень много натуры». — «В таком случае скажите, какое понятие составляете вы по этому портрету о человеке, которого он изображает?» — «Этот мужчина должен быть человек большого ума, деятельного, очень живого и пылкого ума. Те же качества должны отражаться и на его характере. Кроме того, в характере у него должна быть замечательная твердость и большая природная веселость. Он добродушен, любит удовольствия и честен, но опасно затрогивать его убеждения или предубеждения». — «Значит, вы знакомы с этим человеком?» — «Нет, я никогда не видал человека, изображенного на этом портрете». — «А вот вы рассказали о его качествах так верно, как будто прожили с ним целую жизнь. Это портрет г. Лессинга, писанный г. Граффом». — «Это большая честь г. Граффу, потому что я никогда не видывал г. Лессинга».

Домашний образ жизни Лессинга был прост, любовь к порядку доходила в нем до страсти. В кабинете его господствовала чрезвычайная чистота. В Вольфенбюттеле, когда он писал, на рабочем столе обыкновенно сидела его любимая кошка, и если случилось ей разорвать или привести в беспорядок бумаги, он не сердился, а начинал ухаживать за нею, зная, что эти беспорядки она делает только тогда, когда нездорова.

В Вольфенбюттеле Лессинг вставал в шесть часов. Через два или три часа пил в кабинете кофе и продолжал работать до двенадцати часов, не выходя из кабинета, кроме тех дней, когда ему нужно было заняться в библиотеке. В первом часу он обедал (в Германии тогда вообще обедали очень рано). Часто из библиотеки приводил он к обеду гостей и потом очень наивно извинялся в своем хлебосольстве перед женою и дочерью, которая занималась хозяйством по смерти жены. «Мне неловко было не пригласить их, — говорил он. — Но если к обеду приготовлено мало, так я буду есть только закуску». Обед был очень незатейлив. Никогда не делал Лессинг замечания, если какое-нибудь кушанье приготовлено неудачно. Какие бы гости ни были за обедом, но разговор всегда шел за столом только о таких предметах, чтобы в нем могло участвовать все семейство: ученые вопросы и споры отлагались до другого времени дня. Лессинг говорил очень быстро и живо; но никогда не овладевал разговором один, всегда стараясь, чтобы он был общим. После обеда Лессинг никогда не спал; он отправлялся с семейством прогуливаться пешком или играл с детьми. Участвовать в играх детей было всегда его любимым удовольствием. Вечер обыкновенно посвящал он обществу. До женитьбы он почти каждый день посещал театр или знакомых. После женитьбы знакомые обыкновенно собирались в его дом. В Бреславле Лессинг пристрастился к кар-

там. Впоследствии, постоянно нуждаясь в деньгах, не мог вести большой игры и должен был бросить это развлечение; тогда склонность к азартной игре обратилась у него на лотерею. Из Франции, где государственные лотереи были одним из главных источников государственного дохода, эта финансовая спекуляция перешла и к немецким правительствам. Лотереи разыгрывались непрерывно, с огромными выигрышами, на очень немногие из бесчисленных билетов, продававшихся по очень дешевой цене. Лессинг постоянно брал лотерейные билеты, и чрезвычайно занимали его расчеты вероятностей выигрыша на тот или другой номер. За несколько часов до смерти он просил одного из друзей взять для него три билета, из которых особенно рассчитывал он на один № 52 и доказывал, что этот номер, по всей вероятности, должен выиграть. Любовь к азартным играм была у него не следствием жадности к деньгам, которыми он очень мало дорожил, но следствием страсти его рисковать. Кроме карт и лотереи, он очень любил шахматную игру. Шахматы были началом сближения его с Мендельсоном. В Гамбурге он особенно любил играть в шахматы с Клопштоком, потому что Клопшток очень забавно сердился, когда проигрывал.

По своей разговорчивости и блестящему остроумию Лессинг был очень занимательным собеседником. Посреди самого живого разговора он часто вдруг останавливался и молчал несколько минут, увлекшись мыслью куда-нибудь далеко от предмета беседы. В обществе он не давал воли своей склонности к *горькому юмору*, и шутки его были очень мягки и веселы. Но в кругу семейства и близких друзей его знали как человека, который, при всей врожденной веселости характера, смотрит на человеческую жизнь чрезвычайно печально. При рассказе о каком-нибудь бедствии или пошлости он улыбался так горько, что люди, видевшие его в такие минуты, уверяют нас, что никогда не видели человека столь печального. При живости характера он не мог иногда удерживаться от гнева, и первый взрыв негодования был страшен холодностью и равнодушием, с каким произносил два-три убийственно-саркастические слова. Но порыв гнева проходил быстро, и Лессинг через минуту становился снова добродушнейшим из людей, осуждая себя за то, что так серьезно рассердился на человеческие глупости, заслуживающие только сострадания. Шутливость была неизменною чертою всех его разговоров. У него, как и у всех добродушных мизантропов, она постоянно прикрывала глубокое сострадание к бедствиям человеческой жизни и глубокую скорбь сердца.

При чрезвычайной мягкости и снисходительности обращения домашние необыкновенно любили его. Через несколько лет после смерти Лессинга Кампе, проезжая через Брауншвейг и остановившись в гостинице, спросил у кельнера, знал ли он покойного Лессинга. Кельнер этот некогда служил Лессингу. При од-

ном имени покойного он заплакал и долго рассказывал Кампе о том, как добр был Лессинг, как без всякой расчетливости помогал каждому нуждающемуся. «Часто выговаривал я ему за то, прибавлял слуга, но без всякой пользы». Для родных и друзей Лессинг постоянно жертвовал собою. Но самою отличительною чертою его характера было великодушие. Другам служила источником неистощимых шуток его склонность во что бы то ни стало защищать оскорбляемых или несчастных, как бы ни были эти люди виноваты в своих бедах. Жесточайшему врагу своему он прощал все, как скоро узнавал о какой-нибудь несправедливости, поразившей этого человека: тогда все прежние причины осуждать его или досадовать на него забывались Лессингом для желанья, чем возможно облегчить его судьбу и утешить его.